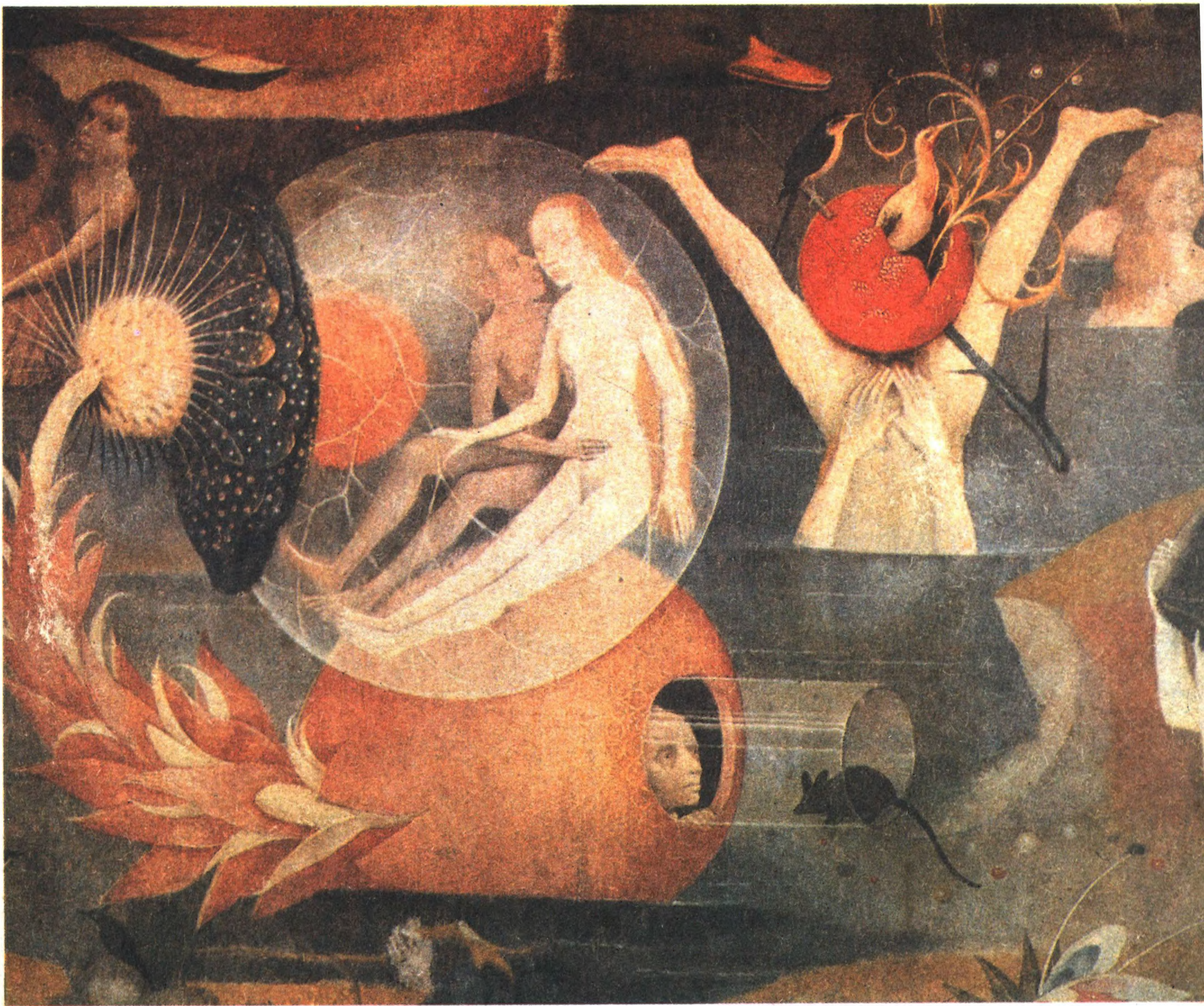


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

7 '91





Иероним БОСХ (1460—1516 гг.) «Христос, Адам и Ева». На первой странице обложки — «Брачная комната в цветке». Фрагменты триптиха «Сад наслаждений». Мадрид. Прадо.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ

(434)

7'91



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Редакционный совет:

Председатель —
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Василий АКСЕНОВ
Анатолий АЛЕКСИН
Аркадий АРКАНОВ
Юрий БОЛДЫРЕВ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ
Генрих ИГИТЯН
Игорь ИРТЕНЬЕВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Алексей КОВЫЛОВ
Александр ЛАВРИН
Вячеслав ЛЕОНТЬЕВ
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрис ПОДНИЕКС
Юрий ПОЛЯКОВ
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Виктор РОЗОВ
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Виктор СЛАВКИН
Олжас СУЛЕЙМЕНОВ
Лев ТИМОФЕЕВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ
Юрий ЩЕРБАК
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Глеб ЯКУНИН

В НОМЕРЕ:



Проза

Эрик АМБЛЕР. Маска Димитриоса. Роман.
Начало (35)
Василий АКСЕНОВ. Московская сага. Роман.
Продолжение (9)
Юрий ПОЛЯКОВ. Парижская любовь Кости
Гуманкова. Роман. Продолжение (48)
Григорий БАКЛАНОВ. Два рассказа (60)

Поэзия

Леонид ЗАВАЛЬНЮК (8), Антон НЕЧАЕВ (30),
Игорь КОХАНОВСКИЙ (31), Евгений РЕЙН (47),
Владимир САЛИМОН (59), Татьяна
МАКСИМЕНКО (77), Игорь ИРТЕНЬЕВ (87),
Эдгар БАРТЕНЕВ (93)

Публицистика. Культура. Искусство

Виталий КОРОТИЧ. Наедине (2)
Виктор ЛИПАТОВ. Пассажир корабля дураков (32)
Виктор СЛАВКИН «Расскажи, о чем тоскует
саксофон...». Окончание (68)
Алексей ПЬЯНОВ. Рассказы об Ираклии
Андроникове (78)
Константин МИХАЙЛОВ. От какого наследства
мы отказываемся (88)
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. А если вплавь... (85)
20-я комната. Журнал в журнале. Выпуск № 3 (89)



Критика

Евгения ТАРАТУТА. Гори, гори, моя звезда... (82)
Николай АНАСТАСЬЕВ. Драма идей (84)

Почта «Юности»

Письма из зоны (66)

Зеленый портфель

Александр ХОРТ. Зона вечной теплоты (86)



**Виталий
КОРОТИЧ**

НАЕДИНЕ

Главы из книги *

Победоносный негодяй шел на меня. Дело было в самом конце 1990 года, и негодяй был в форме полковника советской авиации. Глаза его пылали праведным гневом: он только что ликовал с трибуны IV Съезда народных депутатов СССР по поводу того, что министр иностранных дел страны Эдуард Шеварднадзе ушел в отставку, устав от грязи и клеветы. Было 20 декабря; я не хочу запоминать дрянную полковничью фамилию, но я навсегда запомню, как идеалисты прощались с перестройкой. Победоносный негодяй в погонах надвигался на них, маршировал, как Система, берущая реванш. Он знал, что Президент его не одернет, что Горбачев беспрекословно сдает своих либеральных союзников военно-промышленному комплексу одного за другим, а генералы аплодируют и между пальцами у них зажаты ключики от стартеров ракет и танков.

Мне давно уже не было так печально. Я начинаю эту книгу, в которой немало слов надежды, с признания собственного бессилия и с желания это бессилие одолеть. Но когда сытый, счастливый полковник надвигался на меня, идя от опозоренной им трибуны, я думал, что могу вот сейчас встать, дать ему пощечину, хотя поступок этот ничего не изменит.

Они играют по иным правилам. Еще одна пощечина еще одному негодяю, у которого есть и пистолет, и ракеты, соотношения сил не меняет. Сила была у них, а о таких мелочах, как честь, пощечины, интеллигентское презрение, эта публика особенно не печалится.

Поэтому я начинаю эту книгу с конца. С конца 1990 года, с конца того периода перестройки, когда еще казалось, что демократические перемены возможны. Я глядел на победоносную полковничью рожу, на его личный парад победы в парламентском зале и думал о том, сколько всего соединилось в этой ситуации.

Только что полковника, чью фамилию Шеварднадзе из брезгливости не захотел произнести, публично называли подонком — сделал это депутат Адамович под негодующий вой той части зала, которую еще на первой сессии этого парламента нарекли «агрессивно-послушной». Оскорбленный при всех, полковник не ринулся отчищать погоны, не вызвал обидчика на дуэль, не сгорел от стыда. И другой полковник даже не склонил румяной лысинки от позора. Система приучила их, что все прегрешения, совершенные в ее имя, прощаются мгновенно. Только что утвержденный и благосклонно принятый в лоно Системы Московский и Всея Руси православный Патриарх накануне подписал письмо, в котором просил Горбачева прибегнуть к силе, дабы обуздать сепаратистов и прочих врагов империи. Ангелы с огненными мечами не уволокли Патриарха в ад; Система, оказывается, обладает способностью прощать и такое — она любого ангела перехватит на полпути. В этом, пожалуй, и корень многих зол: в том, что Система не разрешает человеку оставаться наедине с собою самим. Она все время говорит ему: «Сделай так, как я велю, и я тебя от всех защищу! Не слушай ты этих совестливых — погляди, сколько среди них несчастных и бедных; неужели и ты хочешь таким быть?».

Сегодня мы расплачиваемся. И, пожалуй, высшее счастье в том, что не привыкшие стесняться все-таки становятся негодьями в глазах большей части общества, многих граждан страны, уже вопреки воле Системы. У страны медленно, как хвост у ящерицы, отрастает многократно ампутированный стыд. И когда только что люди, считающие себя писателями, кажется, Куняев и Бондарев, Проханов и Белов, обратились к Горбачеву с письмом, где гарантировали, что народ поймет своего Президента, если тот использует армейскую силу против народа, можно радоваться, что многие отнеслись к этому как к попытке душевного самоубийства, совершенной оными сочинителями...

Мы начинаем все лучше понимать свою жизнь.

Пока страна и ее граждане не возвратят себе мучительное чувство стыда, страна наша будет опасна для человечества.

Надо это понять сегодня.

Простите меня за столь унылое начало книги, но мы обязаны возвратиться по следу, в мораль, из которой нас вышибали три четверти века. В ту самую мораль, усвоив которую, Пушкин и Лермонтов идут на дуэли, гибнут, защищая честь, и ничего больше. Ту самую мораль, согласно которой Герцен делает свою газету и пишет книгу, будучи убежден в совестности такого дела, а Достоевский или Гоголь поворачивают собственные жизни в противоположность, объясняя это, не скрывая причин и отвечая за каждое свое слово и дело.

Каждый постоянно отвечает сам за себя.

* Полностью книга выходит в издательстве совместного предприятия «ИКПА».

Чем скорее в недрах Системы вызревают люди, способные совершать поступки и готовые отвечать за них, тем больше будет надежды.

Хотя те, кто переложил на Систему ответственность за собственные дела, сегодня звереют от опасности и обиды.

23 декабря 1990 года у памятника Юрию Долгорукому я наблюдал людей в шинелях, которые требовали давить жидов и поддерживать общество «Память». Ах, с каким упоением глядели на них эти конторские господа в барашковых воротниках, которые пойдут на союз хоть с дьяволом, дабы сохранить Систему, в которой им так уютно.

Лавочки, придворные сочинители, армейская шушера и генералы, отвергнутые от кормил, смыкаются в едином порыве.

Мне кажется, они в другой стране и в другое время — снова готовые поджечь рейхстаг. Не тот, только что возродившийся в объединенной Германии, а свой собственный, символический, в пламени которого будет сокрушен либеральный пафос остывающего процесса, все еще зовущегося перестройкой. Процесс этот начинался Горбачевым сверху, затем разросся благодаря народной поддержке снизу. Сейчас главные силы начали действовать сбоку, из засады, и я уже не знаю точной роли ни Горбачева, ни других действующих лиц этой драмы.

Ежедневно разговариваю с самыми разными людьми, подписываю множество воззваний и писем, пытаюсь срассать происходящее в едином ощущении времени. За один день я переговорил с депутатами: Борисом Ельциным, гарантирующим, что Союз России, Украины, Белоруссии и Казахстана вполне реален и решит все проблемы; Степаном Сулакшиным, организовывающим то, что он зовет нюрнбергским процессом над КПСС; Станиславом Гуренко, гарантирующим, что, если КПСС вернуть прежнюю власть, все поправится; Юрием Власовым, убежденным, что продуктовая помощь с Запада может уйти не в те руки; Леонидом Суховым, желающим свергнуть Горбачева и всех, кто стремится перевести нас на рельсы рыночной экономики...

Мы ожесточаемся, но отделяемся от толпы, становимся все различнее и все понятнее себе самим и друг другу. Дальше будет целая книга об этом. А пока уяснение обстоятельств.

Пришел ли конец перестройке? Думаю, что да, если иметь в виду тот приступ либерального романтизма, который охватил нас в середине восьмидесятых годов. Но если перестройка — это решительная борьба за демократию, то нет — мы только еще начинаем понимать, насколько все это серьезно. Шеварднадзе своей отставкой показал степень опасности. Тихое отстранение Яковлева подчеркнуло, что наступление ведется по стратегическим планам, которые составлены людьми, хорошо знающими, кто есть кто.

Из небытия возникают и вновь приближаются к вершинам правительственной пирамиды люди старой, брежневской аппаратной школы. Откуда-то, к примеру, возник Анатолий Лукьянов, горбачевский соученик по университету, человек с цепкой хваткой, всплывший на вторые роли в державе. Если с приходом Горбачева все заговорили о том, что, оказывается, у нас может быть вполне приличный и даже либеральный лидер с явными признаками образованности, то теперь возвращаемся к мысли, что нами может руководить кто угодно.

Я давно не видел столь радостных генералов. Я давно не видел столь откровенного союза между военно-промышленным комплексом, шовинистически настроенными представителями великодержавной интеллигенции и руководителями официальной церкви. Не только ко мне приходит ощущение, что они уже окончательно выясняют, кто сыграет роль Ван дер Люббе, а кто — Димитрова, и отмечают мелом на стенах рейхстага, куда плеснуть керосинчиком.

Горбачев не будет диктатором, который им нужен. Горбачев разрешает себя использовать, но вся его власть уже давно ушла в генеральские кабинеты. Они сметут Горбачева деликатно, введя его в стены позолоченного дворца без власти. А расстреливать демократов, боюсь, будут снаружи, у самой толстой стены этого же дворца.

Никто из нас не забудет искаженные ненавистью полковничьи рожи на трибуне парламента и на телеэкранах. И в то же время не забуду, как в перерыве ко мне подошли два депутата, ветераны и инвалиды афганской войны, Ризоали Оджиев и Руслан Аушев. «Ничего у них не получится, — сказал мне Оджиев, переступая на железных протезах. — Пусть только попробуют...»

Боюсь, что эти самые «они» уже готовы попробовать и все продумали, несмотря на возможные опасности.

Склады забиты скрытыми от народа продуктами — голодную страну готовы накормить, если она при навязанных испытаниях поведет себя хорошо. Боевики из шовинистических организаций шьют себе форменные шинели, объявляют, что списки тех, кто будет уничтожен в День X, составлены. Во всяком случае, я уже не раз получал письма об этом.

Я показал Александру Яковлеву, одному из героев и архитекторов демократического процесса в СССР, баллончик с газом, который ношу для самозащиты в правом кармане пальто. «Думаете защититься? Или других защищать? — спросил тот. — Оппонентов ведь много, и они очень злы».

...Это неразделимо. Мы будем защищать себя и других. Думаю, что сегодня, как никогда, единство демократических сил страны, Европы и мира необходимо. Думаю, не случайно противники демократических перемен в Советском Союзе требуют защитить Саддама Хусейна и только что выпустили «Майн кампф» в русском переводе. Они объединяются, исторически в том числе. Нельзя, чтобы они еще раз подожгли рейхстаг и еще раз захватили Кувейт.

Все это я и хотел сказать вам в самом начале. А теперь — давайте возвратимся по следу...

«ТАКИМ, КАК ТУПОЛЕВ С КОРОЛЕВЫМ, СЧИТАЙ, ПОВЕЗЛО...»

Такая мелочь, как профессия, в моей стране никогда не ценилась. Можно было получить какое угодно образование или не получать никакого. Важно было служить Идее. Идея формулировалась директивно и не подлежала обсуждению. Все стены в моей стране покрыты цитатами из книг, которые тоже обсуждению не подлежат. Так что можно было учиться, просто запоминая цитаты.

Кроме шуток. Сказанное мною можно проследить на примере советского кино. Уже в тридцатые годы оно обогатило человечество странным героем. Малообразованный, в первых кадрах ходящий босиком по снегу, он постепенно благодаря не образованию, а врожденной народной смекалке и высокой идейности становился способным к выполнению чего угодно. Назначала его партия директором банка, скажем. Пожалуйста, оставалось только сбросить рукавицы — и все в порядке. Назначали командовать армией — без малейшего сомнения воспитанник народа и партии решал любые стратегические задачи, пользуясь для их объяснения картофелинами на кухонном столе. Профессиональные банкиры с генералами посрамлены, враг бежит.

Я вам серьезно объясняю, что у нас такая жизнь, при которой образование во многих случаях только мешает. По крайней мере много лет была именно такая жизнь.

Однажды упомянутая мной мысль пришла мне в голову на киностудии в Киеве, но я в собеседники себе выбрал народного артиста СССР, лауреата всех возможных советских премий Левчука. И вдруг он обиделся.

— Как вы можете! — замахал руками Левчук. — Наш народ талантлив и способен решить любую задачу. Да если мы хотим...

И в этот момент я начал вспоминать фильмы Левчука, которые делались все тем же неграмотным мужиком, вознесенным Системой. Еще не обученный счету до десяти, мужик вступал в управление банком.

Я жил не так.

Каждую ночь приходят ко мне все слова, написанные неискренне, все стихи, срифмованные без веры. Как детские калекки, на которых страшно смотреть, но они мои. Я могу жить и разговаривать с вами, потому что никого не предавал, но каждый случай самопредательства никогда не уйдет от меня и не разрешит быть вполне счастливым. И тем не менее я кое-что узнал и сумел.

Счастлив ли я? Пожалуй, счастлив. Хотя бы потому, что возвращаюсь по собственному следу сейчас и мне перед вами не стыдно.

Жизнь наша была выстроена трагично. Если даже допустить, что за послереволюционные годы сорок (а по большинству источников, цифра эта гораздо выше) миллионов советских граждан погибли в борьбе за спасение и очищение

Системы (называлось это множеством пышных имен), то давайте произведем элементарный подсчет. Если каждому из погибших дать по уважительной минуте молчания — это сорок миллионов минут. Пересчитайте на своем калькуляторе — более семидесяти шести лет молчания... По крайней мере на три четверти века надо бы заткнуться тем, кто сегодня подталкивает страну «не поступаться принципами», возвратиться к «зияющим высотам» прошлого. Довольно. Напреобразовывались: в самой богатой стране планеты жрать нечего, хоронить негде...

И в то же время не принимаю и не приму никогда речей о том, что «время было такое, все так жили, не ты — так тебя». Не все «так жили». Когда в той или иной стране я натываюсь на спор, легко ли быть честным в этой Системе, то не понимаю предмета спора. Легко ли быть честным в СССР? В США? В Израиле? Нелепый разговор, потому что честным можно быть везде, даже в аду. Каждый из нас отвечает на все вопросы себе и для себя, устанавливая пределы, за которые душа его не может двинуться и никогда не пойдет. Не все «так жили». Предавали и не предавали, воровали и не воровали, убивали и не убивали. В одну кучу стремятся свалить прегрешения те, кто больше всего измазан, дабы своей грязью запачкать других. Большинство из нас не святые, но те, кто выжил и пробует сделать жизнь пригодной для достойного человеческого существования, хорошо знают, чем платили. Уроки моей жизни так же, как уроки жизни любого из нас, всеобщие. Я говорю о себе — и о вас. Это свидетельские показания на суде, который уже начался; большинство из нас — обвинители и подсудимые одновременно. Когда я написал чуть выше, что мне перед вами не стыдно, я был искренен, но мне перед вами больно. Всем нам больно.

...Выбор места работы или учебы определялся множеством факторов, среди которых не всегда преобладало желание избрать профессию по душе. Мое школьное сочинение напечатала киевская вечерняя газета. Но умные бывалые люди советовали иначе. Самым умным из всех был отец. «Есть две профессии, — говорил он. — Инженера и врача. В остальных ты можешь зависеть от дурака, дающего тебе указания. А врач — он и в тюрьме врач».

Отец объяснял мне очень многое. Сын украинского крестьянина из благодатных, плодороднейших в Европе приднепровских краев, он начинал с ощущения внушенных ему классовых привилегий перед остальным человечеством. Придя из деревни в Киев, отец мог выбирать свои факультеты для учебы и менять их: социальное происхождение позволяло любые шалости. В своей незащищенности он убедился позже, когда в тридцатые годы терял одного за другим коллег, когда из классовых соображений закрывали лаборатории и запрещали исследования. Мама работала вместе с ним, но ее жизнь была сложнее: девушка из старинного дворянского рода, мать смогла поступить учиться только после замужества — пролетарское происхождение отца исправило все дефекты ее биографии.

Итак, моими родителями были ученые, довольно известные в своем мире. Но никакие докторские степени моих родителей не давали им гарантий стабильной жизни в постоянно напряженной стране. Тема врагов народа была доминирующей в развитии Системы тех лет. Этих врагов постоянно арестовывали, уводили, судили закрытыми судами. Газеты писали совершенно о другом. Из газет улыбались мускулистые победоносные герои, возводящие коммунизм. Но все отлично знали, за что и кого арестовывают. Люди боялись собственного бесправия, незащищенности, неспособности повлиять на происходящее. Пожалуй, это стало самым стабильным продуктом укрепляющейся Системы: незащищенность. И неуверенность. Посадят — не посадят, будет молоко в продаже или не будет, дадут новую квартиру или отнимут ту, что была... Человек не мог ничего: за него думали, за него поступали, ему предписывали.

Перед самой войной один из сотрудников отца покончил жизнь самоубийством. Ему приказали переехать на работу в другой город. Он не мог, но понимал, что Система не потерпит отказа. Сотрудник — это был молодой, худенький паренек, который недавно женился, — пришел домой и повесился на поясе от лабораторного халата.

В канун войны отец, бывший уже известным микробиологом, поехал в командировку на одну из периодически возникавших эпидемий, был захвачен быстро наступавшими немцами и попал в тюрьму уже к ним — как видный деятель большевистской науки. Все идиоты, особенно тоталитарные идиоты, как родные братья. Отец немного посидел и у этих.

Несколько месяцев в гестапо завершили формирование отцовских взглядов на тоталитарную власть: остаток жизни он посвятил собственным попыткам отгородиться от любой власти. Он никогда не состоял ни в каких партиях, был просто видным ученым. Отец считал, что каждый человек может состояться лишь как профессионал и полноценную защиту найти только в своей профессии.

А защиты не было. Позже, став уже достаточно известным писателем, я начал вкапываться в биографии самых известных советских деятелей науки и техники — и ужаснулся.

Едва ли не все они так или иначе репрессировались советской властью, а такие конструкторы ракет и самолетов, как Туполев и Королев, вообще лучшие свои идеи реализовали в тюрьме, годами работая в так называемой «шарашке» — тюрьме с лабораториями. В конце восьмидесятых годов я выступал по британскому ВВС и сказал в интервью о Королеве, который не был как следует реабилитирован еще перед полетом человека в космос. Перед тем самым полетом, который он подготовил и технически обеспечил. Немедленно из Лондона поступил большой донос из посольства, внимательно изучающего деятельность советских людей на британском просторе. Донос гласил, что я порочу советскую власть, рассказывая о таких, как Королев, будто они не были вполне счастливы в недрах Системы. Времена вроде бы изменились, но меня сочли нужным ознакомить с доносом и спросить, зачем я это делаю. «Чтобы следующий Королев не изобретал ракету для следующего Гагарина мелом по тюремной стене», — ответил я. Больше не переспрашивали.

Я знал много ярчайших умниц, которым Система сломала крылья. Таким, как Королев с Туполевым, считай, повезло.

Академик Бажан, один из самых крупных в этом столетии украинских переводчиков и поэтов, рассказывал мне, что в конце тридцатых годов около двух лет подряд спал в брюках. Он с детства был близорук и не хотел, на ощупь разыскивая очки, появиться перед своими палачами в нижнем белье, — открывать ведь надлежало немедленно, иначе вышибали дверь. В конце концов он своего дождался — на рассвете в дверь постучали. Бажан, готовый ко всему, отпер замки и увидел за дверью маленького испуганного корреспондента, просящего интервью и утверждающего, что его, Бажана, только что наградили высшим в стране орденом Ленина. Кое-как вытолкнув нежданного гостя, Бажан решил скрыться, потому что провокация была очевидной. Два дня он прожил в кустах на киевском пляже, а на третий нашел в песке газету и прочел, что его действительно наградили...

Через много лет, уже в послевоенном Киеве, Хрущев пригласил Бажана в гости на чай. Разливая заварку, он меланхолично прояснил историю: «Мы ведь, Бажан, хотели арестовать вас. Но однажды прямо на заседании Политбюро Сталин вдруг сказал: «Есть такой украинский поэт Бажан. Он прекрасно, говорят, перевел поэму грузинского классика Руставели. Давайте наградим его орденом Ленина». Наградили...

Смерть и жизнь ходили рядом, не подчиняясь никакой логике. Ибо ее в Системе не было. Уже изначально каждый человек обязан был уяснить свое ничтожество и свою полную зависимость от всемогущей власти. Позже, читая Кафку и Оруэлла, я удивлялся великой фантазии великих писателей. Моя собственная жизнь была выдумана и выстроена по этим же канонам, но поскольку все в моей жизни происходило на самом деле, реальность была страшнее всех оруэллов на свете.

В поисках точки надежной опоры я ушел во врачи. Опора мне была нужна очень надежная. Такой опорой может быть лишь специальность, в которой государство признает свою зависимость от тебя. Следовало научиться конструировать самолеты, ракеты или хорошо лечить людей. Я решил выучиться лечить.

Я уже говорил, что Система любила, когда ей платили. Платили за все: за вход-выход, за свободу и неволю, за печаль и за радость. Если Система допускала человека поближе, то вначале хорошо проверяла его на способность к сообщничеству.

Помню, как в начале семидесятых годов заведующий отделом культуры украинского ЦК Федченко, к которому я обратился с мелкой просьбой, сказал, глядя мне прямо в глаза: «Мы столько раз просили Вас, когда нам было нужно, — вы никогда не откликнулись. Как же я теперь помогу вам? Вряд ли...»

Система всегда соблазняла с большей настойчивостью, чем спасала. Я встречался с людьми, которые делали, что Сис-

ма велела, а затем считали, что их предали, сполна не заплатив за предательства, совершавшиеся во имя так называемой высокой цели. Будто может быть высокой та цель, для осуществления которой нужны предатели.

Одни пытались договориться с Системой, другие строили круг, от Системы отделенный напрочь. Формировались писатели, которым государственные награды и не светили, но которых читали и перечитывали в отличие от всяких государственных депутатов-лауреатов, с которыми и в один туалет никто не желал ходить. Певцы, которых слушали с магнитофонных кассет. Поэты, чьи стихи переписывали от руки. Система погружалась в самодовольство и уже не хотела слышать, что существуют ценности, не зафиксированные у нее в преysкурантах.

Многие погибали. Обидно, преждевременно погибали, ничего не написав и не спев из того, что могли бы. Великий бас Большого театра Нестеренко, наверное, долго еще будет просыпаться, вспоминая, как он орал со сцены нелепую песню о Брежневе: «Спасибо вам за ваш бессмертный подвиг, товарищ Генеральный секретарь!» Я помню напившегося до полусмерти любимца киевской публики оперного баритона Гуляева, который не хотел и должен был петь какую-то чушь собачью.

Система не уважала никого. Она требовала безусловного подчинения или пыталась смять. Она внушала, что против нее выстоять невозможно, вколачивая в души легкий, противный ужас перед безликой жестокостью. Даже обидеться не на кого было. На Карла Маркса, что ли, обижаться.

Самое страшное — снятие моральных заслонок. Но Система не просто разрушала мораль. Она сочиняла о развалинах песни, стихи и фильмы. Поэты внушали, что если страна велит солгать — солги, а если велит убить — убей. Все грехи, совершенные для нее, Система обязалась брать на себя.

Именно поэтому я всегда гордился, что ничего не подписывал, никогда ни в чем не клялся и ни на кого не донес. Я не собирался идти в партизаны или свергать Систему с баррикад. Иногда у меня складывалось впечатление, что и на баррикадах Система рассадила немало своих. Нет, мне надо было делать то, что я могу и умею, отстаивать то, что Система рушила. И выжить, не испачкавшись, не приняв ничего, за что я должен платить душой.

Очень интересно было прорубать себе коридор в джунглях Системы и вызывать раздражение у людей, считающих такое поведение чистоплюйством или непонятным им оговором. Мне нравилось, увидев чина из КГБ, радостно заорать ему через улицу: «Ну и как ваши дела? Все шпионов ловим?», хотя я знал, что этих ребят не полагается узнавать.

Но я у них не служил и мог позволять себе многое. По крайней мере мне противно видеть, как доносчики выставляют себя героями, не раскаиваясь ни в чем, почтительным шепотом сообщая о всемогуществе органов, о том, как они, доносчики, держались до поры до времени, а затем пришлось... Слушатели сочувственно кивали, страна привыкла к поразительному сообществу жертв с палачами, к этой соединенности беззаконием. Палач говорил, что ему так велели; жертвы жалели палача, потому что куда же ему было деваться, а граждане, которые не видели и не допрашивали, проникались сочувствием и к палачам, и к жертвам. Чудовищно все это — вся наша терпимость к насилию и попытки его оправдать.

Уже будучи редактором «Огонька», я однажды спросил у руководителя КГБ, почему бы им не распахнуть несколько старых дел и не продемонстрировать имена доносчиков, поучительно отмежевываясь от прошлого.

— Не надо, — решительно ответил руководитель. — Мы однажды показали реабилитированному личное дело его отца, и тот чуть не проклял меня за это, когда увидел, кто посылал доносы. Он вынужден был отказаться от самых уважаемых друзей семьи.

В стране, где было репрессировано сорок миллионов человек, сколько же было доносчиков? Повторяю этот вопрос раз за разом и не слышу ответа. Система растила народ, и в этом весь ужас.

В самом начале 1990 года в газетах и по телевидению замелькали сообщения о том, что в Восточном Берлине жители ГДР штурмовали квартиру их секретной полиции. Событие преподносилось как великий взрыв народного гнева. Я очень смеялся, потому что в это же время мы в «Огоньке» готовили материал о штурме бастионов тайной полиции в революционной России начала века. Там штурм возглавили доносчики, стукачи, агенты, возжелавшие сжечь свои доно-

сы. Сила тайных полиций в умении повязать своих граждан круговой порукой аморальности. Лучшее всего такое удается в аморальном обществе. У нас — удалось.

Общество прощало преступления, на оценку проступков оно попросту не отвлекалось. Как заметил один интеллигент, Система уподоблялась свинье, справляющей малую нужду на бегу и считающей, что для такой мелочи не надо даже замедляться. Можно и на ходу.

В многосложной непорядочности — особенно разрушительный смысл. Можно сравнить собственную непорядочность и чужую, еще большую, ощутив себя праведником. Истинных же праведников, как правило, презирали. Помню, как топали и улюлюкали на Сахарова депутаты советского парламента, в тысячу раз менее порядочные, чем он. Им неприятен был этот академик, как неприлична девственница в борделе.

В то же время вызрела полумораль, разрешающая грешить не очень.

Полугрешники ходят толпами; почти каждый где-то промолчал, а многие и поддакнули, так что массового желания возвратиться к истине через расследование чужих грехов не возникало. Профессиональные грешники валили все на время, поскольку, мол, время создало условия, при которых нельзя было...

Можно было.

Растленные Системой, усвоившие опыт испуганных капитуляций, многие слишком легко сдались и невзлюбили не сдавшихся.

Выстоять можно было или в высокой порядочности, или в высоком профессионализме, больше ни в чем. Надо было ощущать кого-то, перед кем стыдно, мать, отца, учителя, себя самого...

Я всегда буду благодарен турецкому поэту Назыму Хикмету, который, протрадав в тюрьмах и ссылках большую часть жизни, нашел время для того, чтобы писать статьи про меня. Он просил об одном: «Держись, не скурвись!» Для старика было важно, чтобы кто-то выстоял, и написал, и рассказал — после них. Спившийся, но бесконечно мудрый украинский поэт Рыльский тоже просил об одном: «Держитесь, ребята; она, Система эта, прошла сквозь нас. Теперь вам останавливать». Многие из стариков сами уже не могли распрямиться, но не давали гнуться другим.

Надо понять предел унижения — это уже много.

Украинский писатель Григорий Кочур, много лет отсидевший в северных концлагерях, поведал мне историю, больше похожую на притчу.

В начале пятидесятых годов узников обязали передвигаться по территории лагеря, исключительно взявшись под руки. В строю приказано было держаться особенно крепко: по четыре в ряд.

— Надсмотрщик командовал нам, — рассказывал Кочур, — взяться под руки. Мы не хотели и не брались. Тогда он говорил: «Взялись, пошли!», — оборачивался к нам спиной, делая вид, что уверен в выполнении своего приказа. А строй шел — каждый сам по себе.

Обозначение действия ценилось подчас наравне с самим действием. Возникнув из симуляции забот о народном благе, страна жила в кругу симуляций.

Но к ритуальным поклонам отношение стало ухудшаться уже давно.

В середине шестидесятых годов, работая секретарем украинского Союза писателей, я предложил Виктору Некрасову поехать в Волгоград. Некрасов, один из честнейших писателей, когда-либо живших в Киеве, с презрением относился к возведению в бывшем Сталинграде, где он сражался в годы войны, гигантской женской фигуры на поле битвы. Мне хотелось, чтобы он съездил и, возможно, даже сказал генералам, что думает по поводу символической дамы.

— Не поеду, — сказал Некрасов. — Раз это памятник официальный, никто речей слушать не будет. Я разряжусь в пустоту.

Надо что-то делать. Живем, уставшие от воспоминаний о прошлом, и уже не верим в сказки о будущем. Надо что-то делать.

Я начал писать эту книгу летом 1990 года в Иерусалиме. Была по-нашему Троица, они звали это Пятидесятницей. В 1990 году этот день чудесным образом совпал для христиан и католиков. Аналогичный иудейский праздник случился в тот же день.

Нас было шестеро: президент всемогущей корпорации «Мючуэл оф Америка» по имени Билл, президент общества друзей университета в городе Хайфа по имени Зиг, влия-

тельный адвокат из Индии по имени Рам, монашка, она же доктор философии из Нью-Йорка по имени Керол, президент колледжа в американском штате Коннектикут по имени Клер. Шестым был я. Собственно говоря, был еще и седьмой — француз, католический священник, облаченный в нечто белое и красивое с капюшоном. Священник занимался своим профессиональным делом — служил мессу, поэтому я его не считаю, священник работал.

Мы сидели в один ряд перед алтарем на скамье, а священник читал и пел для нас по-английски и по-древнееврейски, перейдя несколько раз на суровую латынь. Священник читал вслух большую напрестольную книгу и говорил нам о любви, потому что это был праздник в честь дня, когда на апостолов снизошел Святой Дух. Люди разных верований и национальностей, мы держались за руки, молясь — каждый по-своему — и искренне надеясь на лучшее.

Вот тогда я подумал, что обязательно напишу эту книгу. Отхлебнув вина из общей чаши, произнеся вечное слово «аминь», я сказал, что нет ничего важнее факта нашего прихода из разных стран к общему алтарю.

Ничего особенного. Сидели разные люди, объединенные общей молитвой. Сколько надо было идти, чтобы прийти к безбоязненности этой молитвы? Когда моя страна придет к ней?

Дело было в Иерусалиме, на Троицу, 6 июня 1990 года. Возвратившись в гостиницу, я начал писать — на почтовой бумаге у себя в номере.

«Я ТОЛЬКО ЛИШЬ ВОЗНИКАЛ...»

Нас учили жить без предков. Система, которую нас обязали получить в потомственное владение, гарантировала каждому будущее и только его. Поколения на три вглубь еще можно было что-то о себе знать, но дальше у всех, кроме профессиональных потомственных нищих, могли возникнуть нежелательные социальные группы, а то и национальности, почему в прошлое не углублялся никто, кроме доверенных специалистов Системы. Специалисты же результатами своих изысканий делились не со всеми подряд.

Жизнь без предков, а вернее, жизнь без родословных усугублялась огромным количеством вещей — сирот, странствующих по державе. В антикварных магазинах продавались чашки, тарелки, ложки, вилки с монограммами, которых никто не умел прочесть. На фасадах домов загадочно выделялись неведомо чьи инициалы, а портреты можно было купить любые, ничего не ведая о тех, кто изображен на них. Революционные годы, ставшие для многих периодом обыкновенного воровства (лозунг «Грабь награбленное» был попыткой государственно оправдать банальный грабеж с вынесением в карманах столовых и чайных ложек из чужих буфетов), обездолили и людей, и вещи. Прошлое отсекалось так быстро, что даже портреты времен революции зачастую продавали как анонимные. Сатурн переворотов пожирал своих детей и не заботился о семейных альбомах.

Взрыв, который официально именовался революционным, был как взрыв нейтронной бомбы. Множество людей одновременно ушло из жизни, оставив вещи, города, улицы в неприкосновенности. Советские политические индейцы — а ими стали прежде всего люди образованные и зажиточные — погибали куда страшнее, чем американские первовладельцы континента. Они гибли от нейтронной бомбы террора, и, как при взрыве настоящей нейтронной бомбы, всеми вещами можно было пользоваться почти тотчас. То, что это были чужие вещи, значения не имело: те, кто вступал во владение ими, не был отягощен предрассудками. Поэтому новые владельцы спешили все переделать, а то, что переделке не поддавалось, ломали или вовсе уничтожали. Церкви взрывались одна за другой — в моем родном Киеве я и сейчас могу показать вам, где находятся фундаменты, заложенные под соборы двести, триста, четыреста, восемьсот лет назад. Хирели дворцы. В отсутствие Бога и зная все это казалось естественным так же, как передача земли, уцелевших домов и предприятий в общее пользование. К последствиям нейтронного взрыва постепенно присоединялись последствия взрыва социального. Система до сих пор включает в свои календари упоминание о том, сколько бездомных, бесприютных детей она обласкала, но не напоминает, кто разрушил жилища этих детей, убил их родителей и выгнал детей на улицу. Вообще, когда выяснилось, что целебная бомба рево-

люции не смогла своим взрывом разрешить все проблемы, настало время задумчивости. Оно продолжается до сих пор.

И тем не менее некоторые выводы очевидны уже сегодня. Происшедшее с нами может и должно быть источником великого оптимизма для человечества. До нас никто не знал и предположить не мог, насколько тяжелому прессу могут быть подвергнуты человеческая судьба и душа народа. Мы узнали. Еще не подсчитаны жертвы, не осуждены палачи. Произошло лишь самое общее отречение от самоубийственности многих социальных экспериментов, но возвращение к норме оказалось возможным.

Сегодня даже начинают делить призы. В эмигрантской прессе уже нетрудно встретить статьи, гласящие, что лишь те, кто ушел из Советской страны, могут считаться спасителями Отечества. Те, кто остался в СССР, повторяют, что это они ужасно страдали, но сокрушили Систему. Графоманы по обе стороны государственной границы требуют, чтобы их немедленно издавали, награждали, переводили.

А Система тем временем закачалась и рушится, как мертвое дерево. Раскачивали это дерево многие — и внутри страны, и снаружи, но оно было гнилым изначально. Какое-то время, пока на дереве гнездились ягуары, под ним было страшно спать. Но затем страх поутих, начала возвращаться память, и страна, вчера еще знавшая по именам очень немногих, начала узнавать всех подряд, вспоминать по имени, по делам, даже по родословным.

Один украинский поэт, умевший устраиваться при любом вираже Системы, учил меня однажды корням собственной популярности. Человек этот по фамилии Малышко угробил в своей жизни много кого, но обожал поздравлять. У него был специальный поминальник с фиксированными днями рождения и памятливыми датами жизни многих живых коллег, и он посылал, посылал, посылал им поздравительные открытки. «Понимаешь, — говорил мне этот человек, — у нас людей не помнят и не узнают в лицо. А ты открыточку пришли: так, мол, и так — помню! А человек этот — твой. Любимый человек...» «А зачем мне — любые?» — спросил я, показав собственную неопытность и несерьезность.

Дело было лет тридцать назад — я только лишь возникал и запомнился в украинской поэзии — опытные писатели в ту пору очень любили опекать и пригревать нас. Особенно такие, как Малышко, те, кто связывал писательский труд и официальный пост в нечто единое, именуемое «положением». Им постоянно нужны были люди вокруг и важно было, чтобы люди те понимали, насколько им повезло от такого общения. Малышко при всем том оставался человеком пусть и неискренним, но талантливым и влиятельным, готовым отстаивать свое положение любой ценой.

Я так не мог и не хотел. Но независимо от этого в советском обществе был воспитан определенный тип человека в совершенно определенных условиях, которые, дай Бог, никогда не повторятся.

Несколько лет назад известный английский писатель Джон Ле Карре, в миру Дэвид Корнуэлл, пожаловался мне в Москве, что люди на советских улицах производят впечатление толпы, что-то ищущей, но в процессе поисков обозленной до беспредела, до свирепости, потерявшей многие привычки, свойственные цивилизованному обществу.

— Погоди, — перебил я собеседника, — представь себе, Дэвид, что в твоей Британии расстреляли всю королевскую семью, всю палату лордов, разграбили имущество сотен тысяч людей, разогнали парламент, а самую независимо мыслящую часть интеллигенции рассадили по тюрьмам или вытолкали в эмиграцию. У крестьян, кормивших Британию, отобрали землю, а все остальное обобществили. Сколько бы вам понадобилось времени для восстановления не то чтобы изящных манер, но — нормальной жизни? Учитывая войны и террор, наложившиеся на ситуацию, которую я только что обрисовал?

— Не знаю, — хмыкнул мой побледневший собеседник. — Я не приучен мыслить такими категориями...

— Пришлось бы. А в процессе восстановления генофонда народа ты бы мучительно высчитывал не только свое происхождение, но и то, подлежит ли оно обнародованию по причинам социальным, национальным...

— Ладно уж, — перебил меня Ле Карре. — У самого-то тебя с происхождением все в порядке?..

С происхождением у меня все в порядке. С какой социальной стороны ни погляди: по семейным документам дедом моей матери был царский генерал, а семья была потомственно дворянской; отец — из крестьян украинского Приднестровья.

— Иди в медицинский институт, — повторял отец. — Врач, он и в тюрьме врач.

На всякий случай я окончил школу с медалью, поступил в медицинский институт, проучившись шесть лет, получил диплом с отличием.

Ужасно, что рядом были люди, которые могли добиться большего, чем я, но им не дали. В моей судьбе совпало многое — просвет в тучах, бывший хрущевской оттепелью, моя безукоризненная анкета, спортивные успехи. Лишь в последнюю очередь учитывался интеллект, во всяком случае, гораздо позже анкеты. Как-то мы разговорились с поэтом Вознесенским, и он сказал мне то, о чем я и сам думал не раз: нам повезло. Анкеты анкетами, но мы проскочили в то время, когда можно было проявить себя и в литературе: после нас бывали люди более талантливые и более образованные, но социальных условий для их дебютов уже не было. Сатурн Системы продолжал пожирать своих детей.

Один из главных законов Системы открыл мне старый профессор Иванов, заведовавший в Киеве одной из кафедр внутренних болезней. Он был стар, старомоден, старообряден и потому ничего не боялся.

— Здесь никто не слышит друг друга, — сказал мне однажды Иванов после лекций. — Здесь все боятся и давно уже перестали слышать друг друга. Большинству ваших больных станет легче, если вы просто дослушаете их жалобы до конца. Просто выслушаете исповедь, человеческий рассказ обо всем, что случилось в жизни и отчего так плохо теперь. Больному станет легче, потому что впервые в жизни кто-то заинтересуется его человеческой болью.

В институте я писал стихи, но многие воспринимали меня безлично, потому что я отсиживал лекции, сдавал экзамены, выезжал в несчастные колхозы собирать картофель и кукурузу. Мне хорошо было размышлять и становиться самим собой, потому что никому не было дела до того, каков я на самом деле, кем хочу стать вправду. Возникшая из неискренности Система искренних людей не любила. Значит, надо было набраться сил для того, чтобы отстоять себя, выжить и реализовать свою жизнь.

Больницы были отдельно для начальников, отдельно для подчиненных: палаты, лекарства, уход — все было разным, и человеческая незащитность простого труженика была безграничной. Господи, как я стремился в писательство и как я верил, что, если буду честен, медицина спасет меня.

Здесь я ошибся. Медицина укрепила меня в желании уйти в литературу и журнализм, но обратно я прийти не смог, растеряв знания. Чехов, бывший врачом по образованию, шутил, что медицина ему жена, а литература — любовница. Я остался с любовницей.

Но нигде и никогда нельзя было уйти от Системы. Можно было поменять профессию, но это было переходом из одного закрытого помещения в другое. Иногда даже часовые оставались теми же. Медицину и литературу опекал на Украине тот же секретарь ЦК, и так же сурово разделяли, разделяли, разделяли...

Впрочем, писательство в советских табелях о рангах числилось где-то чуть выше здравоохранения. Только что оставив медицину и погрузившись в дела писательского Союза, я в конце 60-х годов оказался на украинской декаде в России. Такие празднички влетали стране в большие миллиарды, но проводились регулярно, а братание между Россией и Украиной вообще проводилось с размахом всеармейских маневров: толпы участников, бесконечные застолья, митинги на каждом углу. В один из декадных дней меня забросило в Кубинку под Москвой — там стояла воинская часть, руководимая легендарным в годы минувшей войны летчиком по фамилии Кожедуб. К этой части было приписано большинство советских космонавтов, и ей же отдавалось право в дни парадов летать над Красной площадью Москвы. Короче говоря, придворная часть и прием, оказанный в ней, были на уровне дворцовых приемов.

В составе нашей делегации были разные люди: несколько писателей, несколько актеров, несколько ученых, несколько врачей. После встречи и ознакомления со странными летающими предметами, выстроенными на поле, нас пригласили к столу. Я шел вместе с недавними коллегами-врачами и актерами, среди которых выделялся популярный в те годы баритон Киевского оперного театра Козак. Вдруг подбежал офицер и откозырял мне. «Товарищ писатель, — сказал офицер, — вас приглашают отобедать к командующему». «Спасибо, — сказал я. — Мы с моими спутниками скоро придем: укажите дорогу». «Товарищ писатель, — твердо повторил офицер. — Приглашены вы и ученые. А товарищи врачи

и актеры пообедают в солдатской столовой, ознакомятся с бытом наших летчиков». «Это как же? — возмутился я. — Мои друзья не могут сидеть со мной за одним столом? Да вот Козак, ветеран войны, знаменитый певец... Я тогда пойду с ними и никуда больше!»

И вдруг я увидел, как все испугались, включая знаменитого баритона. Взрослые, опытные люди вздрогнули от того, что я предложил им нарушить порядок и побороться за свое достоинство. Как они ринулись меня уговаривать! Буквально за руки вели к генералу — только бы все спокойно, только бы ничего не подумали... Уроки унижений бывали еще много раз, но этот запомнился особенно. Ничего ведь не случилось бы, уйди мы с обеда или еще каким-нибудь способом выкажи свое несогласие с иерархиями внутри нашей группы. Но никто не хотел. Я еще прошел вместе со всеми, а затем возвратился в автобус, привезший нас сюда, и прикорнул там на водительском месте. Через полчаса появился еще один офицер и, не слушая никаких объяснений, доставил меня в генеральскую едальню. «Приказ», — сказал он и пожал плечами...

До самой Москвы мы возвращались в тех же автобусах, которыми приехали в Кубинку. Нас опять соединили всех вместе, чтобы при случае снова рассортировать, рассадить, как будет велено, и Система готова была послать офицера, чтобы он снова разъяснил незнающим, что общество наше не было и не может быть однородным. Нас отучили от предков, от родословных и выстраданных отношений. Нас приучали к тому, что Система нашивает каждому на спину тот номер, который считает нужным нашить. И только она одна знает принципы своих классификаций.

Президент Рейган приезжал в Москву. С ним приехала огромнейшая охрана, кухня, даже джазовый квартет Дейва Брубeka. Это не считая сопровождающих официальных лиц.

В Союзе писателей для Рейгана был дан завтрак. Полковник военной разведки Карпов, служивший во время визита председателем нашего писательского Союза, решил произнести интеллектуальную речь. Он долго говорил какие-то выпендренные слова, а затем сказал, что если бы он, Карпов, был верующим и заказывал иконы, то в случае договоренности о разоружении между Горбачевым и Рейганом он заказал бы икону, где в центре — Иисус, а с двух сторон — руководители СССР и США. Темнокожий американский генерал, сидевший за одним столиком со мной, удивленно выслушал все это, повертел вилку и сказал как бы себе самому:

— Насколько я помню, с двух сторон от Христа были разбойники...

Я улыбнулся, мы переглянулись и занялись едой, благо она была роскошна: блины с икрой, немыслимые сорта рыбы, что-то еще.

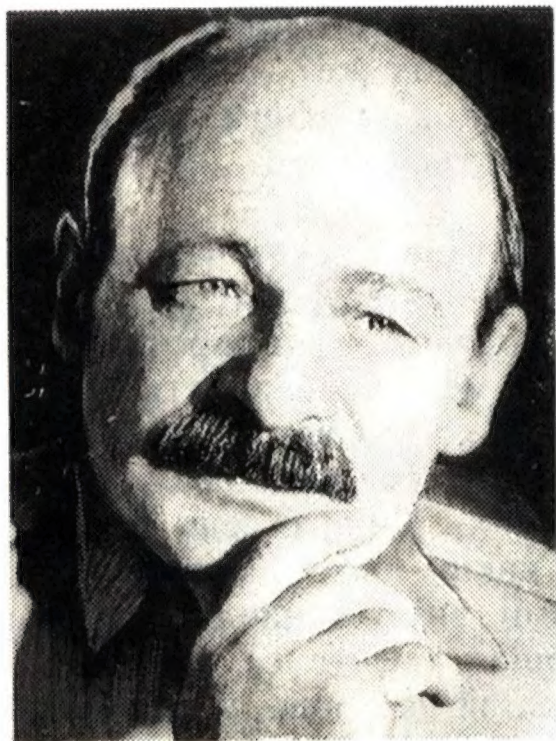
— Пожалуйста, угощайтесь, — говорил Карпов. — Завтрак как завтрак, мы так привыкли...

Вечером прием давал Рейган.

Играл квартет Брубeka. Нам дали по куску жареного цыпленка с салатом и немного белого калифорнийского вина. На десерт был яблочный американский пирог.

— А мы так привыкли, — сказал Рейган.

Может быть, поэтому у них денег больше?



Леонид
ЗАВАЛЬНЮК

Взгляд

Отцы продаются детям. Веселая проституция.
Пишут под них, снимают, на сленгах их говоря.
Отцы продаются детям за длинные деньги,
А куцыми
Спешат от себя отмазаться, каталки калекам даря.
И ты не безгрешен в этом. И я хотел поживиться,
Поест из кормушки рока. Он ныне один богат.
Отцы продаются детям... О, сколько у них чечевицы,
У наших смертельно смелых, по страху рожденных чад!
У наших смертельно смелых.
По смуте горячек белых,
По смури, по пьяни, по лени,
По жажде встать на колени
И стадом брести назад,
По слому надежды и воли,
По боли, по каторжной боли,
По бреду рожденных чад.
О, сколько у них чечевицы!
С кокетством панельной девицы,
Отвратной и жалкой девицы,
Отцы продаются детям.
Ночь. Пятница. Музыка. Взгляд.

Застолье в лунную ночь

Пришел однажды человек
Из книги «Да».
Пришел однажды человек
Из книги «Нет».
Пришел однажды человек-звезда.
Пришел однажды человек-поэт.
Пришел однажды человек-кретин.
Пришел однажды человек-смола.
Пришел однажды человек «Да запретим!».
Пришел однажды человек «Свобода позвала!».
Еще пришли
Слизняк и Дуболом.
Еще пришли
Великий Понимай и Некумек.
И все они сидели за столом.
И это был один и тот же человек.
И я сказал:
— Да-Нет, налей-ка нам вина!
И Понимай не понял, а налил Кретин.
И тихо с неба молвила луна:
— Окстись, что за спектакль, старина.
Нет никого. Ты за столом один.

☆☆☆

А тетя выпивши. Не трогайте.
Пускай блюет сквозь версты и года.
А дядя выпивши. Не трогайте.
Пускай с ножом резвится.
Не трогайте страну, пока она не протрезвится.
А, впрочем, трогайте. Не протрезвится никогда.
Покуда есть бродильный чан судьбы
И боли самогонный аппарат,
От заложения за галстук не уйти, пожалуй.
У мамы новый муж.
А старый папа «заложил» и рад.
А мальчик стал свиньей и всходит над державой.

Мы порченные в чреве. Червь тоски живой
Уже не глистный паразит души,
А член большого симбиоза.
Свобода? Пей!
Достаток? Наливай!
Пророк? Ну нет, нас не объедешь на кривой.
Мы ждем пришествия Христа,
А ждать в бездействии возможно ль без наркоза?!

Та женщина

Ты что пришла с косой, Гундосая?
Я в корне не готов...
— А вроде стар?
— Так это только вроде.
Я сыт был в голоде, свободен в несвободе.
Короче, занят был и не считал годов.
А ныне и подавно глупо их считать.
Вон скушать-выпить есть. И говори что хочешь.
Жизнь только начинается. Не так ли?
Что же ты хохочешь?
— Так ты же, сукин сын, меня щекочешь.
Ну экий игрунец, ну приставун!
Понравилось. Я завтра загляну опять.
И вот повадилась.
Причешется опрятно
И тихо так тук-тук косой в мое окно.
Что говорить, иметь успех у женщины —
оно всегда приятно.
Хоть временами глупо.
И досадно.
И весьма смешно.
...Тук-тук. Опять Гундосая?!
Но... это не она, а он,
Какой-то строгий визитер,
официант иль дирижер оркестра.
— Простите, чем обязан?
И зыбуче, как сквозь сон:
— Я некогда заказывал вам Реквием, маэстро.
Проходят сроки. И обязан вас просить
Не мешкать с этим и игривых ноток не вносить.
Вы можете не осознать значения визита моего.
Так вот скажу и предлагаю помнить:
Все, что вы пишете, не ей, а мне,
Мне предстоит исполнить.
Та женщина — смерть плоти.
Я же — смерть всего.

Большое, бедное...

От детской крашеной пластмассы,
От этих дылд, что скачут в классы,
От вшивых сел и городов
О как хочу бежать в пампасы,
На берега пустых прудов!

Зачем ты, жизнь, такая Дуня,
Так некрасива, как во сне?
Большое, бедное раздумье,
Как детский Бог, живет во мне.

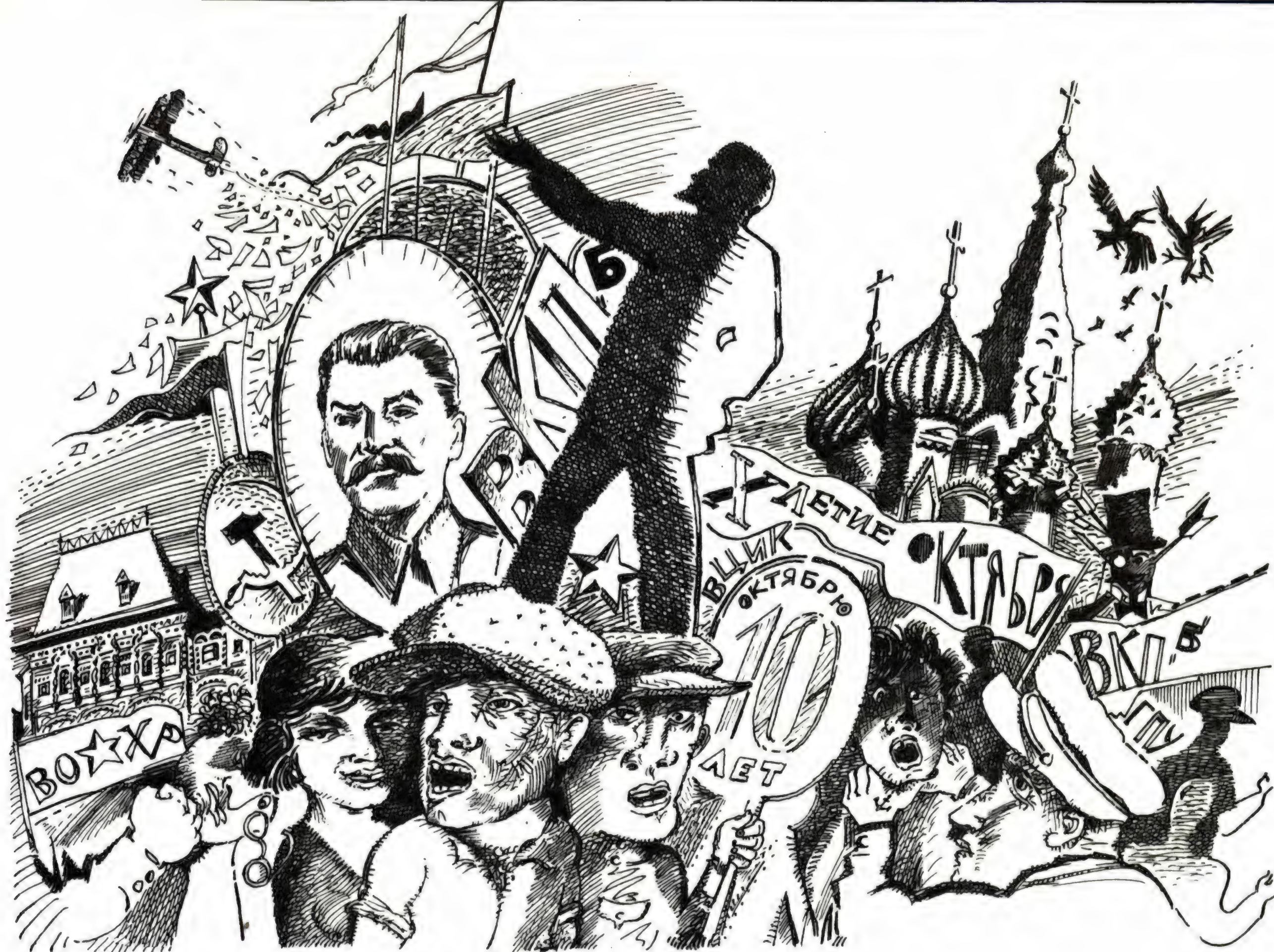
Аптеку сжечь! В ней нет йоду.
Сто магазинов сжечь дотла!
И землю всю пустить в природу,
Чтобы дышала и цвела!

Я тихий чай тихонько дую.
И тащится за ленью вслед
Большое, бедное раздумье
Длиной во много-много лет!..

Родина, покой, дорога...

Радости душа! На свете их немного:
Родина-любовь,
Покой и дальняя дорога.

Радости мои! Они со мной всегда:
Мир ли на земле, гремят ли злые войны.
Ну, а счастье...
Счастье — это вожденный миг, когда,
Осененная зарей надежды и труда,
Родина в дороге дальней
И, как Бог, спокойна.



Василий АКСЕНОВ

МОСКОВСКАЯ САГА

Первый снег пошел в конце октября. Физик Леонид Валентинович Пулково ехал в трамвае вдоль Чистых прудов, когда в молочно-голубоватом небе начали парить эти почти невесомые кристаллы. Автоматически отметив, что «бабьему лету» конец, он приготовился к выходу. Ему было не до наблюдений за природой: в последние дни слежка за ним стала не просто навязчивой, а какой-то демонстративной. Вот и сейчас на площадке вагона стоит типчик в шляпе, явный сыщик, который не только не скрывается, а, наоборот, как бы желает быть увиденным, показывает, будто играет в фильме, что именно этот джентльмен в английском реглане и шапке пирожком из астраханского каракуля как раз и является объектом его забот. Даже ничему не удивляющиеся москвичи с недоумением оборачиваются.

Трамвай тормозил у остановки, и сыщик, опять же рисуясь, подчеркиваясь, высовывался из вагона и показывал кому-то на Пулково — здесь, мол, он, все в порядке! На остановке Пулково ждали два типа. Они тоже не скрывались, отвечали на жесты из трамвая и смотрели с кривыми улыбками на выходящего профессора.

Пулково, проходя мимо, иронически приподнял свой «пирожок». Типусы гыкнули, хмыкнули, переглянулись и тут же последовали за «недорезанным

буржуем», держась на положенном расстоянии, то есть очень близко.

В последние дни Пулково стал жалеть, что не принял приглашения Бо и не переехал в Серебряный Бор. У него уже не было уверенности, что кто-то не проникает без него в его холостяцкую квартиру. Более того, он не мог бы поручиться, что кто-то не ходит по ночам, когда он спит. Он наталкивался на шпигов повсюду — на лестнице, в подворотне, в трамвае, в книжном магазине, возле института и внутри института, даже на концертах в консерватории, которые он посещал неизменно по абонементу уже много лет. Что делать? Обратиться в милицию — смешно, писать жалобу в ГПУ — унижительно.

Он завернул в свой переулочек и сразу увидел возле дома, прямо под козырьком матового стекла в стиле «арт декор», большой черный автомобиль. На шоферском месте сидел красноармеец. «По мою душу», — подумал Пулково, и ему стало легче: наконец-то все выяснится. Двое, один в гражданском пальто, другой в форме ГПУ, вышли из автомобиля.

— Профессор Пулково, Леонид Валентинович? — спросил первый чекист. — Здравствуйте, мы из ОГПУ. Извольте ознакомиться, ордер на обыск вашей квартиры.

Секунду подержав выправленный по всей форме ордер в недрогнувшей (что это было за странное самообладание?) руке, Пулково вернул его предъявителю.

— Что же вы ищете? — спросил он с улыбкой.

Второй чекист выпалил с мрачным автоматизмом:

— Вопросы задаем мы!

За спиной профессора уже стоял красноармеец с увесистым пистолетом на поясе. Джентльменским жестом Пулково пригласил всех присутствующих пройти внутрь.

Обыск подходил к концу. Чекист, копавшийся в письменном столе профессора, закрыл все ящики и присоединился к своему товарищу, возившемуся у высоких книжных полок. Пулково, как и полагается, с трубкой в зубах сидел в глубоком кресле. На коленях у него нежился кот.

С точки зрения кота, ничего особенного в уютной холостяцкой квартире, где, к сожалению, запах табака несколько преобладал над его, котовскими, сокровенностями, не происходило. Просто к папе зашли два библиофила. Даже то, что в дверях истуканом стоял солдат, не казалось коту чем-то особенным.

— Ну, вот и все, — сказал первый чекист, тот, что был в хорошей штатской одежде. — Мы ничего не изымаем, кроме вот этого. — Он показал пальцем на висющую на стене карту Англии с флажками, отмечающими путешествия профессора.

— Да зачем вам она? — изумился Пулково.

— Вам все объяснят позднее. А теперь, профессор, вам придется поехать с нами.

— Прикажете понимать как арест? — быстро произнес Пулково фразу, которая все у него вертелась, пока сыщики копались в бумагах и книгах.

Чекист усмехнулся.

— Назовем это «чрезвычайно важной встречей».

Пулково пожал плечами.

— Я могу не поехать, если это не формальный арест.

— Это исключено, профессор, вы поедете. — Чекист нагнулся и снял с колен Пулково его роскошного персидского кота.

Вот этого кот не любил. Никто, кроме папы, не имел права брать его под пузик. Он зашипел и царапнул руку библиофила. Вторым чекистом, тот, что имел одну шпалу в петлице, снял со стены карту Англии и стал скатывать ее в рулон. Только тогда, при виде

этого вроде бы вполне простого действия, Пулково как-то неадекватно, почти конвульсивно содрогнулся.

— У вас есть йод? — спросил первый чекист, зажимая оцарапанную руку.

В ранних сумерках машина с Пулково выехала на кишашую извозчиками и грузовиками Лубянскую площадь. Печально знаменитое массивное здание в стиле «конца века» приближалось сквозь усилившийся снегопад. Нынче, в разгар нэпа, здание это, в котором когда-то помещалась мирная страховая компания, уже не наводило такого ужаса, как прежде, в дни «красного террора» и «военного коммунизма», однако и теперь в обиходе его предпочитали не упоминать, а если и упоминали, то как-то косо, с двусмысленной улыбкой, с мгновенной неуклюжестью в жесте и походке, что, бесспорно, свидетельствовало об укоренившемся страхе. В пивных под сильным градусом московские мужики иной раз толковали о «подвалах Лубянки», о том, что там и сейчас не затихает мокрая работа. Ходили по городу слухи о трех жутких лубянских палачах, которых именovali в духе гоголевского Вия: Рыба, Мага и Гель.

В интеллигентских кругах разное говорили о вновь выплывшем на чекистскую верхушку нынешнем председателе ОГПУ Вячеславе Рудольфовиче Менжинском. Известно было, что он из семьи петербургского сановника шляхетского происхождения, то есть как и предыдущий отколовшийся в революцию католик. В докато-строфные времена отнюдь не всегда он был твердокаменным ленинцем, иной раз публиковал даже оскорбительные памфлеты по адресу вождя всех трудящихся, однако Ленин именно его за исключительные интеллектуальные способности выдвинул на пост наркома финансов, а потом за какие-то еще исключительные способности — в президиум Чека, где он и сидел веселенькие годы, с 1919-го. О личных пристрастиях этого человека молва несла совсем уже противоречивые слухи — то выходил он диким развратником, грозой женщин или мужеложцем, алкоголиком и наркоманом, а то представлял полным аскетом, едва ли не скопцом, как и предыдущий, Феликс Эдмундович.

Машина проехала мимо огромных глухих ворот, ведущих во внутренний двор Лубянки, и остановилась возле парадного входа, что чуть-чуть ободрило Леонида Валентиновича Пулково. По знаку сопровождающего он вылез наружу, посмотрел на фасад и произнес с нервным смешком:

— Ага, вот она, «Россия»!

Чекист сзади сухо пресек неуместный юмор:

— Это Государственное Политическое Управление.

— Только воробьи этого не знают, — продолжал легковесничать Пулково. — Однако мы, старые москвичи, все еще помним ваших предшественников, страховое общество «Россия».

— Следуйте за мной, гражданин Пулково! — сказал чекист.

Леонид Валентинович похолодел и тут же залился горячей испариной. Он вдруг вспомнил, что они ни разу не обратились к нему со своим уважительным «товарищем», называли его только «профессором», а вот теперь этот отчужденный и холодный адрес превратился в зловещего «гражданина»; так они называют арестованных, заключенных, врагов. Цепляясь все-таки за спасительный юморок висельника, он про-бормотал:

— Ага, понятно... формулировка, кажется, подходит к завершению...

«Наверное, отправят в Соловки, — думал он, проходя в сопровождении двух агентов по помещению «Лубы». — Там, говорят, можно уцелеть, много интеллигентных людей... Да ведь не убьют же, в самом

деле, не отправят же в подвал к этим рыбам, магам и гелям».

Между тем ничего зловещего на первый взгляд в окружающей обстановке не было. Его провели сначала через огромный вестибюль с портретом Ленина и с пересмеивающейся между собой охраной, которая не обратила на профессора ни малейшего внимания. Потом они поднялись один марш по роскошной лестнице, призванной производить солидное впечатление на клиентов «России», и вошли в лифт.

Вместо ожидаемого подъема лифт пошел вниз. Душа Леонида Валентиновича падала камнем в пучины. Значит, все-таки в подвалы? Лифт остановился. Пулково увидел не мрачные своды и орудия пытки, а ярко освещенный безликий коридор со множеством дверей. Из-за некоторых дверей успокоительно трещали пишущие машинки. Вдруг откуда-то донесся дикий и долгий вопль. Это все-таки был человек под пыткой. Профессора ввели в другой лифт и на этот раз повезли вверх. Наконец, бледный и ошеломленный, он был подведен к большим, с резьбой, дверям мореного дуба.

В кабинете главы страховой компании теперь вполне логически размещался председатель ОГПУ В. Р. Менжинский.

Пулково увидел мебель красного дерева, большой персидский ковер, письменный стол, крытый зеленым сукном, портреты Ленина и Дзержинского.

За столом сидел причесанный на пробор интеллигентный человек. Он встал как бы в приятном удивлении, потом направился с протянутой рукой к вошедшему, вернее, введенному, Пулково. Любезнейшим тоном зарокотал:

— Очень рад познакомиться, товарищ Пулково! Спасибо, что приехали. Я — Менжинский.

Пулково пожал руку и, не скрывая облегчения, вынул платок и сильно приложил ко лбу и щекам.

— Мне тоже очень приятно, товарищ Менжинский, — попытался вспомнить тот изначальный спасительный юмор, усмехнулся, но получилось довольно жалко. — Признаться, это был довольно долгий путь между его «гражданином», — он показал глазами на агента, — и вашим «товарищем».

Менжинский добродушно рассмеялся:

— Наши товарищи иногда немного переживают. — Взял профессора под руку, повел в глубину, доверительно поделился: — Люди с героическим прошлым, но нервы не всегда в порядке.

Он провел Пулково в угол кабинета, где стояли кресла и маленький столик. После этого повернулся к агентам.

— Товарищи, почему же вы просто не объяснили товарищу Пулково, что я хочу с ним поговорить? К чему эта таинственность? Ну, хорошо, вы свободны.

«Об обыске затевать речь, видимо, бессмысленно», — мелькнуло у Пулково.

Менжинский вернулся к нему.

— Присаживайтесь, Леонид Валентинович. Не хотите ли коньяку?

— Спасибо. Не откажусь.

Менжинский разлил коньяк, показал профессору этикетку.

— Бывший Шустовский, ныне «Армянский. Пять звездочек». По-моему, бьет Мартель. Ваше здоровье!

Сделав большой глоток, он придвинул кресло и улыбаясь смотрел несколько секунд, как розовеет и возвращается к жизни лицо его гостя. Затем приступил к делу.

— Много слышал, Леонид Валентинович, о вашем прошлогоднем путешествии в Англию. В правительстве считают, что эта поездка принесет пользу советской науке... В принципе как раз об этом, о некоторых перспективах современной науки, я и собираюсь

с вами поговорить, однако, прежде чем начать, я хотел бы уточнить нашу информацию о ваших встречах там с некоторыми людьми...

Все опять вдруг рухнуло внутри неподвижно сидящего, стремительно каменеющего Пулково. Неужели и об *этом* они пронюхали? Да что же в конце концов в *этом*? Ведь личное же, сугубо частное... Неужели и *это* теперь криминал?

— Прежде всего с господином Красиным, — продолжил Менжинский, не спуская с профессора холодных, пытливых, прямо скажем, не особенно джентльменских глаз.

Вздых облегчения, вырвавшийся у Пулково, не прошел незамеченным. Кажется, малейшее подергивание лицевых мышц фиксировалось этим нехорошим взглядом.

— Простите, Вячеслав Рудольфович, вы имеете в виду нашего полпреда товарища Красина? Того, что скончался несколько месяцев назад?

— Он вовремя скончался, этот господин Красин. Вы понимаете, что я хочу сказать?

— Нет, простите, решительно ничего не понимаю, да ведь и Красин уже был полпредом во Франции во время моего пребывания. Вот на обратном пути, в Париже, я был действительно представлен...

— Это нам известно, — быстро сказал Менжинский. — А вот в Англии?.. Во время вашего пребывания Красин дважды приезжал в Англию. Он вас не знакомил с какими-нибудь представителям британского правительства?

— Как же он мог меня с кем-то знакомить, если я его там не видел? — пробормотал Пулково.

Менжинский деланно засмеялся.

— Хорошо отвечаете, товарищ Пулково.

Пулково вдруг ни к селу ни к городу подумал, что, если бы не революция, Менжинский никоим образом не стал бы главой тайной полиции. Был бы каким-нибудь левым журналистом или биржевым маклером. Может быть, революция любого может сделать чекистом?

— Ваше счастье, Леонид Валентинович, — легко, дружелюбно продолжал беседу Менжинский. — Ваше счастье, что вы не встречались с Красиным в Англии, мой дорогой... ни в гостинице по дороге из Лондона в Кембридж, ни в клубе «Атенеум»... хорошо, что не встречались нигде, кроме Парижа... где это было, сейчас не помню, кажется, на приеме в полпредстве?.. Я вам немного приоткрою шторку, если угодно. Видите ли, Красин уже канонизирован, правда о его британских связях никогда не выйдет на поверхность, а вот тем людям, кто имел несчастье с ним связаться в этом контексте, наверняка не поздоровится.

Я вас ценю как ученого, Леонид Валентинович. Немного, знаете ли, по-любительски интересуюсь современной физикой. За этой наукой будущее. Очень бы не хотелось, чтобы выдающиеся умы ввязывались в темные политические дела. Такие люди, как Красин и его друзья из британских служб, вам не компания, профессор.

Говоря все это, шеф могущественной конторы дважды подливал коньяку и себе, и гостю и не один раз отхлебывал. Пулково даже показалось, что всепроникающие глаза покрылись некоторой пленочкой. Он стал рассказывать Менжинскому о работах Резерфорда. О чем еще можно рассказывать в связи с гениальным ученым, если не о его работах?

После первого воспроизведения искусственной ядерной реакции Резерфорд уже не выходит из этой области. Он предсказал существование нейтрино и надеется поймать эту частицу в лабораторных экспериментах. Да, мы хорошие друзья, Эрнест с симпатией относится к моим изысканиям в области низких температур, к идее высокочастотных разрядов в плотных газах...

Менжинский внимательно слушал, кивал, потом вдруг хлопнул ладонью Пулково по колену и пьяно захохотал.

— Ну, а как вам нравится Мейерхольд, Леонид? Он нас всех одурачил со своим Гоголем! Знаете, вот отправляюсь, конечно, инкогнито, на «Ревизора», ну, естественно, отдохнуть, похохотать... а вместо отдыха со сцены прет чертовщиной какой-то, жуть, серой пахнет... Эге, это не для рабочих и крестьян, как полагаете?

Не дожидаясь ответа, Менжинский встал и пошел к своему столу. По дороге он передумал и переменял направление в сторону маленькой двери в дальнем углу. Тут его основательно качнуло. Достигнув двери, он обернулся к физику.

— Живем, ей-ей, на грани какой-то мистики, — проговорил он. — Недавно я читал, что ваш Резерфорд предполагает планетарное строение атома. Значит ли это, что наша Солнечная система может оказаться просто атомом, а Земля — одним из электрончиков?

— Это не исключено, — сказал Пулково.

— Ха-ха! — вскричал Менжинский. — Впечатляюще!

Хохоча, он ушел в смежную комнату.

Несколько минут Пулково сидел в одиночестве, пытаясь собрать убегающие, будто нейтрино, мысли, пытаясь понять, что все это значит и откуда в Чека вдруг объявился интерес к ядерной физике.

Менжинский вернулся совершенно трезвый — да и неизвестно, был ли он пьян хоть на минуту, не актерствовал ли, — и сел рядом с Пулково. Несколько секунд он молча смотрел на него, а потом строго спросил:

— Леонид Валентинович, правда ли, что атомические исследования могут привести к созданию всеограшающего оружия?

К ночи снег быстро стоял под внезапно приплывшей в район Москвы оттепелью. Дул сильный южный ветер, зонты вырывались из рук и хлопали, пока Бо и Лё медленно шли, поддерживая друг друга, по пустынной дачной улице в Серебряном Бору.

— Что же ты ответил ему на вопрос об атомическом оружии? — спросил Градов.

— Я сказал, что на это уйдет не меньше столетия, — пожал плечами Пулково.

Градов усмехнулся.

— Большевики — странные люди. Иногда мне кажется, что при всем материализме их поступками движет какой-то мистицизм. Чего стоит, например, бальзамирование Ленина и выставление останков на поклонение. Что касается времени, то они его, сдается мне, запросто делят на четыре. Вот, возможно, что тебя спасло, Лё, атомическое оружие. Они хотят его иметь через четверть столетия...

Большая фигура в милицесской форме вдруг вылезла из-за забора, нетрезво качнулась и произнесла, подняв ладонь к козырьку:

— Так точно, товарищ профессор! Даешь оружие через четверть столетия!

— Слабопетуховский! — вскричал профессор Градов. — Что вы тут делали? Опять подслушивали? И почему это на вас милицесская форма?

Весьма довольный произведенным эффектом, Слабопетуховский весело доложил:

— Выписался из героической РККА и записался в героическую милицию, товарищ профессор. Агафья Власевна не даст соврать, третий день у вас участковым уполномоченным на страже благополучия. Позвольте задать личный вопрос. Лишний троячок случайно у вас не завалялся в карманчике пальто?

В конце месяца Никита, Вероника и Борис IV возвращались в Минск. Собственно говоря, возвращались только родители, в то время как надменный младенец, урожденный москвич, совершал свое первое путешествие.

Среди толкотни и суеты Белорусского вокзала на перроне возле спального, так называемого «международного», вагона собиралось семейство Градовых. Мэри приехала из дома вместе с любимым внуком, чуть позднее прибыл Борис Никитович, потом сосредоточенно пришагал Кирилл.

Никита держал на руках Бориса IV. Увесистый крошка чуть посапывал ему в щеку, переполняя все существо комдива неслыханной нежностью. Агаша, бывший младший командир, ныне участковый уполномоченный Слабопетуховский, а также неизвестный красноармеец, присланный из наркомата, завершали погрузку багажа.

— Почему так много комсостава на перроне? — спросил Кирилл старшего брата. На юном его лице было отчетливо написано, что он-то имеет право задать такой вопрос и рассчитывает получить ответ.

Никита это заявление немедленно прочел и ответил как свой своему:

— Большие маневры на польской границе.

— Вах, — сказала тут Мэри. — Дайте мне подержать самого лучшего ребенка в мире.

Борис IV тут же перекочевал к ней, стал сопеть теперь уже ей в щеку.

— А где же Вероника? — спросил Борис Никитович.

— Пошла купить журналов на дорогу, — сказал Никита и поднялся на ступеньку, чтобы сверху высмотреть в толпе жену. — Вон она! Как всегда, в своем репертуаре, забыла обо всем на свете!

Вероника с ворохом журналов медленно двигалась в толпе отъезжающих и провожающих, штатских, военных, крестьян, совслужащих. Погруженная в журнал, она ничего не замечала вокруг, даже подозрительно крутящихся поблизости пацанов-беспризорников.

Вдруг кто-то из толпы тихо обратился к ней:

— Вероника Александровна!

Она подняла глаза и узнала комполка Вадима Вуйновича. Смуглый, широкий в плечах, тонкий в талии, больше похожий на кавказца, чем полугрузин Никита, он смотрел на нее, не скрывая восхищения, вернее, не в силах его скрыть. Казалось, в следующую секунду он просто бросится к ней в любовном головокружении.

Вероника засмеялась.

— Вадим! Вы меня напугали! Шепчет, как шпион: «Вероника Александровна!»

Она давно уже понимала, какого рода чувства испытывает к ней этот человек, и всегда инстинктивно старалась снизить тон, обернуть драматические страсти-мордасти в легкую, веселую двусмысленность.

— Простите, я не хотел обращаться к вам, но... но... — бормотал Вадим.

— Тоже едете в Минск? — спросила она. — Заходите в наше купе, мы в «международном». Познакомьтесь с его высочеством Борисом Четвертым.

Никита с подножки вагона видел идущих рядом Вадима и Веронику. Он знал, что бывшему другу нечего тут делать, как только выслеживать его жену. Мрак опустился на него, а тут еще он вдруг увидел бодро шагающий по перрону небольшой отряд, вроде бы полувзвод моряков в их черной форме с блестящими пуговицами, с трепещущими лентами бескозырок; один, в первом ряду — с боцманской дудкой на широкой груди. Никите показалось, что в следующий момент отряд возьмет его на прицел, то есть мгновенно и без церемоний отомстит за Кронштадт.

— Нет, я не приду к вам в купе, — тихо сказал Вадим Веронике. — Я просто хотел вам счастья пожелать.

Вероника еще веселее засмеялась и взяла его под руку.

— Такой странный! Счастья пожелать! — Она махнула мужу всей пачкой только что купленных журналов. — Никита, смотри, кого я заарканила!

Вадим освободил свою руку, отступил и исчез в толпе.

Отряд моряков остановился и сделал левый поворот возле «международного» вагона, в котором отбывал не только комдив Градов, но и главком Западного военного округа Тухачевский. Оказалось, что это просто-напросто музыканты. Почти мгновенно они заиграли «По долинам и по взгорьям».

...В последний момент перед отходом поезда по перрону, словно скоростная моторка, пронеслась Нина. Она еще успела прыгнуть на шею брату, лобзнуть невестку, подкинуть высокомерного младенца-племянника.

Поезд медленно тронулся. Никита и Вероника стояли в дверях вагона, обнявшись. Смеялись и посылали воздушные поцелуи. Все шло как по маслу под бравадную интерпретацию красноармейско-белогвардейской песни минувшей войны. Провожающие, как им и предполагается, махали руками, платками и шляпами. Мэри Вахтанговна, не в силах видеть удаление любимого детища, уткнулась мужу в мягкий шарф. Участковый уполномоченный Слабопетуховский то и дело доставал из-за голенища четвертинку водки. В его сознании, очевидно, произошел некоторый сдвиг времен.

— Шла дивизия вперед! — кричал он вслед поезду. — Даешь Варшаву!

— Прекратите, Слабопетуховский! — строго сказал ему Кирилл Градов. — Вы что, не понимаете, что вы несете?

Участковый протянул партийцу свою драгоценную четвертинку и очень удивился, когда его щедрая рука была решительно отодвинута.

Глава седьмая НА НОСУ ОЧКИ СИЯЮТ!

В ноябре 1927 года Тоунсенд Рестон вновь покинул свою штаб-квартиру в Париже для того, чтобы совершить путешествие на «Красный Восток». Повод на этот раз в отличие от его первого, два года назад, приезда был более отчетливым — освещение грандиозных празднеств, затеваемых в Москве в связи с десятилетием Октябрьской революции.

Десятилетие немыслимой власти, перед которой даже шабаши чернорубашечников и речи Муссолини кажутся лишь пьеской «комедия дель арте»! Власть стоит незыблемо и, по всей вероятности, вовсе не думает меняться, то есть утрачивать свою немыслимость, идти в том направлении, которое предсказал тогдашний собеседник Рестона, мистер Юстреллоу, теоретик движения «Смена вех».

В отличие от того профессора-эмигранта Рестон не испытывал никакого священного трепета перед «исторической миссией России», если он вообще когда-нибудь предполагал, что эта миссия действительно существует и с ней цивилизованный мир должен считаться. Он просто видел полную абсурдность и самую наглую беспардонность установившейся в разрушенной империи власти и ни на минуту не сомневался, что они раздавят этот свой нэп в ту же минуту, как только решат, что он им больше не нужен.

Первая серия «русских» статей Рестона, которую он как раз и построил в форме дискуссии с неким русским «осоветивающимся» историком, имела успех. После

этого Рестон уже не сводил взгляда с Востока. Он знал о проходящей внутрипартийной борьбе и ни на цент не верил ни тем, ни другим. Конечно, Устрялов ухватился бы за тот факт, что генеральная линия одолевает оппозицию с ее ультрареволюционными лозунгами. Вот, сказал бы он, вам и доказательство укрепления идеи нормальной государственности. Сталин — прагматик, ему нужна крепкая держава, а не мировой пожар, ему нужен нэп, нужны крепкие финансы, надежное снабжение, довольный, сытый народ. «Bullshit»¹, — бормотал Рестон в ответ на эту воображаемую тезу, коммунизм в этой стране зловеще укрепляется с каждым годом, и укрепляет его генеральная линия, а не болтуны из оппозиции. Оппозиция при всем ее революционном демонизме — это все еще отрывка либерализма. Истинный коммунизм начнется со Сталина.

Утром 7 ноября он вышел из «Националя» и пешком направился на Красную площадь, куда ему стараниями ВОКСа был выписан пропуск. Сопровождала его воксовская переводчица Галина, блондинистая молодая особа с повадками плохо тренированного скакуна. Она все время как-то дергалась в разные стороны и озиралась одновременно во всех направлениях.

«Может быть, все-таки переспать с ней», — думал Рестон. Удовольствие явно будет не высшего сорта, но зато смогу похвастаться перед Хэмом в «Клозери де Лиля», что спал с чекисткой.

Он положил ей руку чуть-чуть ниже талии. Круп Галины немедленно ушел из-под руки, как льдина из-под сапога в ледоход. Крупные боты сбились на нервный галоп.

— Переведите мне, пожалуйста, все эти лозунги, — попросил Рестон.

Манежная площадь на всем протяжении была заполнена отрядами участников парада; они или стояли «вольно», или маршировали на месте, или начинали двигаться по направлению к Кремлю. Серый денек был крепко подогрет повсеместным полыханием одноцветных, то есть кумачовых, знамен. Со стен Исторического музея, Гранд-отеля и здания бывшей Думы смотрели портреты Ленина, Сталина, Бухарина и других членов Политбюро. «В принципе на этих портретах одно и то же лицо», — подумал Рестон. Меняются от вождя к вождю только очертания растительности.

Галина торжественным тоном переводила призывы с огромного полотнища на фасаде Исторического музея:

— «Взвейтесь, красные знамена! Пролетарии мира! Труженики всей земли! Готовьтесь, организуйте победу мировой революции!»

— Вот оно как, — хмыкнул Рестон, — где же ваши принципиальные различия, господин Устрялов?

Проходившие мимо части Красной Армии демонстрировали новинку — яйцеподобные стальные шлемы. Промаршировал санитарный отряд женщин в голубых косынках. Марширует на месте полк Осоавиахима. Рядом машет сжатыми кулаками полк «Красных фронтовиков Германии», часть из них, несмотря на московский промозглый холод, в коротких баварских штанишках. Здоровенные молочные ляжки. «Фронтовики» вызывают умиление у московской публики. Подвыпивший субъект в пролетарской фуражке плачущим голосом обращается к немцам: «Пулеметиков бы вам, браточки, пулеметиков бы! Показали бы вы тогда Гинденбургу!»

«Зиг хайль!» — режут хорошо отъевшиеся в Москве немцы.

Через репродукторы по всей площади начинает разноситься произносимая с трибуны Мавзолея речь Ни-

¹ Английское ругательство.

колая Бухарина. Парад начался. Рестон и переводчица ускоряют шаги.

«Пролетарии! — театральным голосом взывал Бухарин. — Трудящиеся крестьяне! Бойцы Красной Армии и Флота! Пять лет с винтовкой в руке мы сражались против несметных сил врага! Мы разбили их вдребезги! Мы переломили хребет помещику! Мы ниспровергли банды капиталистов! Пять лет мы сражались против разрухи и нищеты, частного капитала и паразитов! Мы подняли страну из бездны, мы быстро идем вперед! Мы тесним капитал, мы окружаем кулака! Кто мы? Массы! Миллионы! Рабочие, крестьяне-труженики! Да здравствует Великая Октябрьская революция!»

«И после таких речей тут люди еще на что-то надеются», — подумал Рестон.

«Почему бы ему не подарить мне эту авторучку? — подумала переводчица, глядя, как гость — «гость непростой, даже опасный», предупредили ее, — не замедляя хода, ставит стенографические закорючки в блокноте своим «монбланом» с золотым пером. — Ах, я была бы без ума от этой авторучки!»

— Скажите, Галина, это правда, что оппозиция сегодня собирается выступить? — спросил Рестон. — Говорят, что будет своего рода параллельная демонстрация, вы не слышали?

Она пошла крупной дрожью. Вот уж правильно предупреждали! Опасный!

— Да как же вы можете это говорить в такой день, господин Рестон? Всенародный праздник, господин Рестон! Разве вы не симпатизируете нашей стране?

— Нет, не симпатизирую, — буркнул он.

В десять часов утра на Кремлевской стене вспыхнула огненная цифра X. Из ворот Спасской башни на белом коне выехал наркомвоенмор Ворошилов. Всадник он был явно неплохой, в седле сидел вольготно, видно было, что наслаждался сегодняшней миссией: тысячи глаз устремлены на него, «первого красного офицера!» После завершения церемонии принятия рапортов мимо Мавзолея пошла кавалерия: всадники в остроконечных «буденовских» шлемах держали пики с разноцветными флажками.

«Странная униформа, — строчил Рестон в свой блокнот. — Армия Хаоса. Гог и Магог».

Будто для того чтобы усилить это впечатление «опасного гостя», через площадь на всем скаку прошел национальный полк Кавказа. Летели черные бурки и голубые башлыки.

На трибунах для иностранных гостей, где преобладали разноплеменные коммунистические делегации, воцарился полный восторг. Оглядываясь, Рестон видел горящие глаза и поднятые в пролетарском приветствии кулаки.

Кто-то, кажется, группа испанцев, запел «Интернационал». Тут же на разных языках загремела вся трибуна. Кто-то, принимая за своего, положил Рестону руку на плечо. «Мерзавцы», — думал журналист, улыбаясь, показывая все 32 американских зуба.

За трибуной Мавзолея в комнате отдыха был сервирован большой стол с вином, закусками и огромным самоваром. Здесь наблюдалась постоянная циркуляция вождей, среди которых мельтешили Молотов, Калинин, Томский, Енукидзе, Клара Цеткин, Галахер, Вайян-Кутюрье... В открытые двери доносились музыка и гром парада.

Сталин и Бухарин пили чай в уголке. Стаканчик слегка дребезжал о подстаканник в непролетарской

лапке. Николая Ивановича. Иосиф Виссарионович олицетворял стабильность, кусок за куском ел бутерброд с икрой. Как все грузины, он умел есть. Бухарин, истый наследник бездарной позитивной интеллигенции, хлебал неаппетитно, шептал:

— Иосиф, есть точные сведения, что оппозиция выступит по крайней мере в Москве и Ленинграде.

Сталин улыбался, то есть слегка распускал рот под усами.

— Не волнуйся, Николай. Рабочий класс не допустит бесчинства кучки негодяев.

— Менжинский в курсе дела? — нервно интересовался Бухарин.

Сталин хмыкнул:

— Не волнуйся, дорогой.

Характер шума за дверьми между тем изменился. Мерное уханье маршировки увядало. Вразнобой играло несколько оркестров. Многотысячное шарканье подошв. Хаотическая многоголосица. Выкрики любви к правительству. Начиналась демонстрация трудящихся столицы.

Рестон допытывался у переводчицы, что это за дикие карикатурные фигуры плывут над колоннами. Та сначала вздыхала, закатывала глаза: ну это так, ну, в общем, политическая сатира, но потом, закусив губу, с некоторой даже злостью — вот, мол, вам за гадкое любопытство — выложила:

— Вожди британского империализма Макдоналд и Чемберлен!

Ага, понятно, Рестон теперь и сам уже начинал разбираться. Вот плывет огромная фанерная фигура мирового рабочего с кувалдой. Перед ним оскаленные зловещие рожи империалистов в цилиндрах и с сигарами. Ражие парни, хохоча, тянут веревку. Рабочий вздымает кувалду и обрушивает ее на цилиндры. После справедливого наказания кувалда снова вздымается, а цилиндры выпрямляются. «Смешно, что он не может нанести окончательного сокрушающего удара, иначе провалится все шоу», — зловредничал в записной книжке Рестон.

Вдруг пошла какая-то необозримая колонна китайцев. Над ней на ходулях вышагивали империалистические чучела. Сатирический мотив затем схлынул. Колонны московских предприятий плакатами и передвижными радостными диаграммами рапортовали о своих достижениях. Тут и там проплывали портреты Сталина, Калинина, Рыкова. Представители колонн кричали в большие из оцинкованной жести рупоры:

— Да здравствует Сталин!

— Да здравствует всесоюзный староста!

— Да здравствует наше родное Советское правительство!

Рабочие завода им. Ильича развернули широкий транспарант: «За ленинизм, против троцкизма!»

Главная улица Москвы Тверская с ее гостиницами, ресторанами и магазинами была запружена медленно продвигающимися в сторону Красной площади колоннами демонстрантов. Погода в целом благоприятствовала излианию чувств, как, впрочем, и возлиянию ободрающих напитков. Бодрили и оркестры, шлось хорошо.

Над демонстрантами, на балконе гостиницы «Париж», стояли шесть фигур руководящего состава. Они приветствовали колонны, выкрикивали в мегафоны лозунги революционного характера, бросали праздничные листовки. Проходящие под балконом «михельсоновцы» отвечали громким «ура» и аплодисментами.

— Кому вы аплодируете, товарищи?! — надрывался Кирилл Градов. — Ведь это же оппозиция! Троцкисты! Раскольники!

Он стоял на платформе грузовика с откинутыми бортами. Вместе с ним орали во все стороны несколько других агитаторов Краснопресненского райкома ВКП(б).

«Михельсоновцы» сначала и их просто награждали аплодисментами, потом стали соображать — что-то не по-праздничному базлают товарищи. Потом стали внимательнее приглядываться к «Парижу», пошел в ход классовый прищур — и впрямь что-то не то: в окнах гостиницы портреты Троцкого и Зиновьева, с балкона, если разобратся, доносится несурзное «Долой сталинский бюрократизм!»... А вон листовочка парит, пымай ее, Петро, да прочти! Прочешь мало, тут карикатура на нашу партию, товарищи. Вот, гляньте: «ВКП(б) за решеткой».

«Во, влипли, братцы!» — захохотал кто-то. Другой кто-то яростно заорал, потрясая кулаком: «Надули, сукины дети, испортили праздник!» Из переулка вырвалась толпа молодых, краснощеких, пошла пулять яблоками по балкону: «Бей гадов!»

У входа в гостиницу стояла довольно плотная, не менее двух сотен, толпа оппозиционеров, преобладали люди студенческого и интеллигентного вида, было, однако, немало и рабочих. Покачивалось несколько раскольнических лозунгов: «Да здравствует оппозиция!», «Да здравствуют вожди мирового пролетариата товарищи Троцкий и Зиновьев!». Все новые и новые группы молодчиков выскакивали из переулков, разрезали колонны, теснили митингующих, выхватывали то одного, то другого, сильно давали по шее или поддых, швыряли на мостовую. В ораторов на балконе все гуще летели паршивые яблоки, галоши. Оппозиционеры, видя, что каша заваривается вкрутую, пытались соединить руки, выкрикивали хором: «Долой Сталина! Долой сталинизм!», — защищались неумело и ничтожно, будто толстовцы собрались, а не такие же яростные коммунисты.

Подъезжали один за другим милицейские фургоны. Организованных патриотов становилось все больше, к ним присоединялись и демонстранты из проходящих колонн, и вскоре теснение оппозиции превратилось в повальное избиение. Оппозиционеры, бросая плакаты, пытались выбраться из толпы, скрыться в подъездах. Их тут же перехватывала милиция и без церемоний распахивала по фургонам.

Кирилл с райкомовского грузовика не без содрогания смотрел на разворачивающуюся картину. Литературные ассоциации, которыми, естественно, был богат градовский дом, услужливо подталкивали сопоставить происходящее с чем-то из «позорного прошлого», некий повтор, *deja vu*¹: налет охотнорядцев на митинг социал-демократов.

Рядом потирал руки радостно возбужденный товарищ Самоха. Борясь с отвращением, Кирилл взял чекиста за пуговицу.

— Что происходит, Самоха? Вы спустили с цепи Марьину рощу!

Большой и складный мужик Самоха даже не повернул к юнцу головы.

— Ничего, ничего, — приговаривал он. — Это им пойдет впрок! Не будь интеллигентским хлюпиком, Градов! История шутить не любит!

«Может быть, он и прав, — подумал Кирилл. — Скорее всего он прав, пора уж раз и навсегда, как Ленин учил, выбросить белые перчатки. А чем я лучше этого Самохи? Не я ли весело смотрел, как на Преображенском висели двое таких же вот, в шпанских кепариках?»

Вдруг он увидел неподалеку, как двое, как раз двое и как раз «таких же вот», в кепариках с обрезанными под корешок козырьками тащат женщину с портретом

Троцкого в руках. Один сорвал с нее платок, другой ухватил за волосы. Не помня себя, Кирилл спрыгнул с грузовика и бросился на выручку.

Троцкий с переломанной палкой резко вылетел из рук женщины, в последний раз на сотую долю мига косым планом зафиксировался над бурлящей толпой — эх, а ведь совсем еще недавно жарили под тальяночку: «Посмотрикось ты на стенку, етта Троцкого патрет, на носу очки сияют, буржуазию пугают!» — и свалился в грязь под ноги. Рифленая подошва немедленно прогулялась по легендарному лицу. Бросив женщину, молодчики принялись за Кирилла. Схватили за грудки, придавили к стене. Морды их сияли счастьем: эх, жизнь — прогулка!

Кирилл сопротивлялся, чем еще больше их веселил. Теперь один давил ему на шею, пригибая голову к земле, а второй заворачивал руку за спину.

— Пустите! — отчаянно завопил Кирилл. — Я не... я не троцкист! Я за... генеральную линию партии!

Ребята заржали:

— Ты за генеральную, а мы за солдатскую!

Неторопливо подошедший к возящейся троице «рыцарь революции» Самоха в своих кожаных доспехах — явно не спешил, чтобы и хлюпику Градову кое-что пошло впрок — показал уркаганам красную книжечку ОГПУ и освободил марксиста.

Между тем в другом районе столицы, на углу Моховой и Воздвиженки, откуда уже была видна пузатая Кутафья башня Кремля, события развивались несколько иным образом. Здесь оппозиции удалось лучше организовать. Митинг был гораздо многочисленнее и спокойнее. Никто не посягал на раскольнические плакаты и лозунги. Фасад Четвертого Дома Советов был украшен большим портретом Троцкого. Неподалеку от портрета в открытом окне время от времени появлялся оригинал, взмахивал пачкой тезисов, пламенно, в лучшем стиле Южного фронта 1920-го, бросал в толпу:

— Вопрос стоит просто, товарищи: или Революция, или Термидор!

В ответ неслись оглушительные аплодисменты и приветствия. Троцкий фиксировал историческую позу, отворачивался от окна, глотал аспирин. Голова трещала. «Надо было действовать три года назад, — в который раз корил он себя. — К пулеметчикам надо было обращаться, а не к студентам».

По периферии митинга по направлению к Красной площади медленно проходили колонны основной демонстрации. Демонстранты глазели на митинг, никак не выражая своего отношения к лозунгам. При появлении Троцкого в окне все, конечно, ахали. Вождь морщился. Ахают от любопытства, а не из солидарности. Не меньше, наверное, ахали бы, а может быть, и больше, если бы появлялся Шалапин.

В одной из колонн продвигалась большая группа молодежи. Внимательно присмотревшись к этой группе, можно было бы предположить, что она скорее принадлежит к оппозиции, чем к демонстрации послушного большинства. Между тем она двигалась смиренно и даже как бы апатично, стараясь не обращать внимания на зажигательные кличи из Четвертого Дома Советов. Семен Стройло нес плакат «Слава Октябрю!», Нина Градова — портрет «всесоюзного старосты», похотливого козлобородого Калинина, руководитель же подпольного кружка Альбов не постеснялся вооружиться физиономией самого ненавистного Кобы. Им надо было во что бы то ни стало благополучно достичь Красной площади.

Движение колонн опять застопорилось, и группа Альбова, не менее сотни юных троцкистов, остановилась как раз напротив Четвертого Дома Советов.

¹ Дословно: уже виденное (фр.).

Волей-неволей ребята теперь смотрели издали на своих, на портрет любимого вождя и открытое окно, в котором только что промелькнул оригинал. Альбов с тревогой озирали дрожащих от возбуждения соратников: только бы не сорвались!

Нина Градова, оглянувшись по сторонам, прошептала на ухо Семену:

— Ручаюсь, здесь полно агентов Сталина! Посмотри, Семка, вон шныряют шакалы!

— Факт. Где же им еще быть? — натужно пробасил Семен и левой рукой обнял ее за плечи, как бы передавая свое классовое, уверенное в собственной правоте спокойствие. Ему еле удавалось сохранять широту и размеренность движений, то есть свой главный маскарад. Все у него внутри трепетало и звало как раз к полной противоположности — юлить, оглядываться, прятать взгляд. Скоро все выяснится. Почти наверняка она поймет наконец, кто он такой, вот тогда и увидим: любишь или не любишь, профессорская дочка? Вот тогда и проверится искренность твоих чувств, что тебе дороже: троцкизм твой говенный или любимый мужик. В новую жизнь ведь тебя могу провести гордой поступью!

Из-за плакатов, как из-за мейерхольдовских декораций, вынырнуло красивое лицо Олечки Лазейкиной, послышался ее горячий шепот:

— Ребята, он! Смотрите, Лев Давидович!

В окне и в самом деле вновь возник Троцкий. Застыл на мгновение с поднятой рукой, потом начал швырять вниз призывы:

— Мы за немедленную индустриализацию! Мы за партийную демократию! Товарищи, пламя революции вот-вот охватит Европу и Индию! Китай уже рычит! Бюрократия — это оковы на ногах мировой революции!

Митинг под окнами опять взорвался криками и аплодисментами, вверх полетели шапки. Трудящиеся из колонн по-прежнему глазели на все происходящее, как на спектакль. Началось медленное движение к Кремлю. Альбов шептал своим:

— Спокойно, ребята! Мы проходим тихо. Наша цель — Красная площадь.

Вдруг все замерли на Воздвиженке. С крыши Четвертого Дома Советов спускался крюк. Из слухового окна две пары чьих-то рук дергали толстую веревку, стараясь подвести крюк под край портрета Троцкого. Оппозиция возмущенно взревела. В колоннах кто-то восторженно взвизгнул:

— Глянь, портрет хотят стащить!

Троцкий некоторое время еще швырял призывы, явно не понимая, что происходит, потом опять исторически застыл. Распахнулось соседнее окно, и в нем появился ближайший сподвижник Муралов с длинной половой щеткой. Наполовину высываясь из окна, он елозил щеткой по стене, пытался перехватить зловередный гэгэушный снаряд.

— Ура! — вопили теперь восторженно в топчущихся колоннах.

Борьба щетки и крюка захватила всех. Троцкий отступил от окна и сказал приближенным:

— Мы проиграли. Массы инертны.

Между тем дело обстояло как раз наоборот: под давлением щетки крюк позорно ретировался. Массы с энтузиазмом аплодировали. Отсутствие чувства юмора помешало вождю перманентной революции использовать свой единственный шанс.

Парад продолжался весь день. В приемной на задах Мавзолея прислуга уже в десятый раз заново сервировала стол. Иногда открывалась дверь на трибуны, и тогда становились видны коренастые фигуры вождей, неумоимо приветствующих демонстрантов. Слышался шум проходящих колонн, рев оркестров, возгласы любви.

Охрану внутри Мавзолея несла кавказская стража самого Сталина. Два джигита, вооруженные револьверами и кинжалами, стояли у дверей подземного тоннеля, ведущего за кремлевскую ограду. Вдруг одному из них послышалось что-то подозрительное. Он открыл дверь и увидел в тоннеле трех стремительно приближавшихся командиров РККА.

— Кто пропустил?! — взвизгнул охранник. — Стой! Стрелять буду!

Подбежали еще два кавказца, руки на рукоятках кинжалов. Командиры подошли уже вплотную, напирали, размахивали пропусками. Один из них гулко басил:

— Какого черта?! Нас послал начальник Академии Роберт Петрович Эйдеман для охраны правительства! Вот пропуска! Комполк Охотников, комбаты Геллер и Петенко! Прочь с дороги!

Охранник забрал пропуска, начал их разглядывать. Командиры как-то странно пружинились, взгляды их обшаривали буфетную залу, словно кого-то выискивая среди входящих и выходящих вождей. Осетин-охранник поднял рысий взгляд на басистого Охотникова, от напряжения приподнялся на носки, будто гончая перед рывком.

— Неправильный печать на ваш пропуска. Почему?

Он еще колебался, предположить ли самое нехорошее, однако инстинкт ему говорил: надо действовать немедленно, в следующую секунду, иначе будет поздно.

Петенко вырвал у него из рук пропуска.

— Без печати ты не видишь, кто мы? Орденов наших не видишь, дикарь?!

Охранник засвистел в свисток. Буфетная наполнилась охранниками, работниками секретариата. Прогремел голос: «Сдать оружие!» Открылась дверь с трибуны, вошли Сталин, Рыков и Енукидзе. Кто-то из них удивленно воскликнул: «Что здесь происходит, товарищи?!»

При виде Сталина Охотников, Геллер и Петенко бросились головами вперед. Кавказцы повисли на них. Все выглядело очень нелепо: опрокидывающиеся столы, разлетающиеся вдребезги бутылки и тарелки, съехавший в угол и извергающий пар самовар, перепуганные вожди, возящаяся вокруг возмущенно орущих командиров кавказская охрана; надо всем царил крепкий до тошнотворности запах разлившегося коньяка.

Все это продолжалось несколько секунд, и в течение этих секунд Сталин понял: происходит что-то очень нехорошее, может быть, то самое, что иногда снится со всеми подробностями, то самое, что не дает спать по ночам. То самое происходит среди бела дня, над священным телом революции. Надо немедленно бежать. Не имею права рисковать собой.

В следующую секунду Охотникову удалось отшвырнуть двух охранников. Он подскочил к Сталину и со всего размаха ударил его кулаком по голове. Сапоги Сталина разъехали в коньячной луже, он упал в угол, мелькнуло: «Конец революции!», — и потерял сознание. Осетин достал сзади Охотникова кинжалом в плечо. Брызнула кровь.

— Возьмите их живьем! — орал Енукидзе.

Сталин в нелепой позе лежал в углу, вокруг были разбросаны слетевшие со стола закуски. Охотников зажимал рану правой рукой, вся левая часть спины была в крови, в левой руке он теперь держал револьвер. В мельтешне он никак не мог прицелиться в Сталина. Что-то мешало ему, красному герою-головорезу, стрелять в тех, кто *ни при чем*.

Еще через несколько секунд командирам с пистолетами в руках удалось протиснуться в тоннель и пуститься в бегство. За Кремлевской стеной их ждали две мотоциклетки.

— Ушли, мерзавцы! Иосиф, как ты? — участливо склонился Рыков.

Сталин сидел сморщившись, будто уксусу хватанул

по ошибке. Он расстегнул пуговицы, чтобы оправить собравшуюся на животе шинель.

— Далеко не уйдут, — пробурчал он.

Демонстрация между тем продолжалась. «Мы красные кавалеристы, и про нас былинные речистые ведут рассказ», — голосили девчата в косынках. Колонна, в которую затесалась группа Альбова, вступала на Красную площадь, демонстрируя все, что полагается: огромный гроб «Русского капитализма», гидру контрреволюции с головой Чемберлена, макет будущего Днепрогэса. Проходя мимо фасада Верхних торговых рядов, колонна обтекала памятник Минину и Пожарскому. В этом именно месте Альбов выбежал из ряда и, широко размахнувшись, швырнул на брусчатую мостовую портрет Сталина. Усатой физиономией вверх портрет проскользнул по слизи в сторону цепи красноармейцев, выстроившихся перед Мавзолеем.

— Пора, товарищи! — закричал Альбов своим.

Троцкисты уже отшвыривали официальные плакаты и разворачивали над головами припрятанный до этого момента транспарант «Долой термидорианцев!». Такой же лозунг спускался на огромном полотнище из окон Верхних торговых рядов прямо на обозрение правительственным трибунам и почетным гостям: «Долой термидорианцев!».

«Долой! Долой!» — скандировали юнцы. Нина то размахивала руками, то вцеплялась в плечо Семена. «Долой! Долой!» — Морозные волны восторга окатывали и воспаляли ее. В такую минуту на пулеметы побежать, погибнуть, испариться! «Долой!»

Власти немедленно начали принимать меры. Рота пехотинцев бежала через площадь, стаскивая винтовки и отмыкая штыки. Приказ был — лупить прикладами, не жалея. В тыл колонны врезался эскадрон кавалерии. Честные трудящиеся расступались, показывая конникам: «Это не мы, братцы, это вон там, жидовня!» Махали вслед кулаками, выражали гнев: «Бей гадов!» У конницы задача, однако, была не бить, а оттеснить группу с площади на зады Верхних торговых рядов. Разрозненно, со свистками, создавая дикую панику, подбегали со всех сторон милиционеры: «Лови предателей!»

Сцепив руки, группа Альбова защищала свой транспарант, пока могучие лошади и летящие в лица приклады не вдавили ее под темную арку проходного двора. «Наше дело сделано! Все враспыл!» — донесся откуда-то голос предводителя.

Рассыпаться, увы, было уже некуда. Через несколько минут группа оказалась в узком Ветошном проезде, отделенном от Красной площади массивным зданием рядов. Здесь уже началось настоящее избиение. Милиция и красноармейцы орудовали палками, прикладами и шашками в ножнах. Мелькали окровавленные, обезображенные лица. «Фашисты! Убийцы!» — истошно кричали троцкисты. Их сбивали с ног, волокли к тюремным фургонам. Кое-кто еще пытался бежать, смешаться с толпой зевак. Их опознавали и вытаскивали на избиение. Творился суший бедлам.

Двое красноармейцев, гогоча, волокли Нину Градову. Один обхватил ее сзади, другой рвал пуговицы на пальто.

— Вот сейчас мы тебя, сучка, заделаем! Вон тащи ее, Коляй, за бочки! Там мы ее заделаем!

Разрываясь от крика: «Семен! Семен!», — Нина пыталась освободиться от пронзительно-вонючих ублюдков. Налетела волна воющих людей и всадников, разорвала оцепление, отшвырнула Нину к дверям какой-то москательной лавки. Дверь приотворилась, масляная рожица вынырнула из темноты.

— Влезай, барышня, спасайся!

Она в ужасе отшатнулась, снова закричала: «Семен! Семен!» — и вдруг увидела его.

Среди всей этой мрачной свалки инструктор Осоавиахима был светел, даже лучист. Покуривая, он стоял на высоком крыльце торговых рядов и показывал гэпэушникам, кого брать в толпе. Не веря своим глазам, она стала пробираться по стенке поближе к крыльцу. «Семен!» — еще раз крикнула она, и тут он ее увидел, услышал, усмехнулся, протянул руку, сквозь вопли до нее донеслось: «Игра окончена, Нина Борисовна! Влезай сюда!» Она увидела, как один из гэпэушников в этот момент подтолкнул Семена и впросительно показал на кого-то в бурлящей толпе: «Этот?» — и как Семен торопливо закивал: «Этот, этот».

— Доносчик?! — истерически закричала Нина. — Семен, ты доносчик!

Толпа еще раз крутанула ее и отнесла прочь. Оглянувшись, она еще заметила, что Семен и на нее показывает гэпэушникам: вот эта, мол, тоже. В следующий момент какой-то конник дотянулся до ее головы древком своей парадной пики. Нина потеряла сознание и свалилась под ноги толпе.

Сражение было окончено. Милиция запихивала измочаленных троцкистов в фургоны. Толсторожий и задастый мильтон за руку тащил бесчувственную Нину к углу Никольской улицы. На углу вдруг уличный сброд, нищие и торговки горячей снедью окружили блюстителя порядка.

— Глянь, глянь, народ, девчонку убили, изверги! Бандиты, мазурики, кровопийцы школьницу-красавицу порешили!

Мильтон растерянно озирался:

— Ну, чего, чего?! Живая она! Под арест попала, троцкистка ж!

Какая-то торговка швырнула в него черствым пирогом, полетел непроданный товар, бабы и нищие завопили:

— Сам ты троцкист! Морда бесстыжая! Креста на вас нет! Под суд пойдешь, участковый!

Мильтон плюнул, бросил Нину, выбрался из толпы деклассированного элемента. Бабы подняли Нину, увидели: и впрямь живая, протерли платком затекшее и рассеченное лицо, прикрывая от милиции, повели ее в глубь Никольской, где стояло наготове несколько карет «скорой помощи». Вдруг из одной кареты прыгнул доктор-блондин, рукастый, ногастый, ахнул, зашатался, чуть сам не сыграл.

— Нина! — кричит. — Нина!

Все сошлось. Разбой в Китай-городе и Савва Китайгородский с избитой принцессой на руках.

Внутри машины Савва уложил Нину на носилки, сделал ей укол морфина, протер лицо марлей, прижег йодом порезы и места содранной кожи, перебинтовал разбитую кисть руки. По дороге в Шереметевскую больницу Нина то отключалась, то вдруг выныривала, тихонько стонала, хоть боли и не чувствовала из-за морфина; ей хотелось, чтобы Савва приблизил к ней свое лицо.

Что за лицо в самом деле! Лицо такой тонкости и чистоты: ни усищ каких-нибудь, ни бородавок, просто чистое человеческое лицо, я таких лиц никогда не видела в своей жизни!

Она не понимала, что с ней происходит и куда ее везут, однако чувствовала уют, покой и себя предметом заботы, маленькой хныкалкой.

— Савва, Савва, это ты, не уходи, пожалуйста...

Савва, сам еле жив от счастья и нежности, при-

ткнулся рядом на полу трясучей кареты, держал ее руку, бормотал:

— Ниночка, потерпите еще немножко, сейчас все будет хорошо...

Вдруг она вспомнила гнусные морды красноармейцев, летящие в лицо приклады, дико вскрикнула, приподнялась на локте.

— А-а-а, что они сделали с нами! Охотнорядцы! Фашисты! Савва, Савва, революция уничтожена!

«Да черт с ней, с вашей проклятой тираншей-революцией», — думал Савва. — Единственное доброе дело, что она сделала, — это привела тебя ко мне!»

— Успокойтесь, Ниночка, — умолял он. — Ведь вы-то сами живы, не так ли? Ведь молодость-то ваша, ваша поэзия живы!

Она снова откинулась на носилках, наркотическая улыбка опять овладела ее лицом.

— Какое у тебя лицо, Савва, — шептала она. — Сравни два лица, твое и мое. Мое — рожа, а твое лицо с большой буквы. Ты можешь своим лицом поцеловать мою рожу? Поцелуй туда, где не разбито!

Он осторожно выискивал неразбитое место на ее лице чуть выше угла подбородка и прикоснулся к нему губами.

На трибунах для иностранных гостей возле Мавзолея творилось явное замешательство. Многие заметили, что нечто странное происходит среди правительства, куда-то исчезли Сталин и Рыков, Бухарин все время пугливо озирается. Через некоторое время Сталин занял свое место посередине, но он был явно не в себе, лицо почернело. Потом на другом конце огромной площади произошло какое-то завихрение, туда проскакал отряд кавалерии. На фасаде тяжеловесного здания напротив трибуны косо повис какой-то короткий лозунг, вокруг него явно шла борьба: одни люди пытались его стащить, другие отстаивали.

Рестон злился: его переводчица умудрилась где-то затеряться в самую ответственную минуту, а может быть, и нарочно скрылась, чтобы не переводить злобный лозунг. Он пытался что-то понять среди непостижимой кириллицы, и вдруг, как ни странно, кое-что удалось, он сообразил, что второе слово происходит от французского «Le termidor» и это имеет отношение к троцкистскому вызову в адрес правящего крыла партии. Значит, оппозиция и вправду выступила, а он тут торчит на дурацкой трибуне среди сборища красных олухов и теряет исторические минуты.

Он пошел вверх по проходу, пытаясь найти кого-нибудь из коллег, «журналистов империалистической прессы». Вокруг с некоторой уже заунывностью звучали «Бандьера роса» и «Ди Фане хох!», энтузиазм вытеснялся промозглостью и двусмысленностью ситуации. Вдруг лицом к лицу натолкнулся на знакомого господина в хорошем твидовом реглане.

— Ба, профессор Устрялов! Вот удача! Узнаете меня?

Устрялов приостановился явно без большой охоты. Конечно же, узнал немедленно, но делал вид, что припоминает, вот-вот, секунду, да, да... быстрый взгляд через плечо назад, ах, да...

— А-а, это вы... простите... ах, да, Рестон... Вы из Чикаго, кажется?

Рестон запанибратски, чтоб перестал валять дурака, крепко взял его под руку.

— Что тут происходит, Устрялов? Говорят, идет какая-то другая демонстрация?

— Я знаю, ей-ей, не больше вас. — Устрялов попытался высвободиться.

— Можете дать короткое интервью? Пять минут возле Мавзолея два года спустя. Неплохо, а? — продолжал давить Рестон.

Устрялов высвободил руку, глаза его все время отклонялись, как бы не очень-то и замечая американца, с которым он вел столь содержательную беседу два года назад.

— Простите, сейчас об этом не может быть и речи... Еще раз извините, я спешу...

Он побежал по деревянным ступеням вниз и даже на часы посмотрел: спешу, мол. Рестон, как истый «шакал пера», все-таки крикнул ему вслед «a provocative question»¹:

— Значит, ваша теория рушится, Устрялов?

Профессор чуточку споткнулся, пробежал еще несколько шагов, потом все-таки обернулся и крикнул, вызвав удивление делегации голландской компартии:

— Ничуть! Происходит дальнейшее укрепление российской государственности!

Рестон устало положил в карман перо и блокнот. Появилась Галина с двумя дурацкими воздушными шариками, на которых красовалась римская цифра X. Рестону в тот момент крайнего раздражения эти два X показались зловещей угрозой — «экс-экс»: «Больше я сюда не езду, хватит, есть много других тем, поеду в Испанию, там я хотя бы не завишу от переводчиков».

— Где здесь выход? — спросил он Галину. — Я устал.

— Товарищ Рестон! — обиженно воскликнула девушка.

— Какой я вам, к черту, товарищ, — буркнул он.

Троцкистский лозунг давно уже исчез с фасада ГУМа. Нескончаемое шествие трудящихся продолжало вливаться на Красную площадь. Рестон смотрел на выплывающие один за другим из-за Исторического музея портреты Сталина. Потом достал блокнот и написал в нем два слова: «Увертюра закончена». После этого немного повеселел: заголовок ему понравился.

Антракт третий. ГАЗЕТЫ.

За покупку жилплощади подлежат выселению из Москвы: трудовые элементы в один месяц, нетрудовые элементы в одну неделю.

«Религиозники» подлежат прохождению через специальную комиссию по уклонению от военной службы.

В театре им. Мейерхольда — «Рычи, Китай!», пьеса С. Третьякова.

В цирке Ник-Дьяволо — «Мертвая петля на велосипеде».

В кино — звезды экрана: Глория Свенсон, Джекки Куган, Ксения Десни, Чарли Чаплин.

Избирательного права лишены: кулаки, служители культа, бывшие царские чиновники, подозрительные лица свободных профессий.

Громилы проникли в магазин Михайлова и Лейн (Покровка, 20).

Т. Семашко вскрыл причину растущего хулиганства: наша молодежь росла в период самодержавия.

Исчез Николай Сергеевич Лорец, 29 лет.

Тихо скончался протоиерей, профессор богословия Н. И. Боголюбский.

Возвратился из отпуска член коллегии Наркоминдела т. Ротштейн.

¹ провокационный вопрос (англ.).

Всемирно известная паста «Хлородонт»! Хна-басма! Тройной одеколон! Кровати!

Отдел снабжения дивизии. Торги. Капуста и картошка пудами.

Разоблачено и обезврежено 49 латвийских шпионов.

Межрабпом — Русь. Картина собственного производства «Мать» (тема заимствована у Горького). В гл. ролях В. Барановская, Н. Баталов. Режиссер В. Пудовкин, оператор А. Головня.

Новое поражение Сун Чуан Фана.

Избиение фельетониста в Одессе.

«Сухая Америка», карикатура: из книги законов льется струя самогона.

Гвозди. Пробки. Пилы. Белье.

Тезисы тов. А. И. Рыкова к XIV партконференции «О хозяйственном положении страны и задачах партии».

50-летие смерти Михаила Бакунина. Зал МГУ переполнен. Ораторы: ректор МГУ А. Я. Вышинский, нарком просвещения А. В. Луначарский... «Мы не отрекаемся от своих предшественников!»

Академик П. П. Лазарев: «Гениальные исследования Лобачевского доказали существование новых видов пространств, отличных по своим свойствам от пространств, в которых мы живем...»

Поэма Л. Овалова «Стальной пропагандист». Посвящается Алексею Ивановичу Рыкову.

Михаил Кольцов. Искусство или Партия? Много вопросов возникает в Москве у рабфаковца с потертыми сзади, как зеркало, штанами. Вот его актив: 23 рубля стипендия, котлеты с гречневой кашей, вера во всемирную революцию, кипятилок в общежитии, три фунта сала от отчима, случайные билеты на что-то.

Вот его пассив: учебная нагрузка, партнагрузка, профнагрузка, авиахимнагрузка, мучительные слепящие витрины, неоплаченные членские взносы, ожоги мороза сквозь соглашательские сапоги.

Тов. Н. Поморский о Нью-Йорке:

...к нашему удивлению, Статуя Свободы оказалась пустой внутри... В центре Нью-Йорка ощущается исключительная газолиновая вонь... Нью-Йорк с его самыми высокими небоскребами (до 58 этажей!) поднимает в душе огромную злобу... Рабочая революция должна будет ликвидировать этот уродливый город...

«Союз рабочих и науки, слившихся воедино, раздавит в своих железных объятиях все препятствия на пути к прогрессу!». Лассаль.

«...Дух Ленина витает над сухими колонками цифр!». Л. Троцкий.

Михаил Кольцов. Не может быть и речи о возвращении нашей торговли на заезженные рельсы капитализма... государство не может допустить анархии рыночного оборота, «свободной игры цен»... ничего зазорного нет в том, что соответствующие органы призовут кое-кого к порядку...

Антракт четвертый. ПЛЯСКА ПСА.

Юный князь Андрей, ошибочно названный его нынешними родителями Пифагором, в своем обычном великолепном на строении бегал среди сосен, лаял на ворон, гонял белок. Вид у него издали был грозный: широкая грудь, черная шерсть вдоль длинной спины, мощные светло-серые лапы, большие, чутко стоящие вверх уши, пасть, наполненная дивным сверкающим оружием. Белки должны были до смерти бояться этой налетающей бури, мчаться прочь, взлетать по стволам сосен к самым верхним веткам, и они мчались и взлетали, но, кажется, не боялись. Следует признать, что они взлетали не к самым верхним, а к самым нижним ветвям и оттуда смотрели на князя Андрея. Иногда ему казалось, что они просто играют с ним, вот в чем дело.

«Что я буду делать, если догоню одну из них, — иногда думал он. — Зубами брать нельзя, может пострадать шкурка невинной твари. Что делать, — вздыхал он иной раз, сидя под сосной, — мой бег слишком быстр, по сути дела, догнать их мне ничего не стоит».

Однажды случилось так, что ему и догонять не пришлось. Стремительно несущаяся впереди белка вдруг остановилась и оглянулась на него взглядом той чухонки, что повстречалась в поле под Дерптом во время первого Ливонского похода. И как тогда он осадил коня, так и сейчас присел на задние лапы. Волна любовной жажды, радостной робости и молодого ликования окатила его. Белка смотрела на него без страха, как та девушка в холщовом платье смотрела на сверкающего русского витязя. Потом животное начало щелкнуло в ней, как пружина, и она мгновенно унеслась под недоступную макушку сосны.

Князь Андрей был уверен в том, что это была та девушка, так же, как и в том, что он, трехлетний немецкий овчар Пифагор Градов, когда-то прошел уже через эту землю в образе русского князя. Вот где-то она сейчас прыгает по веткам со своими товарками, совокупляется со своим самцом и иногда смотрит на него вниз своими псевдобессмысленными глазами. Вряд ли она понимает до конца, кем была тогда и когда это было, так же, впрочем, как и он не вполне отчетливо осознает понятия «князь», «Россия», «царь Иван»... Князь Андрей, разумеется, не знал своего имени, может быть, потому, что был опять чрезмерно молод. Он любил, когда старшие называли его ошибочно Пифагором, а еще больше — Пифочкой, что, казалось ему, вообще устраняло ошибку.

Он любил всю свою семью: мать Мэри, отца Бо и дядю Лё, вторую мать Агафью и второго дядю Слабопетуховского (всякий раз, как произносилось это имя, ему хотелось его со смехом повторить), старших братьев Никиту и Кирилла, сестру Веронику, принесшую в дом недавно неплохого щенка, Бориску IV, ну и, конечно, больше всего сестренку Нинку, которая, к сожалению, мало с ним играет.

Все, что напоминало ему о прежнем, пока что представало перед ним лишь яркими вспышками счастья: большие окоемые перед последним приступом на Казань или сверкающая масса воды, когда впервые с конной дружиной прорвался к Балтике, моменты утоления голода или жажды, встречи с женскими людьми, и этот жест задерживания полога шатра, взгляд друга, еще не ставшего извергом...

В том месте, когда вдруг выплывал взгляд друга или сам друг, «еще не ставший...», князь Андрей легонько рычал, тряс ушами, чтобы отогнать дальнейшее, и пускался вскачь вокруг сосен или вокруг мебели, снова весь в радостных бликах нынешнего и тогдашнего.

Однажды утром Савва, который хотел войти в семью князя Андрея, привез на машине Нинку и вынес ее из машины на руках, говоря, что ей нельзя оставаться в больнице. Мать страшно закричала: «Что случилось?!» Нину понесли наверх в ее комнату. Князю Андрею удалось проскользнуть впереди всех и распластаться под кроватью. Он наотрез отказался выходить оттуда и даже немного зарычал, когда вторая мать взяла было его за ошейник. Тогда отец сказал: «Оставьте его».

Мрак и пожарище вдруг возникли перед ним, поле после боя, тени мародеров, черные хлопья нежизни, взлетающие вороньем над невыносимым запахом злодеяния. Он чувствовал, что эти хлопья все гуще собираются над любимой сестрой, а стало быть, и над ним самим. Оттуда, из прежнего, надвигалась череда ужасного: горизонты закрылись, мир сужался в клетки, в застенки, в каменные колодцы, оттуда вытаскивали, но не для спасения, а на самую страшную муку, в застывшее лицо изверга, бывшего друга, царя Ивана.

Сколько времени прошло, князь Андрей не знал, да он и не задавался этим вопросом. Он старался не скулить, хотя только скулеж ему бы мог помочь сейчас. Вдруг Нинина рука упала с кровати и повисла прямо перед его носом. Он тронул ее, она была холодна даже для его вечно холодного, влажного носа. Он начал жарко ее лизать своим вечно жарким и длинным, будто поток вулканической лавы, языком. Вдруг рука поднялась и взяла его сразу за оба уха. «Пифочка, милый», — прошептал голос сестры.

Хлопья нежизни разлетались, будто вспугнутые крылатым всадником. Пес плясал под луной или под солнцем, что там было в тот миг в наличии. Казематы вдруг раскрылись, будто выдавленные мощным воздухом. Юность звала назад. День бегства летел к зеленым холмам Литвы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава восьмая.

СЕЛО ГОРЕЛОВО, КОЛХОЗ «ЛУЧ»

Ранней осенью 1930 года, однажды под вечер, строго по расписанию или почти строго — словом, к радости всех ожидающих, на Казанском вокзале Москвы началась посадка в пассажирский поезд Москва — Тамбов.

Советских людей тех времен при посадке в поезд неизбежно охватывала нервозность на грани паники. Исправно работающая транспортная система все еще казалась чудом, тем более что опять пошли крутые времена и за многими предметами ширпотреба, что при нэпе имелись в любой лавке, приходилось ездить в Москву. Тамбовские крестьянки, обвешанные поверх своих парадных плюшевых жакеток мешками и сумками, уже вступая под гигантские своды вокзала, призванного напоминать о XXI веке, но напоминающего только лишь совсем недавний «миriskуснический» модерн, готовились к бою за свой вагон и за свою полку. Старухи неслись сквозь толпу на перрон с исключительной скоростью, успевая покрикивать еще на своих товаров: «Давай, давай!.. Маша, не отставай!.. Чей ребенок, кто ребенка потерял?» Вслед им московский люд, представленный на вокзале не лучшей своей частью, а именно носильщиками, посылал отменнейшие напутствия. Дореволюционную благочинность на этом вокзале восстановить пока не удалось да, видно, никогда и не удастся. Стойбища татар и чувашей почти полностью покрывали кафельный пол. В туалетах шла посильная постирушка. В воздухе стоял неизбывный запах Казанского вокзала: смесь хлорки, мочи, размокшего урюка и отторгнутого винограда.

Братья Градовы не спешили. С уверенностью молодых мужчин, занимающих твердые позиции в обществе, они медленно шли по перрону, не обращая ни на кого внимания, занятые только друг другом. Никита лишь сегодня утром прибыл с семейством из Минска и, когда узнал, что младший брат отбывает в Тамбов, вызвался проводить. Кирилл не возражал.

За прошедшие два года он как-то смягчился в своем ригоризме и даже не возразил, когда брат вызвал машину из наркомата. Даже и черты его лица несколько смягчились, и теперь уже трудно было, несмотря на одежду мастерового, не опознать в нем молодого человека «из хорошей семьи». Впрочем, может быть, этому он был обязан новой детали своего облика — очкам в тонкой металлической оправе. Они немедленно выдавали его непролетарское происхождение.

Никита, как всегда, был в форме высшего командира РККА, все подогнано до последней складочки. Эта вот подогнанность и классный покров были тем, что немедленно отличало высших командиров от средних и младших. Вроде бы все то же самое — гимнастерки, ремни, галифе, сапоги, а между тем высшего

командира можно было издали распознать, и не вглядываясь в петлицы.

В последние годы братья виделись редко и еще реже общались, разве только за столом в Серебряном Бору. Ссоры, всякий раз возникавшие, как говорится, на пустом месте, но вспыхивавшие буйным пламенем, то из-за Кронштадта, то из-за привилегий командного состава, отдалили их друг от друга. Нынешние проводы на Казанском вокзале, разумеется, были попыткой преодолеть отчуждение, и во взглядах Никиты на Кирилла отчетливо читалось: «Ну, Кирка, перестань дуться», — а в ответных взглядах Кирилла на Никиту: «С чего ты взял, что я дуюсь?» — то есть опять восстанавливались их вечные дела: любовно-снисходительные со стороны Никиты и любовно-оборонительные от Кирилла.

Младший старшего обожал еще с тех времен, когда маменькин баловень Ника вдруг резко и бесповоротно ушел к красным, проскакал героем все фронты гражданской войны и сделал головокружительную военную карьеру. Никогда бы и самому себе Кирилл не признался, что именно этот выбор старшего брата толкнул и его в объятия «самого передового учения». Совсем дело не в этом, а в том, что у него и у самого достало ума понять, в каком направлении идет корабль истории. И разве страннейшая эволюция Никиты, эта нынешняя как бы пестуемая им безыдейность, не доказывает полной самостоятельности Кирилла?

Посадка на тамбовский поезд стала уже напоминать штурм Зимнего дворца. Спасаясь от проносящихся мешков и чемоданов, Никита и Кирилл остановились покурить возле фонаря. Как раз в этот момент фонари зажглись по всей станции. В конце перрона на стене вокзала высветились большой портрет Сталина и лозунг «Да здравствует сталинская пятилетка!». Никита вынул коробку дорогих папирос «Северная Пальмира». Кирилл, однако, уклонился, предпочел свой копеечный «Норд».

— Все-таки чем ты там будешь заниматься, на Тамбовщине? — спросил Никита.

Кирилл ответил не сразу, как бы поглощенный раскуриванием своего тугого «гвоздика», потом пробормотал:

— Там налаживается сеть идеологического просвещения...

— Как раз то, что больше всего нужно мужикам, правда? — усмехнулся Никита.

Кирилл не ответил на иронию: ему не хотелось, чтобы разговор опять соскальзывал к серьезным, если не мрачным темам, чтобы опять сталкивались его высокая партийная идейность и нарочитый цинизм военспецов.

— А куда именно на Тамбовщину ты направляешься? — с какой-то особой ноткой в голосе спросил Никита.

— В Горелово и в несколько новых колхозов Гореловского уезда, то есть района, — сказал Кирилл и уже хотел перевести разговор на семейные темы, но тут Никита усмехнулся.

— Новые колхозы в Гореловском уезде! — Он положил руку брату на плечо. — Поосторожней, Кирка, там, в Горелове.

— Что ты имеешь в виду?

— В двадцать первом году все гореловские мужики ушли в антоновскую армию. Нам пришлось брать это село штурмом дважды за один месяц.

— Ну, ты опять за свое! — воскликнул Кирилл с сильной и искренней досадой.

Никита снова усмехнулся, но теперь уже как бы в свой собственный адрес, он явно был смущен.

— Да, братишка, я все еще думаю об этих кошмарах. Как получилось, что мы, армия восставших, так быстро стали армией карателей?

Кирилл уже опять готов был воспламениться: нежность к брату боролась в нем с обидой за свою партию.

— Эх, Ника, десять лет почти прошло, коллективизация идет полным ходом, а ты все думаешь о кронштадтских анархистах и антоновских бандитах!

— Странная наивность, — мрачно произнес старший брат. — Сейчас, мне кажется, самое время об этом вспомнить. Неужели ты думаешь, что народ в восторге от того, что нэп вдруг с бухты-барахты отменили, землю забрали и начали коллективизацию? Разве это не чистой воды троцкизм, черт побери?!

— Наивность?! — вскричал Кирилл. — Скажи, братишка, красный командир, ты прочел за свою жизнь хоть одну книгу Маркса?!

— Еще чего! — вскричал в ответ Никита на той же пламенно-полемической ноте. — Конечно, не прочел и читать не буду, и, надеюсь, моим глазам еще долго не понадобится такой велосипед! — Указательным пальцем он прижал к переносице Кирилла его предательские очки.

Кирилл сначала оторопел, потом расхохотался. Он был благодарен брату, что тот неожиданно «заюморил» проклятую тему. Никита тоже смеялся, довольный.

— Что слышно о Нинке? — спросил он спустя минуту.

Кирилл пожал плечами.

— Последняя новость — это ее поэма в «Красной нови». Модернистская чепуха. Она защитила там, в Тифлисе, свой диплом еще два месяца назад, но почему-то не спешит возвращаться. Мать не понимает, в чем дело, а я уверен, что какая-нибудь очередная дурацкая влюбленность.

— Ну, а ты? — улыбнулся Никита.

— Что я? — недоуменно спросил Кирилл.

— Не влюблен еще?

Кирилл опять надулся.

— Я? Влюблен? Что за чушь?

Никита, смеясь, обнял брата за плечи.

— Только после коллективизации, да? После индустриализации, верно? По завершении пятилетки, Кирюха?

Почти одновременно прозвучали свисток паровоза, удар колокола и истошный крик проводника: «Граждане отъезжающие, граждане провожающие, поезд отправляется!» Граждане бросились кто в вагон, кто из вагона, произошла последняя сшибка. Кирилл ввинтился в толпу.

Минут десять еще после этого аврала поезд не трогался с места. Кирилл стоял, притиснутый к мутному окну, зажатый с трех сторон крестьянскими мешками, фанерными чемоданами на висячих замках, корзинами с приобретенной в столице бакалеей — остро пахнущая кубатура хозмыла, трехлитровые, то есть «четвертные», бутылки растительного масла, вздымающиеся из синей упаковки головы рафинада.

Не имея возможности особенно-то шевелить руками, Кирилл мимическими мышцами и подбородком подавал брату соответствующие сигналы: иди, мол, чего стоять, — но брат не уходил, все стоял и улыбался, стройной своей фигурой и гордой осанкой, не говоря уже о форме, резко выделяясь среди убогой толпы пятилетки.

«Какая уж тут безыдейность, какой там «усвоенный военными кругами» цинизм, — подумал Кирилл, — он просто такой же офицер, каким бы был в Англии, или во Франции, или... ну, естественно, в царской армии, в белой русской армии. Как я мог этого раньше не видеть? Несмотря на все свои регалии, Никита — попросту русский офицер...»

Поезд наконец тронулся, уплыли Никита, перрон; вокзал с его Сталиным, лозунгом и шпилем растворился в темноте.

По прошествии не менее шестнадцати, а может, и скорее всего двадцати часов поезд остановился на полустанке, где была одна лишь будка стрелочника да в сотне метров от нее жалкая хибара того же стрелочника. Измученный путешествием, Кирилл выпрыгнул, если не вывалился со своим баулом из вагона. С блаженством вдохнул холодный осенний воздух пустых российских пространств, снял шапку, подставил лицо ветру. Поезд тут же тронулся дальше, к областному центру — Тамбову, городу, что некогда славился балами в Дворянском собрании. Из пространства, то есть с пологих холмов с брошенными на них темными шнурками перелесков, выделился юный, не старше двадцати лет крестьянский парень с красной звездочкой на фуражке. Приложил руку к козырьку.

— Товарищ Градов? Здравсте! Лично я, Птахин Петр Никанорыч, секретарь комсомольской ячейки в Горелове. Поручено вас транспортировать.

Как и все «выдвиженцы», Петя Птахин любил новые иностранные слова. Неудивительно, вся российская идеология нынче была нафарширована чесночком иностранщины. «Пролетариат экспроприирует экспроприаторов», — думали, и не выговорит Петя Птахин никогда, оказалось — прекрасно выговаривает.

На полпути между полустанком и хибарой стрелочника у колодезного сруба был привязан транспорт — кляча, впряженная в телегу. Для удобства езды в телегу щедро было брошено соломы.

— Далеко ли ехать до Горелова? — спросил Кирилл.

Странное чувство вдруг взяло его в тиски. Глядя на простецкую ряжку Птахина, на подводу, на голые поля с беглым промельком какой-то черной птицы, он словно преисполнился родством к этой юдоли, будто бы в ней был и его собственный исток, но тут же что-то другое, томящее подключалось, похожее на безысходный укор и стыд от невозможности одолеть эту юдоль, хотя бы уж и потому, что она есть место его какой-то невероятно далекой любви, без нее вроде бы и немыслимо.

Петя Птахин весело отвязывал лошадь.

— Ехать, товарищ Градов, всего ничего, часа три с гаком будет, так что я вам охотно от-рапор-тую о нашей коллективизации. У нас а-а-громadneye достижения, товарищ Градов!

Сумерки сгущались всю дорогу, и в село въехали почти в полной темноте. Все же видны еще были крестьянские домишки по краям ухабистой дороги. Кое-где тлели лампадки, свечечки, как вдруг среди этих жалких источников освещения явился один мощный и жаркий — раскаленное до прозрачности пепелище, розовый дым, еще живые и пляшущие вдоль рухнувших стропил язычки огня. Мрачнейшая тревога охватила Кирилла. «Вот оно и Горелово... — пробормотал он. — Горелово-Неелово, Неурожайка тож...»

Петя Птахин с исключительным интересом смотрел на пожарище, оживленно комментировал:

— А это, товарищ Градов, нонче в обед Федька Сапунов, кулацкая шкура, весь хутор свой поджег, ба-а-льшее хозяйство, чтоб в колхоз не иттить. Всю родню свою и весь скот порешил и сам к своему боженьке отправился, а только к чертям на сковородку попадет, антоновец проклятый!

Пожарище у Сапуновых, очевидно, было главным событием села. Несколько фигур еще маячили в зареве, слышались бабьи причитания. Птахин остановил лошадь неподалеку и смотрел на тлеющие бревна и пробегающие то здесь, то там змейки огня, бормоча почти бессмысленно: «Ба-а-льшее хозяйство, ба-а-льшее хозяйство».

По тому, как дрожали его губы и как он шапкой

вытирал лоб, Кирилл понял, что с крушением Сапуновых уходит и прошлая жизнь этого захудалого комсомольца.

Глава девятая МЕШКИ С КИСЛОРОДОМ

Из разрушающейся среднерусской хлебной цивилизации мы совершаем сейчас скачок в цивилизацию средиземноморскую, оливковую, сливовую, виноградную, все еще с упорством — «достойным лучшего применения», как бы сказали в Институте красной профессуры, — сопротивляющуюся неумолимо наступающим строго пайковым временам.

Вот возьмите горбатые улочки старого Тифлиса. Здесь и в голову бы вам не пришло, что на дворе первая пятилетка. Как сто лет назад, как и двести лет назад, так и сейчас мирно цокают подковы извозчицких пролеток. С затененных балконов и галерей перекликаются хозяйки. Сказать «гортанно перекликаются» — значит заплатить дань шаблону, но у них, грузин, и в самом деле в гортани рождается звук, а не в акустически глухом пузе, и оттуда, из гортани, звук бурно бьет вверх, будто струя фонтана, и всегда встречает серебряную горошину в своем полете, то препятствие, преодолеть которое с удовольствием помогает характерный жест руки. Так же, как и встарь, ранней осенью перевешивается через заборы густая листва, и в ней висят налитые груши и персики. Точно так же, как и раньше, то есть «до катастрофы», то есть до счастливого присоединения к большевистской России (по выражению некоторых несознательных фармацевтов), два матовых шара украшают вход в аптеку на маленькой площади, а за большим окном заведения, как всегда, замечается дядя Галактион Гудиашвили, облаченный в белый накрахмаленный халат и внимательно беседующий со своими клиентами, в основном грузинскими женщинами в темных накидках. Вот, правда, вывеска «Аптека Гудиашвили» над входом небрежно замазана (чего же вы еще ждете от новой власти, если не грубости и небрежности), однако прекрасно различается. Во всяком случае, именно ее люди имеют в виду, а не косо подвешенную фанерку с надписью «Аптека № 18 Госздраваптупра». Новые чудища советских слов — Воркутлес, Грузпишмаш, Осоавиахим.

— Остановись у аптеки Гудиашвили, дорогой!

— Слушаюсь, батоно!

Извозчик выполнил приказание. Седок, Ладос Кахабидзе, плотный мужчина за пятьдесят, в кавказской блузе, подпоясанный наборным ремешком, с наслаждением огляделся по сторонам. Несколько лет, выполняя ответственное задание партии, он провел на Севере и вот сейчас вернулся и с удовольствием оглядывается. «В Тифлисе мало что изменилось», — думал он и тут же гасил следующую мысль, которая могла бы выглядеть так: «Здесь мы не все еще разрушили», — если бы он ее вовремя не пригасил и не подумал бы вторично с удовольствием: «В Тифлисе мало что изменилось». И тут же, конечно, опять пригасил неизбежно возникающую вторую мысль.

С легкостью, удивительной для его возраста, Кахабидзе выпрыгнул из коляски и вошел в аптеку. Извозчик — как и все тифлисские извозчики, он не страдал отсутствием любопытства — успел заметить через окно, что прибытие важного начальственного пассажира радостно изумило и восхитило дядю Галактиона. Отбросив вверх прилавок, так что клиентура даже немножко испугалась, он выбежал навстречу с распростертыми руками. Клиентура просияла.

Прибытие Кахабидзе, между прочим, внимательно наблюдалось со второго этажа аптечного здания. Там, в личной квартире аптекаря, а именно в большой,

затемненной шторами комнате с зеркалами и портретами предков, то есть в гостиной, или, как говорят на Кавказе, в «салоне», стоял племянник Галактиона Нугзар, некогда поражавший гостей профессора Градова огневой лезгинкой. Сделав себе в шторах узкую щелку, он наблюдал приезд большого партийца, а затем, приотворив дверь на лестницу, прислушивался к приветственным возгласам внизу. Затем в глубине дома возник другой звук — стук каблучков по паркету, и в «салон» вошла Нина Градова. Синяки и порезы, с которыми мы оставили ее три года назад, не сохранили следов на ее лице. Несмотря на огромные исторические события, свершившиеся за это время, ей сейчас было всего 23 года. Впрочем, нынешняя цветущая красавица уже лишь отдаленно напоминала заводную синеглазую из наших первых глав. Не замечая Нугзара, Нина подошла к зеркалу, поправила волосы и бретельки декольтированного платья. Нугзар кашлянул, обнаружился. Она еле удостоила его взглядом: видно, привычный, может быть, даже назойливый человек в доме.

— Привет, Нина! — сказал он. — Слушай, да ты просто, клянусь Кавказом, неотразима в этом платье! Куда вы собираетесь сегодня, мадмуазель? Ой, пардон, пардон, мадам!

— Паоло празднует свою новую книжку, — сказала Нина. — Все поэты собираются на фуникулере.

Нугзар цокнул языком.

— Паоло Яшвили! С такими людьми дружишь, девушка! Сплошные литературные знаменитости!

Он подошел к ней сзади и остановился за спиной, отражаясь в зеркале.

— Мы неплохо с тобой глядимся, а, Нина?

Она повернулась к нему с некоторым раздражением.

— Я ведь и сама поэт, ты не забыл?

— Для меня ты только женщина, из-за которой я засохну до смерти, — заметил Нугзар с некоторой мрачностью. Нина расхохоталась с некоторой веселостью.

— Ну и фрукт! Ты просто неисправимый бабник, Нугзар!

Все их отношения держались на *некоторой некоторости*, как бы все не серьезно, и можно ли иначе относиться к его постоянным и как бы уже слегка оскорбительным домогательствам. Не устраивать же серьезный скандал! Красивый, избалованный бабами мальчишка, вот и дурит.

— Я бабник?! — как бы возмутился Нугзар. — Да ты посмотри на меня! Я весь измучился из-за того, что ты мне не даешь!

— Назойливый мальчишка! — вскричала Нина. — Ты, кажется, забыл, что мы близкие родственники?!

Взаимное то ли театральное, то ли подлинное возмущение нарастало.

— Ха-ха-ха! — саркастически расхохотался Нугзар. — И это говорит одна из самых свободомыслящих женщин XX века! А где же «теория стакана воды»? А где же наш идол Александра Коллонтай и ее «любовь пчел трудовых»? Почему для Паоло есть стакан воды, а для Нугзара нет стакана воды? Почему для Тициана есть мед, а для Нугзара нет ни капли? Родственники! Ты мне еще скажи, что ты замужем!

— Да, я замужем, балбес и плут. Кто тебе наплел про Паоло и Тициана?

— Твой муж ни на что не годен, он не мужчина! — вскричал Нугзар.

Неожиданно дело пошло всерьез. Он бросился на нее и начал целовать плечи и шею. Взмешенная Нина вырвалась и схватила увесистый канделябр. Нугзар, тяжело дыша, ушел в дальний угол комнаты и вдруг резко там обернулся, будто замахнулся саблей.

— А я знаю настоящую причину, почему ты переве-

лась в Тифлисский университет! Родители заставили, когда стали выплывать твои странные делишки с троцкистской оппозицией!

— Подонок! — крикнула ему в ответ Нина. — Где ты набираешься грязных сплетен?!

Нугзар уже спохватился, что наговорил лишнего. Заулыбался, «сабля» в его руке превратилась в сладкий персик.

— Да я просто шучу, Нина, не обращай внимания. Просто глупая шутка, извини. Ну, ты знаешь, вокруг красивой женщины всегда болтовня, шутки, ну... Я ведь просто ваш паж, ваше величество. «Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж...» Видишь, русская поэзия и грузинским юношам не чужда.

Нина уже направлялась к выходу, но он все как-то перед ней крутился, играя пажа и препятствуя уходу.

— Перестань паясничать и дай мне пройти!

Нугзар, танцуя вокруг на пуантах, как бы оведал ее опухолью.

— А можно я вас отвезу на пир Паоло, ваше величество? Вообразите, вы прибываете на гору Давида в настоящем американском «паккарде» с тремя серебряными горнами! У моего друга есть такой, он одолжит его для вас.

И снова она не выдержала серьезной мины, рассмеялась.

— Подите на конюшню, паж, и скажите, чтоб вам задали плетей! — Быстро обогнула танцующего Нугзара и выбежала.

Она забежала в аптеку, чтобы попрощаться с Галактионом, и увидела его обнимающим какого-то не менее солидного, чем он сам, джентльмена.

— Нина, ты глазам своим не поверишь! — закричал Галактион. — Посмотри, кто приехал, кто вернулся! Это же он, доблестный Кахабидзе! На правах родства ты можешь его называть дядя Ладо!

Нина тут же переключилась на другую оперу — «встреча доблестного Кахабидзе».

Жизнь в Тифлисе ей вообще казалась чередованием оперных тем.

— Дядя Ладо! С приездом, дорогой! С возвращением, генацвале! — закричала она и только тогда уже выкатилась на улицу.

Вслед за ней мягко впрыгнул в аптеку Нугзар. Сразу с порога, не дожидаясь представлений, открыл объятия.

— Глазам своим не верю! Дядя Ладо Кахабидзе собственной персоной! Легендарный комиссар! Как узнал, спрашиваете? Да я о вас в газете читал, да я в сотне домов видел ваш портрет!

Нина на углу кликнула извозчика. Нугзар, выйдя из аптеки, быстрой пружинистой походкой стал спускаться к центру с его большими, «французскими», как нередко говорили в городе, отелями.

Между тем в аптеке Галактион и Владимир все еще не могли налюбоваться друг другом, хлопали друг друга по плечам, заглядывали в лица, похихивали.

— Галактион, разбуди меня! Неужели это действительно ты?

— Ладо, ты здесь, у меня, в моей старой аптеке?! Не надо, не буди меня, пусть сон продолжается!

Кахабидзе обходил аптеку, притрагивался к знакомым с детства (когда-то ведь и отец Галактиона, Захария, владел заведением) вращающимся шкафом с их рядами маленьких ящичков, на каждом рисунок определенной травы, к серебряной кассовой машине «Националь», к покрытым стеклом прилавкам; все вещи добротные, старой российско-немецкой работы.

— Все здесь так, как было, — с удовольствием произнес он и вздохнул. — За исключением лишь того, что ты больше не хозяин, а наш простой советский директор, дорогой Галактион.

Гудиашвили покачал указательным пальцем.

— Ошибаешься, дорогой Ладо, я не директор, а замдиректора. Директором у нас партийный товарищ Бульбенко. Его сюда перебросили из железнодорожного депо, где он тоже был директором. Большой опыт в руководстве замдиректорами.

Кахабидзе смеялся. Он явно наслаждался разговором и остроумием своего школьного друга и родственника, знаменитого аптекаря Гудиашвили.

— Счастливцев этот Бульбенко. Вах, если бы у меня на Урале был хотя бы один такой зам, как ты, Галактион! Однако в общем и целом дела идут неплохо, правда?

Галактион вздохнул.

— Так себе. Знаешь, Ладо, я никогда не думал, что в моей аптеке будет не хватать белладонны, ипекакуаны, кальциум хлоратум... Увы, сейчас я иногда только развожу руками: перебои, перебои...

Ладо Кахабидзе притворно нахмурился.

— Нехватка белладонны? Недопоставка ипекакуаны? Да ведь это же позор для нашей социалистической фармакологии! Обещаю тебе, я займусь этим! Увидишь, дорогой Дон Базилио, к концу пятилетки наши трудящиеся массы будут наслаждаться избытком белладонны, изобилием ипекакуаны!

Галактион подержался за живот, похихотал.

— Хочешь честно, Ладо? Ты единственный коммунист Большая Шишка, который мне когда-либо нравился. Сегодня пируем в твою честь!

Они уже собрались было покинуть заведение, чтобы как следует подготовиться к пиру, когда в аптеку вбежала пожилая женщина. Она задыхалась, простирая руки, рыдала и взывала о помощи:

— Спасайте, добрые люди, благородный Галактион, спасай!

— Что случилось, уважаемая Манан? — бросился к ней фармацевт. Он тут же забыл обо всем на свете, включая и своего гостя.

«Великий человек, — подумал Кахабидзе. — Никого не знаю, кто так охотно бросился бы на помощь. В партии у нас, во всяком случае, таких нет».

— Вай-вай-вай, — причитала Манан, — мой муж, мой верный Авессалом умирает! Вай, наверное, уже умер, пока я бежала к тебе, благородный Галактион, наша единственная надежда в эти тяжелые времена, наш гений. Боже, благослови тебя, и всех твоих предков, и всех твоих потомков, и всех твоих родственников навеки!

Галактион с прытью, удивительной для его величественной стати, бросился в кладовку, вытащил две кислородные подушки и устремился к выходу. Ладо Кахабидзе последовал за ним. Спohватившись, и Манан побежала.

Вся горбатая улочка, по которой они бежали вверх, и прилегающие переулки принимали участие в событии. Люди свесились из окон и с балконов, глядя, как бегут два солидных человека. Две пузатые кислородные подушки делали их похожими на воров, но люди знали, в чем дело, да и Манан вносила ясность в ситуацию, продолжая на бегу возносить хвалу «всему роду Гудиашвили, и аптекарям, и художникам» и причитать о своем «незабвенном Авессаломе».

И Галактион на бегу пояснял другу:

— Ни у кого в городе нет кислородных подушек, кроме Гудиашвили! У всех постоянно временные трудности с камфорой монобромата, кроме Гудиашвили!

Из окон и с балконов вслед им неслось:

— Боже, благослови благородного Галактиона, нашего аптекаря! Боже, благослови его кислородные подушки!

«Даже и Ленину такое не снилось», — думал, задыхаясь, Ладо Кахабидзе.

Когда подбежали наконец к цели, увидели перед

домом толстяка Авессалома. Сидя под ветвями инжира, он спокойно играл с соседом в «нарды». При появлении запыхавшихся Галактиона и Ладо в сопровождении причитающей Манан толстяк вскочил на ноги, даже подпрыгнул, начал бить себя в грудь.

— Простите, что не умер! — кричал он. — Простите великодушно! Галактион, дорогой, сама мысль о твоих кислородных подушках спасла меня! Боже, кого я вижу вместе с нашим чудо-аптекарем! Ильей-пророком клянусь, никогда не было в моем доме более славных гостей! Гагемарджос, Ладо-батано! Мы все рады, что ты вернулся! С возвращением в вечный дом нашей Картли! Манан, мы не выпустим этих господ, пока они не преломят наш хлеб! К столу, господа!

Как мы видим, не только Галактион отличался умением произносить ренессансные монологи в этой округе. Манан дважды просить не пришлось. Она тут же поспешила к большому столу, что уже лет сто стоял в этом дворе под чинарой. Многочисленные соседки уже бежали к ней на помощь, каждая несла всяческие кушанья. Стол быстро покрывался горами фруктов и овощей, чашками с лобио, копчеными цыпленками, сыром, приправами, глиняными кувшинами с домашним вином. Появлялись соседи — пекари, парикмахеры, почтальоны... «Хороший знак, — думал Кахабидзе, — первый вечер в Тифлисе, и я с народом, и, кажется, меня изберут даже тамадой!»

Так и получилось, его избрали почетным тамадой. Он встал, держа в руке рог с вином.

— Дорогие друзья, несколько лет я отдал социалистическому строительству на Урале. Холодными, вьюжными ночами я мечтал о своей щедрой родине. И вот теперь партия послала меня обратно, на ответственный пост в родной республике. Я пью за нашу Картли, за республику, в которой не будет воровства, взяточничества, где будет процветать ленинский, подлинно ленинский стиль работы, товарищи!..

— Стиль работы, — важно закивали пекари и почтмейстеры.

— Стиль работы? — поднял удивленные брови парикмахер.

«Ну, как к ним занесло такого человека, как мой Ладо», — про себя вздохнул Галактион.

— Пусть будет Грузия настоящей витриной социализма в нашем великом СССР! — завершил свой спич Кахабидзе.

С приветственными кликами пекари, парикмахеры и почтальоны подняли свои роги и осушили их. Не без легкого саркастического смеха осушил рог и Галактион.

— Пью за изобилие белладонны, за избыток ипекакуаны! — сказал он.

— За ваши кислородные подушки, дорогой! — прошептал Авессалом.

Есть несколько перекрестков в Тифлисе, где кажется, что ты в Париже. С одной стороны мы видим, скажем, фасады домов в стиле «конца века» или «арт-декор», с другой — витую решетку чугунного литья, ограду парка.

Ночь, пустота. Стоящий возле решетки парка, будто так и нужно, большой черный автомобиль с тремя серебряными горнами на крыле только усиливает это миражное ощущение. Да и пассажир, которого можно случайно увидеть через опущенное стекло, тоже не очень-то смахивает на труженика пятилетки: молодой еще, лысоватый, очень холеный, со странным взглядом, поблескивающим через пенсне на мясистом носу. «Как капиталист какой-то, — подумает случайный прохожий и тут же тихонько вскрикнет: — Да ведь это же Лаврентий Берия, всесильный чекист!» — и сразу парижский мираж рассеется.

Из боковой улочки стремительным шагом вышел Нугзар и тут же направился к «паккарду». Берия из окна протянул ему руку ладонью кверху. Нугзар, подойдя, хлопнул по ней своей ладонью, пригнулся и шепнул прямо в нос старшему другу:

— Он приехал, Лаврентий. Я видел его сам и обнимал в доме дяди.

— Садись, поехали, — сказал Берия.

Нугзар нырнул в машину. «Паккард» рывкнул мотором, тронулся с места. Нищий «кинто» на углу в страхе перекрестился.

На склоне горы царя Давида лицом к городу стоит большой белый особняк. Окрестные жители уже забыли, что до революции он принадлежал чае- и кофеторговцу Лионозову, знают только, что к этому дому нельзя приближаться. Туда и направлялся «паккард».

Официально особняк был в ведении Совнаркома и проходил по разряду «гостевых», на самом деле здесь безраздельно хозяйничало ГПУ.

Когда подъехали, несколько черных автомобилей стояло у крыльца. Чекисты в штатской одежде несли охрану под окнами и вдоль стены. Их смуглый вид приносил что-то итальянское — то ли мафия собралась, то ли «чернорубашечники» на заре фашизма.

Здесь уже Нугзар не мог держаться на равных с Лаврентием Павловичем, потому он и шел к крыльцу, приотстав, не как младший друг, а как помощник.

Старший охранник вытянулся перед Берией. Тот приложил ладонь к виску.

— Здравствуйте, товарищи! Все в порядке?

— Все в порядке, товарищ Берия!

Внутри сходство с сицилийской мафией еще усилилось. Около дюжины дородных сумрачных мужчин, кто в полувоенном, кто в тяжелых костюмах-тройках, рассаживались вокруг стола. У некоторых на лацканах пиджаков были депутатские «вчиковские» значки, что свидетельствовало о принадлежности к партийной элите и отнюдь не уменьшало итальянских реминисценций.

Молчаливые охранники расставили на столе вино и закуски. Потом все охранники вышли. Участники встречи подняли бокалы: «За нашу дружбу!» Сдержанные, известные в советской литературе как «скупые», улыбки прошли по лицам. Берия начал:

— Мы тут собрались, товарищи, поговорить о Ладо Кахабидзе, который только что вернулся в Грузию, чтобы стать председателем центральной контрольной комиссии. Что он, действительно хороший человек или только притворяется? Нестор, Серго, Арчил, вы знали Ладо с 1905 года, уверены вы, что он наш друг, что он хороший товарищ? Вахтанг, Гиви, Вано, Мурман, Резо, Борис, Захар, ты тоже, Нугзар, не стесняйся, дорогой, давайте поговорим по-партийному!

Несмотря на ободрение друга, Нугзар старался держаться в этой компании, как и подобает самому младшему: скромно и старательно внимал каждому слову, и каждый участник совещания — или, так скажем, «сходки» — мог прочесть на его лице эту скромность и старательность. Несколько минут вокруг стола царил молчок. Партийцы посматривали друг на друга. Наконец, Нестор, человек одного возраста с обсуждаемым Кахабидзе, высказался:

— Он мне никогда не нравился, этот Ладо.

Тут же заговорил еще один ветеран, Серго:

— Много о себе думает товарищ Кахабидзе. Только он, понимаешь, один чистый ленинец. Остальные все с душком.

Арчил, набывчившись, сильно бил пальцами по столу. Все уже понимали, что он сейчас скажет. Так и оказалось.

— Перед революцией он был от нашей партии в межпартийной контрразведке, а во главе кто стоял — Бурцев, эсер, сбежал за границу. Теперь Ладо всегда ходит с таким видом, будто у него на всех материал по связям с охранкой.

Берия, пенсне вперед, тут же как бы поднырнул Арчилу под руку.

— Включая?..

— Страшно сказать, кого включая, — ответил Арчил, не глядя на него. — Всех подозревает в предательстве «ленинских идеалов». Никакого уважения к вождям. Теперь говорит, что даст бой коррупции в Грузии, как будто здесь капиталисты.

Минуту или две в мрачном молчании все переваривали сногшибательную информацию. Потом молодой Ваню обратился к Берии:

— Это правда, что он называет товарища Сталина Кобой?

Берия мило улыбнулся.

— Многие старые товарищи называли товарища Сталина Кобой. Партийная кличка, подполье, ничего не поделаешь. — Тут он посуровел: — Однако сейчас по меньшей мере неуместно называть Кобой вождя народов СССР!

— Послушай, Лаврентий, зачем его назначили к нам председателем ЦКК? Я считаю... — горячо начал было Вахтанг, но Берия остановил его мягким движением руки.

— Одну минуточку, Вахтанг. А разве уместно, товарищи, везде, как это делает Ладо, после первой же рюмки болтать, что у товарища Сталина шесть пальцев на ступне одной ноги, что видел это собственными глазами?

Снова воцарилось молчание, но на этот раз не застойное, не выжидательное, как раньше, а своего рода «оживленное молчание», с некоторыми искорками в глазах, с улыбочками, с комическим «о-о-о, вот, мол, чем испугали». Даже проскользнул проказливый смешок.

— Зачем из этого делать историю? — сказал затем Серго. — Если у тебя пять, а не шесть, никто из этого не делает истории...

Нестор пощипал усики, развел руками.

— В самом деле, что особенного — пять, шесть?

— Дело не в этом! — резко сказал Ваню.

— Вот именно, Ваню, дело не в этом! — с энтузиазмом поддержал его Берия.

Придвинулся Резо, резанул правду-матку:

— Товарищ Сталин просто не знает, что Ладо Кахабидзе издевается над ним, делает грязные намеки на прошлое, развязно судит о теле вождя, иначе Москва не назначила бы его на такой важный пост к нам!

— Ара, товарищи! — воскликнул Берия. Он положил руку на плечо Резо, как бы подчеркивая, что близкие друзья могут иногда прерывать друг друга, второй рукой сжал запястье Нугзара и опять весь как бы поплыл вперед, поблескивая очками. Наступал ключевой момент «хорошего разговора».

— А может быть, товарищ Сталин как раз прекрасно знает о взглядах Ладо? — почти шептал он. — И в этом как раз причина его назначения? Может быть, товарищ Сталин питает доверие к своим верным товарищам в нашей республике и знает, что мы его не подведем?

И снова воцарилось молчание, на этот раз самое главное. Каждый смотрел на всех, все смотрели на каждого. Потом все одновременно расплылись в улыбках. Был провозглашен тост: «За верность!»

Между тем, пока на склоне горы царя Давида шло совещание верных людей партии, на вершине ее шел поэтический пир. Терраса ресторана, расположенного в конце канатной дороги, была словно бы подвешена в ночном небе. Внизу — Божеское творение, долина

Куры. Полная луна освещает теснящиеся крыши Тифлиса, Метехский замок, изгибы реки. Поди придумай более поэтический пейзаж! Так размышлял старик шарманщик, стоявший со своей машиной в углу террасы, прямо над самой красотой. «Ходишь-ходишь по этому древнему миру, счета нет твоим годам, сам превращаешься в Вечного Жида, а все восхищаешься простым штучкам луны». Он накручивал ручку машины, исторгая из нее почти неразличимые звуки кавказской музыки. С его плеч слетали два попугая и разносили среди гостей розовые билетки предсказаний «на счастье и удачу». Компания работала.

Поэты, не менее тридцати человек, сидели за большим столом. Кажется, весь гонорар за новую книгу Паоло Яшвили будет прокучен в эту же ночь. Нина сидела между виновником торжества и тамадой, другим знаменитым поэтом — Тицианом Табидзе. Тосты поднимались непрерывно, один витиеватее другого.

— ...А также за тот ветер, который надувал парус «Арго», а сейчас переворачивает страницы твоей книги, дорогой Паоло! Алаверды к тебе, Тициан-батона!

Тициан Табидзе давно уже стоял с бокалом в руке. Как тамада, он должен был давать понять слишком многословным ораторам, что вино не ждет.

— Я принимаю тост за ветер! — сказал он. — И Паоло, конечно, выпьет со мной за тот вечный ветер, что принес к нам сюда одну особу! Ту особу, что вдохновляла грузинскую поэзию последние два года. Братья-поэты, поднимем бокалы за Прекрасную Даму Тифлиса! За Нашу Девушку! Этот титул всегда останется за ней, сколько бы лет ни прошло, где бы она ни оказалась, в Москве ли, в Париже ли, на Марсе ли! За Нину Градову!

Вскочил Паоло, поднял рог над головой. На плечо Нины, сияющей и смущенной, как раз в подходящий момент сел попугай. В клюве у него был розовый билетик. Она развернула билетик и прочла вслух:

**Тот человек, что вам дороже,
Сейчас придет и вам поможет!**

Весь стол расхохотался, все, конечно, стали кричать, что этот человек уже пришел, что он, конечно, такой девушке поможет... Нина смеялась вместе со всеми. Она была довольна, что попугай вдруг так удачно снизил застольные высокопарности, в которых у грузин нет ни потолка, ни предела. Поэты же, хоть и смеялись — чувством юмора никто тут обделен не был, — а все-таки слегка досадовали, что сорвано такое велеречие. Поэтому, как только смех чуть-чуть утих, Паоло Яшвили не замедлил вступить, потрясая своим рогом:

— Подхватывая алаверды моего брата Тициана, друзья, я пользуюсь волей, что дает нам наша Вечная Родина, чтобы назвать Нашу Девушку...

В этот момент ритуал опять оборвался. На дальнем конце стола поднялся человек, взъерошенный и пьяный, поднялся, если можно так сказать о персоне, совсем обвисшей в своем богемном обличье: Нинин законный супруг, бывший лефовец, бывший имажинист, поэт, прокочевавший по всем мыслимым поэтическим группам двадцатых годов, Степа Калистратов. Вдруг, несмотря на обвислость, он зарокотал мощно, как когда-то с эстрады:

— Прошу прощения, можно без «алаверды»?.. Нельзя ли мужу Вашей Девушки сказать несколько слов? Эй вы, поэты! Вы дуете вино, шамаете шашлык, волочитесь за моей очаровательной паршивой женой, как будто все в порядке, как будто наш карнавал продолжается... А между тем ему — п...ц! Позор и мрак, вот наше будущее! Сережки Есенина уже нет! Володьки Маяковского уже нет! Рисунок звезд не

в нашу пользу, братцы! И ваш покорный слуга Степа Калистратов еле жив!

Произнеся этот монолог и исчерпав, видно, все силы, Степан бухнулся на стул и совсем уже обвис в руках своего дружка Отари, второго племянника дяди Галактиона, существа на удивление томного и молчаливого, как олень.

Поэты, даром что грузины, не обиделись на Степана за нарушение ритуала застолья. Кто-то, правда, пробормотал: «Вот вам типичный русский скандал в благородном семействе». Кто-то тут же возразил: «Ах, оставьте, это просто лишь отрывок футуризма, эпате...» Но большинство попросту преисполнилось сочувствия: «Степан — страдающая душа! Он гений! Давайте выпьем за него!»

Вдруг что-то произошло. Один из местных вышибал пробежал, зашептал что-то на ухо Яшвили. У того округлились глаза. Все повернулись ко входу, ожидая вновь прибывшего. Легкими шажками на террасу впорхнул, словно воробушек, небольшой человек лет под сорок. Он простер руки к столу поэтов и высоким, едва не обрывающимся от гордости и восторга голосом начал читать:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни — шерри-бренди,
Ангел мой!

Все с грохотом вскочили:

— Осип! Да ведь это же сам Осип во плоти! Слава Мандельштаму!

Нина была потрясена. Она знала, как и весь литературный Тифлис, что Мандельштам где-то на Кавказе, что он несколько дней провел в городе у Зданевичей, а потом уехал то ли в Армению, то ли в Азербайджан, но могла ли она вообразить, что ее кумир вдруг так неожиданно появится над городом, под луной, в парах вина, в ту ночь, когда она — уж это она точно знала — с голыми плечами столь неотразима, что он, благороднолобый, будет так ошалело на нее оглядываться, пока обнимается с Паоло и Тицианом, будто узнал в ней одну из «красавиц Тринадцатого года», может быть, даже ту, Соломинку, тоже грузинку, как и она сама, особенно в эту ночь, — Саломею Андроникашвили.

— Откуда ты, Осип? — громко спросил Паоло, разыгрывая перед понимающей аудиторией сцену встречи двух братьев по Мировой словесности.

— Из Армении! — вскричал Мандельштам. — Еле ноги унес оттуда! Слушайте, вот несколько строк! — Он начал читать, явно на Нину: — Там, в Нагорном Карабахе, в хищном городе Шуше, я изведаль эти страхи, соприродные душе... — Бросил читать и спросил, будто очертя голову, громким шепотом: — Бога ради, Паоло, кто ОНА?

Паоло с гордостью представил:

— Нина Градова, молодая поэтесса, только что мы ее титуловали Нашей Девушкой!

Мандельштам холодными лапками цапнул Нинину ладонь:

— Нина, вы... я просто ошеломлен... вы как будто оттуда, из «Бродячей собаки!»...

— «Я научился вам, блаженные слова: Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита», — как зачарованная прочла Нина.

— О, вы помните! — прошептал Мандельштам.

Поближе к ним подошел шарманщик. Крутанул музыку на полную катушку. Попугаи бурно взлетели с его плеч. Мандельштам зашарил по карманам.

— У меня, как всегда, ни рубля.

— Ничего не надо, — сказал старик.

Даже грузинские пиры иногда кончаются, и к концу

ночи Мандельштам и Нина оказались одни в центре города. Луна еще стояла в небе, освещая многочисленные портреты Сталина и лозунги первой пятилетки. Они шли вдоль жалких витрин некогда роскошных магазинов.

— Этот Тифлис... — пробормотал Мандельштам. — Даже несмотря на вездесущую морду кота... — Он без всяких осторожностей ткнул пальцем в направлении портрета усатого вождя. — Здесь кажется, что дом еще не разграблен, что хотя бы нэп еще жив. Вон смотрите, в глубине переулочка ни одного портрета, ни одного лозунга, только фонтан и над ним струя... струя, Нина, как до катастрофы!.. а на столах, мой Бог, какие деликатесы!.. а вокруг столов такие живые, неизмученные лица... и вы, Нина... за что такой подарок судьбы?

— Давайте уточним, Осип Эмильевич, — сказала Нина. — Кто подарок судьбы: я или Тифлис?

— Для меня вы теперь навсегда соединились, — сказал Мандельштам.

— А для себя я, увы, разъединяюсь, — улыбнулась она. — Возвращаюсь в реальный мир. Ведь я москвичка, Осип Эмильевич.

Чтобы не подхватывать его тон и не впадать в собственную экзальтацию, Нина старалась слегка проиронизировать их ночную прогулку. Мандельштам этого тона явно не принимал и смотрел недоумевающе.

— Я слышал о вас в Москве, Нина, — сказал Мандельштам. — И я читал вашу поэму в «Красной нови». Верьте не верьте, но я видел ваше лицо сквозь строки. — Он осторожно взял ее руку повыше локтя.

— Послушайте, Осип Эмильевич... — сказала она, чуточку отстраняясь. Она была немного выше его. Впрочем, это, возможно, из-за туфель. «Когда сниму туфли, мы будем одного роста, — подумала она. — Что такое, моя дорогая? Вы уже, кажется, забыли сослагательное наклонение?»

За их спинами в глубине пустой улицы послышался нарастающий шум. Они едва успели обернуться, когда большой черный автомобиль с тремя серебряными горнами на крыле прокатил мимо. Нина вздрогнула. Как раз перед началом вчерашнего пира, когда она рассказала братьям-писателям о шутке Нугзара, один из них вполголоса поведал ей, кто разъезжает по Тифлису в этом автомобиле.

Ее испуг не ускользнул от Мандельштама. Лапка его продвинулась еще чуть выше по ее руке с явным предложением дружеского полуобъятия.

— Эти большие черные автомобили... — проговорил он. Вдруг взгляд его остекленел, он забыл о предложенном полуобъятии. — Когда я их вижу, что-то такое же большое и черное поднимается со дна души. Меня преследует видение чего-то ужасного, что неминуемо передошлет нас всех...

— Я знаю это чувство, — сказала она.

Мандельштам — он явно чуть-чуть тянулся на цыпочках — заглянул ей в лицо.

— Вы еще молоды для него, — сказал он.

— Я пережила горчайшее разочарование, — серьезно произнесла она.

— В любви? — спросил он и подумал: «Сейчас будет рассказывать о своей несчастной любви».

— В революции, — ответила она.

Теперь уже он вдруг вздрогнул и подумал: «Очаровательная!»

Они остановились возле мерно журчащего фонтана; высокая молодая красавица и жалкий, стареющий воробей. Уже без колебаний он взял ее за обе руки. Теперь, казалось, все фальшивинки разлетелись, предлагалась полная искренность.

— Нынче, после того, что было, и перед тем, что будет, я вижу каждый мирный миг, каждый момент красоты, как неслыханный дар, не по чину доставший-



ся. Нина! — Он попытался приблизить ее к себе, и в этот момент кто-то громко усмехнулся поблизости, а потом хриплым голосом произнес: «Ха-ха».

Отскочив друг от друга, Нина и Мандельштам всмотрелись в темноту и увидели Степу Калистратова. Поэт лежал на краю фонтана, свесив свои длинные волосы в воду. Рядом, как изваяние грусти, сидел молчаливый Отари.

— Давай-давай, поцелуй его, моя паршивая жена! — ободрил Степа. — Не тушуйся. Запишешь в биографии, что спала с Мандельштамом. Я разрешаю.

Он замолчал и отвернулся, почти слился с темнотой, только раздавалось какое-то хлюпанье — не плачь, а плеск — да мерцала, будто ночная мольба, папирота Отари.

Нина смотрела туда, где лежал Степан, и вспомнила, как почти три года назад, в предновогодний вечер, они приехали на извозчике в Серебряный Бор, как ворвались, румяные и хмельные, и как она объявила собравшимся: «Ну, все, уговорили, уезжаю в Тифлис,

но не одна, а со Степкой, моим за-а-аконным мужем!» И как Савва Китайгородский быстро, нагнув голову, не соблюдая никаких приличий, которым его всю жизнь учили в семье, прошел через гостиную, выхватил из кучи свое пальто и исчез.

Внезапная и острейшая жалость вдруг пронзила ее. К кому — к Савве, или к деградирующему Степану, или к себе, просто к невозвратности тех лет? Будто пришпоренная, она бросилась к Степану, потом обернулась к Мандельштаму.

— Простите, Осип Эмильевич, это мой муж. Мой бедный, беспутный «попутчик»...

Обхватив за плечи, стала трясти Степана.

— Вставай, вставай же, балда! Пойдем домой!

Кое-как Степан поднялся. Нина поддерживала его. Сзади плелся Отари. Папирота потухла. Мандельштам стоял не двигаясь. Даже и здесь, в мирном, докатастрофном углу, на него сквозь ветки посматривал портрет Сталина.

(Продолжение следует)

ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ»?
Посмотрите нашу программу и сделайте выбор. Но точно знаем:
без нашего журнала вам будет жить скучно!

Уважаемый читатель!

Как известно, с начала 1990 года была поднята розничная цена нашего журнала. Мы предвидели, что потеряем часть тиража, что многие давние почитатели и друзья «Юности» не смогут подписаться на журнал, ибо для них это стало слишком дорого. Об этом рассказали ваши многочисленные письма в редакцию.

В нынешнем и следующем году нас ждут новые трудности — грядет повышение цен на бумагу, удорожание доставки и типографских расходов. А это все должно вновь повлечь повышение розничной цены. Уже сейчас многие редакции вынуждены увеличивать стоимость своих изданий.

И мы решили рискнуть — **ОСТАВИТЬ ПРЕЖНЮЮ ПОДПИСНУЮ ЦЕНУ НА ЖУРНАЛ.** Чтобы дать возможность большему числу наших читателей выписать «Юность» на 1992 год.

Мы надеемся на вашу поддержку. Только вместе с вами, уважаемые читатели, мы сможем выжить и сохранить «Юность». Заранее благодарны всем, кто нас поддержит.

Ждем ваших писем.
Ваша «ЮНОСТЬ»

Заполнив квитанцию, вы сможете оформить подписку на «Юность» с 1 августа с. г. в любом отделении связи.

Стоимость подписки

- на три месяца — 5 руб. 25 коп.
- на шесть месяцев — 10 руб. 50 коп.
- на год — 21 руб.

Ф. СП-1

Министерство связи СССР
«Союзпечать»

71120

АБОНЕМЕНТ на журнал (индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

Количество комплектов:

на 1992 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

на журнал 71120 (индекс издания)

«ЮНОСТЬ»

(наименование издания)

Стоимость подписки руб. коп.

пере- адресовки руб. коп.

Количество комплектов:

на 1992 год по месяцам:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

«РЖАВЧИНА-3»

«20-я комната» продолжает тему
«Молодежь и армия»
(см. «Юность», 1989, № 6;
1990, №№ 2, 9)



Официально зарегистрирован Фонд «Право Матери» (защита прав матерей и отцов, которые «благодаря» армии потеряли своих детей). Ассоциация «Дипломатия граждан» стала официальным учредителем Фонда.

С ноября 1990 года двести координаторов на местах получают от Фонда информацию для родителей погибших: материалы прессы, юридические документы (в частности по льготам, пенсиям), информацию о движении солдатских матерей в стране и т. д. Фонд решил в меру своих возможностей организовывать продуктовые заказы — покупать и бесплатно раздавать, рассылать их матерям. Издание Книги Памяти погибших — приоритетное направление деятельности Фонда.

Но Фонду нужны крупные, серьезные спонсоры, «попечители». Только тогда он сможет поддержать, окружить заботой и вниманием каждую мать, потерявшую в СА ребенка.

СЧЕТ ФОНДА «ПРАВО МАТЕРИ» № 700731 МФО 201865 В МГУ ВТБ РСФСР.

Телефон для контактов: 158-87-03 или 463-71-73.

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.

При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штампа отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах «Союзпечати».

Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится работниками предприятий связи и «Союзпечати».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До конца этого года
и в первой половине
1992 года вы прочтете
в нашем журнале:

- Василий АКСЕНОВ.
Московская сага.
Вторая книга
- Виктор АСТАФЬЕВ.
Затеси
- Владимир ВОЙНОВИЧ.
Жизнь
и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина.
Книга третья
— Князь
М. М. ВОЛКОНСКИЙ.
Мальтийская цепь
(авантюрно-исторический
роман)
- Геннадий ГОЛОВИН.
Новая повесть
- Сатирические рассказы
Гр. ГОРИНА
и Мих. МИШИНА
- Неизвестные письма
Николая Михайловича
Карамзина
— Дмитрий
МЕРЕЖКОВСКИЙ.
Главы из «Невоенного
дневника»
- Владимир НАБОКОВ.
Рассказы
- Валерия НАРБИКОВА.
«Великое кня...». Повесть
- Эльдар РЯЗАНОВ.
Предсказание. Повесть
- Алексей СКАЛДИН.
Страсти и приключения
Никодима Старшего. Роман
- Ирвинг СТУН.
Страсти души
(романизированная биография
Зигмунда Фрейда)
- Граф Николай
ТОЛСТОЙ-МИЛОСЛАВСКИЙ.
Толстые: 24 поколения
в русской истории.
1353—1983 гг.

Московское Товарищество
„ДЯГИЛЕВЪ ЦЕНТРЪ“

представляет

криминальную мелодраму Александра Александрова

НОМЕР „ЛЮКС“ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА *с девочкой*

продюсер Юрий Любашевский

Константин Воинов

в ролях:

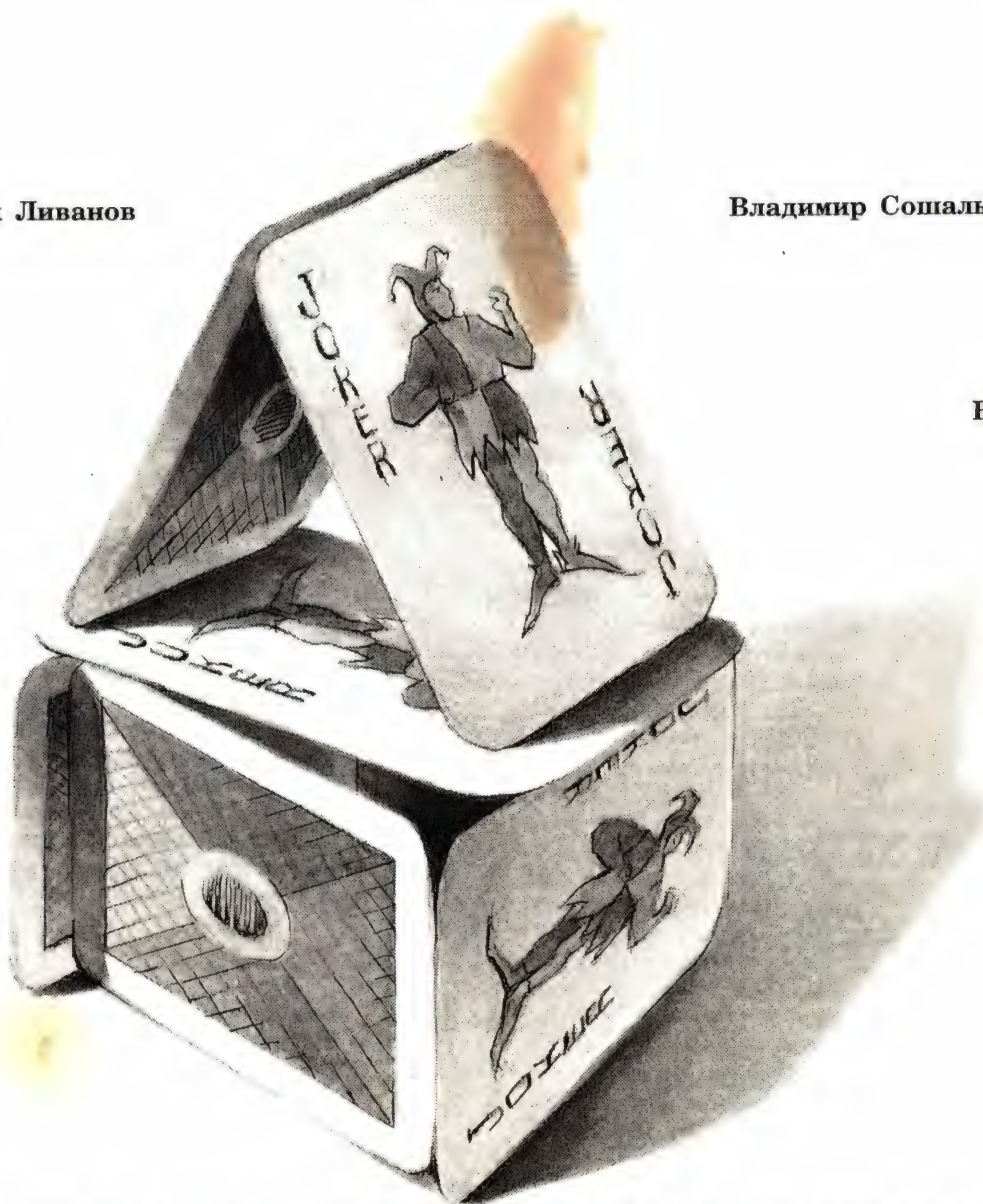
Вячеслава Часова

Аристарх Ливанов

Владимир Сошальский

Елена Кондулайнен

Вячеслав Невинный



Более подробная информация: тел. 299-66-16, факс 200-22-16 (17) VETER



АНТОН НЕЧАЕВ

Дебют в
ЮНОСТИ

Поэзия — штука не только тайная, но и весьма причудливая.

Дед Антона Нечаева, сибирский поэт, Игнатий Рождественский, писал стихи с восторгом о сибирском крае, о стройках, здесь разворачивающихся, о мужественных землепроходцах и сам был человек увлеченный, искренне веривший в светлое наше будущее. Он изо всех своих сил и возможностей помогал этому будущему и, будучи школьным учителем в городе Игарке в тридцатые годы, москвич по рождению, Игнатий Дмитриевич преподавал русский язык и литературу. Я был его учеником, затем всю жизнь молодым другом и первый в жизни автограф поставил на первой своей книжке ему, школьному учителю. Он вселял в своих учеников не только надежды, он учил устремлению к трудовым и боевым победам, товариществу, мужеству и честности учил.

Его внук, студент одного из красноярских вузов, извлекает поэзию сложного внутреннего содержания из собственного мира и духа, хотя, казалось бы, какой тут мир и дух у человека, почти юноши, воспитанного преимущественно на книгах, в домашнем кругу? А вот поди ж ты! У нас и до сих пор считается, что ежели литератор не послужил, не походил в присутствие иль не поездил в качестве разнорабочего по своей необъятной стране, то и писать ему не о чем да и незачем.

Трудно было бы при этих условиях барчуку Лермонтову писать стихи и прозу — никакого у него тяжкого житейского опыта и трудового стажа не было, а вот сотворил же он себе настолько сложный мир, что не совладал с ним...

И снова, и снова повторим: каждый человек есть отдельный мир в мире, а поэт — явление особенное, редкое, и всякий приход таланта в этот мятежный и безумствующий мир надо только приветствовать, ибо он от божьего сотворения и до наших дней служит добру, красоте, усовершенствует нас и наше бречное существование. И все кличет, кличет поэт за собой куда-то, в какую-то неведомую даль, к разгадке ли тайны, его мучающей, к звездам ли, к неведомой ли любви или к той вечной пристани, где ждет нас благодать и блаженство. Поэт даже в печальных стихах что-то хорошее обещает, к хорошему ведет, мечтою о прекрасном увлекает.

Антон Нечаев — воистину начинающий поэт, он никогда еще не печатался. И радостно, и тревожно за его судьбу.

Виктор АСТАФЬЕВ

☆☆☆

Я не борец и не воин.
Нет силы, кроме силы тьмы.
К чему борьба? Я только зритель,
Смотрящий мир со стороны.
Я на земле отнюдь не с вами,
Мир для меня так чужд порой,
Я в этой тьме годами занят
Своей нелепой ворожкой.
Пустая значимость событий,
И все в коричневых тонах...
А я здесь кто? Всего лишь зритель
С усмешкой горькой на губах.

☆☆☆

Кладбищенский сторож копает и бьет
Тропу своей черной лопатой.
Иду не спеша, и со мною идет
Таинственный соглядатай.
Иду по аллее от старых ворот
Средь этого грустного царства,
И время уснуло, мой медленный ход
Пронзает пределы пространства.
Меня восхищает из прочных светил
Луны одинокая млечность.
Иду по аллее, средь поля могил
Дорогой, тянущейся в вечность.
Иду, не пугаясь ни кары земной,
Ни пытки любой, ни проказы,
И только, когда соглядатай со мной,
Боюсь его страшного сглаза.
Я вечный скиталец, иду и иду,
Кому я на кладбище нужен?
Дорога моя переходит в тропу,
Тропинка все уже и уже.
И только когда прекратится мой ход
И гибель предстанет наградой,
Тогда я умру, но со мной не умрет
Таинственный соглядатай.

☆☆☆

Я жду ее ночами темными,
Прижавшись к грязному стеклу,
Я жду ее, святую, скромную,
Невыносимо долго жду.
Она придет, богиня черная,
Она присядет на кровать,
Она, моя святая, скромная,
Меня захочет целовать.
Она моя, и мне обещана,
И мне ниспослана судьбой.
Она богиня, ведьма, женщина,
Она и мука, и покой.
Я жду ее, и мне не надо
Ни памятников, ни оград —
Я жду ее не как награду —
Как избавленье от наград.

☆☆☆

Как тяжело, горестно и больно,
И не звонят еще пока
На белоснежных колокольнях
Российские колокола.
Какая тьма от этой боли
В глазах, в изгибах губ, бровей...
И не летит широким полем
Лихая тройка коней.
Не слышно звуков жданной сечи,
Подковы оземь не стучат.
И только свечи, только свечи
В церквях заброшенных горят.
Все замерло, как в усыпальне,
Но слышится в глухой ночи
Стук молотков по наковальне —
То кузнецы куют мечи.
И песня катится с тоскою,
И нет страшнее той тоски.
Так над великою рекою
Кричали раньше бурлаки.
И эта песнь о жизни вольной,
О днях, которые грядут...
Но звонари на колокольнях
В колокола еще не бьют.

☆☆☆

Как замурованному в нише
Мне здесь темно, и труден вдох.
Но что дано нам — это свыше,
Земля не вечна, вечен Бог.
То ли избранникам — стихия,
То ли отверженным — судьба:

Нам послан крест, клеймо — Россия,
И мы несем его. Куда?
Какая мука в этом тленье!
«К своим рабам — прииди Спас».
Но зря — молитвы о спасеньи,
Все это наше, нам, для нас.
Российской пустоши холодной
Мы обреченно все верны,
И только мертвые свободны,
И только лучшие — мертвы.
И ты, страдальческое братство,
Обращено теперь во прах,
Но за страданья нам воздастся,
За все воздастся в небесах!
Россия! Вижу я руины,
Тебе предчувствую, изыдь,
Такую страшную кончину,
Что самому не в силах жить!

☆☆☆

Для меня народа нет и брата, только пеплом полегла
Мне на скулы азната скандинава борода.
Не в татарском звоне сабель должен я посеять страх,
Я рожден водить корабль где-то в северных морях.
И зажатому в торосах мне светила бы звезда,
И удалые б матросы поднимали паруса.

Возвышаясь статью торса, прорубал бы я моря,
И на рейде Гельсингфорса я бросал бы якоря.
«Не терять свою надежду» — и пусть воздух в море сер,
Я проплыл бы тихо между только мне знакомых шхер.
Я прошел бы сквозь туманы, через шквал морских атак,
И над рубкой капитана реял бы российский флаг.
И безумная отвага захлестнула бы меня...
Только нету здесь ни флага, ни морей, ни корабля.

г. Красноярск



Игорь
КОХАНОВСКИЙ

Отречение

Отречься, отречься, отречься навек.
Пусть не убережешь от вскрывшихся рек
людских потрясений, пусть виден недуг —
былых заблуждений замкнутый круг.
От лжи бездорожья прочь уходя,
отречься от ложно живого вождя.
Довольно — по капле! Пусть шок — словно взрыв,
как римского папы к безбожью призыв,
как в жизнь — из объятий смерти — прыжок,
как противоядье — спасительный шок.

После спектакля

«Проезжайте!» — в начальственном раже,
возражений не терпящем и
возражений не мыслящем даже,
мне вещает сотрудник ГАИ.
Не до спора мне и перебранки...
Я паркуюсь, проехав квартал,
где Высоцкий под небом Таганки
и хрипел, и кричал, и шептал,
и держал, как пристало атланту,
это небо, чтоб теплился свет...

Так низы благодарны таланту,
что верхи отменили запрет.
Ну а после спектакля... Едва ли
в день другой бы запомнилось мне:
черных «Волг» вереницы стояли
и на этой, и той стороне.
И подумалось вдруг, что Таганка
стадо этих машин собрала,
как запретная прежде приманка...
Вот, Володя, какие дела.
Те, что гнали тебя, словно волка,
нынче в первых сидели рядах,
и прогретые черные «Волги»
верной стражей толклись на часах.

☆☆☆

Не знаю мгновений заветней
и раем рисуется ад,
когда человечек трехлетний
в меня устремляет свой взгляд,
доверчивый и беззащитный,
дарованный лишь малышу,
и кажется, что ему видно
все, чем я живу и дышу.

Душа, как замерзший колодезь, —
родник, превращенный в ледник,
застыла, давно не заботясь —
оттаит ли снова родник,
пригубит ли кто-то однажды
глоток родниковой воды,
спасет ли кого-то от жажды,
как исповедь — от мутоты.

И вот этот взгляд, не безмолвный,
хотя в нем сама тишина,
и душу пронзающий, словно
молитва, до самого дна,
как будто меня вопрошает
о том, что узнал не из книг...
И чувствую — медленно тает
забытый, замерзший родник.

☆☆☆

Какое мне дело до вас,
до вашей игры в суесловье,
до всех ваших телеграмм,
предписанных новою ролью.

Вчерашний закончился фарс —
сегодняшний взял эстафету.
И нету мне дела до вас,
как вам до меня дела нету.

Болезнь

Когда именитый писатель
злословит о жизни чужой,
как злобный пустой обыватель,
я чувствую, кто предо мной.
Когда дискутируют с дамой
(с премьером!), как спорят в пивной,
ведущие телепрограммы,
я чувствую, кто предо мной.
Эпоху грядущего хама
давно предрекали. И вот
на скорбных развалинах Храма
родился великий урод.
Как будто поветрие косит
НАРОД, ПРОГЛЯДЕВШИЙ НЕДУГ.
Наверное, так плодоносит
посев незапамятных мук.
И хищные вирусы хамства,
отвратные, как живоглот,
как жизненное пространство,
к рукам прибирают народ.
И пошлая, как мелодрама
с приправой одесских острот,
страна победившего хама
сама себя не узнает.

Виктор ЛИПАТОВ

ПАССАЖИР КОРАБЛЯ ДУРАКОВ

**Иероним Босх —
художник раннего
Нидерландского
Возрождения
(1460—1516)**

Одинокая фигура Босха стоит перед миром грустно и непреклонно.

Босх провинциал. Его суженный мирок позволял ему чувствовать себя частицей, сообщающейся со вселенским космосом. Понятия и слова звучали в этом мирке, как абсолютные и полноценные истины.

Хиеронимус ван Акен, так его звали, родился и жил в Хертогенбосе, что означает «герцогский лес». Когда-то в этой части Нидерландов охотились герцоги Брабантские. Брабантец Босх — «лесной»? Лесной человек, независимый от суждений и осуждений, влияний, школ, направлений, хотя, очевидно, и не избежавший следования традициям, рос в семье художников. Но ему, обладавшему сильным темпераментным талантом, всецело хватало себя. Разве художник не сам создает среду обитания и устанавливает ее законы?

Веселый художник — Босх. Яркая штука — жизнь. Он заставлял усмехаться там, где сам, может быть, обливался горячими слезами. Несуразные создания и невообразимые ситуации в его картинах созвучны поверьям, предсказаниям, библейским описаниям. Чудища еще пугают, но больше бряцают своими «доспехами». Они неуклюже-маскарадные, хотя и прячут под шутовским одеянием страшную суть. И все же бутафория, комедийность, странность поз и характеров вызывали смех. Карел ван Мандер неоднократно упоминает об этом. Да и другие находят сочетание комического и жуткого. Даже большой «любитель инквизиции», мрачный испанский король Филипп II покупал картины Босха для «благородного развлечения». Смех Босха иногда развлекает, порой звучит драматически, а чаще всего философичен. Не зря называли художника величайшим гением всех сатириков. Но прежде всего Босх — человек совести.

Взгляните на него. Невысок ростом, но кряжист. Простая куртка застегнута наглухо, от широкого морщинистого лица веет удалством и лукавством. Крепкая, жилистая шея, вольно растущие волосы, большие выразительные глаза, обведенные каемкой грусти. Ощущение таково, что этот человек сдерживает слезы. Что-то в нем от добра молодца, а что-то и от монаха.

Существуют и предполагаемые автопортреты: молодой, улыбающийся, глаза с поволокой, брови вразлет; встревоженное лицо, глаза исплаканы, искривлена улыбка; лицо сухое, аскетически жреческое, обреченно наблюдающее; лицо скептика и анализатора. Взор с сумасшедшинкой, повернут в глубь души. А куда еще деваться от окружающей бессмысленности! Это полное диковатой жизнерадостности лицо «Блудного сына», в ком узнавали самого Босха. Вся жизнь проживший в одном городе, художник всегда ощущал себя странником. Блудный сын оставляет родной дом, который вряд ли можно назвать и родным, и домом. Прохуdivшаяся крыша, выбитые стекла, сорванные ставни, облупленные стены, запущенный двор, неприкаянные постояльцы. Один из них справляет тут же, за углом, нужду. Вооруженный пристаёт к женщине... У корыта толкутся тощие свиньи. Блудный сын смотрит на оставляемый им мир без сожаления

и с усмешкой. Мир этот бесцелен и пошл. И не уходом своим блудный сын обеспокоен, а жизненным назначением. Тощий, оборванный (колени сверкают сквозь дыры), демонстративно обутый в тапок и ботинок, пораненный — одна нога перевязана белой тряпичей, с коробом за плечами — он и сам случайная фигура на земле, — и отправляется в путь, который никуда его не приведет.

Грустный художник — Босх. Грустная штука — жизнь. Однако как спокойна и красива у него холмистая долина, поросшая деревцами...

Лампсониус, обращаясь к художнику, находит в нем «вид, выражающий ужас» и «бледность уст» — от постоянного созерцания «летающих призраков подземного царства». Что было, то было.

Босх — второй человек в Европе после Данте, о ком говорили, что ему доподлинно известно о происходящем «в самых недрах преисподней». Во всяком случае, по мнению знатоков, он с успехом изобразил бытие ада. Показал столько видов и подвидов всяческой нечисти, о чем до него никто и не подозревал. Впоследствии писали о его болезненно-навязчивом демонизме. Вряд ли нечистые изобретались им для собственного удовольствия — изобличались для общественного блага. Пожалуй, даже грустно ему было, что вот такие они существуют. Но и осязаемое удовольствие художника явно: лишь ему по силе вывести на всеобщее обозрение этот странный парад-алле. Он бы и преуменьшил количество его участников, да чувство правды не позволяло. Босх очень объективный художник.

Из картины в картину вызывающе и естественно кочуют орды нечисти. То они смущают покой святых, то шастают среди людей. Когда мысль художника облекается в какой-либо образ, значит, он ему вѣдом. Всмотримся же в эти «лица». Нечто котообразное выскакивает из-под красного занавеса и хватает убегающую рыбу, в которую вонзилась стрела. Босху ничего не стоит укутать другую рыбу в красное одеяние, оседлать ее седлом-панцирем, надстроить сверху проволочную пирамиду, приделать часть лодки, посадив в нее обезьян с сетями и длинным черпаком.

Логика художника проста: слуги и посыльные зла — явления несусветные, странно-безобразные. Человеконасекомые, птицелюди, человекозвери, птицесобаки, клешни, сплюснутые костяные головы... Все это скрипящее, лающее, бляющее устрашает, но и развлекает, рождает любопытство зрителя — пред нами почти что средневековый театр.

Босх пугал дураков, а умному намекал на многое. Он создавал конструкции-симбиозы. Полуяйцо со стволами ног, стоящих в лодках. Над ним — дерево, на дереве — сова... Сине-стальной щербатый нож разрезает пронзенное стрелой огромное ухо, по которому ползет некто в средневековой инквизиторской одежде, с острой палицей; другой, темный, испуганный, с вытянутыми руками-лапами, вырывается из-под ножа, а вокруг голые несчастные человечки мечутся, предчувствуя конец света. Рядом на лапах-ветвях полуразбитое яйцо: там кабак, где голыми сидят за столом и пьют, а старуха наливает им из бочки. Кто-то со стрелой в заднице ползет в кабак по лесенке, на палке у него болтается порожняя баклага... Подобие корабля — не чудовище с хищной рыбой и обнаженным, а в шлюпочке, привязанной к кораблю, на голове стоит лягушка...

Насколько все это поражало зрителей, можно судить по резкой реакции такого знатока живописи, как Рихард Мутер, начисто отказавшего Босху в праве именоваться художником: «...его сила исключительно в изобретательности, а не в претворении идей в образы».

Казалось бы, обилие невероятного в картинах Босха не должно удивлять никого. Тогда все верили в невероятное. И то, что книга святого целехонькой выпрыгивала из костра, а книги еретиков сгорали дотла, было в порядке вещей. И все же Босх был слишком дерзким и безудержным фантазером. Он едва успевал переносить свои видения на полотно — оттого и писал чаще всего «одним ударом». Хотя что такое фантазия, как не умение прочувствовать мир, осознать свои ощущения и внезапно вообразить в значительной прогрессии свои знания? Что такое зажженная спичка, поднесенная к факелу? Не оттого ли одновременно с титулом «фантаста» награждают художника и званием знатока природы: «прекрасно и близко к природе он сумел передать жар, пламя, дым». Нарушая пропорции и гиперболизируя, он всегда соблюдает реальность предметного изображения. Гигантское ухо или невероятный воз все-таки будут соответствовать тому, как «на самом деле». Изображения животных убеждают: художник отлично знал животный мир.



«Древо познания». Фрагмент триптиха «Сад наслаждений». Мадрид. Прадо.

**Иероним
БОСХ
(1460—1516 гг.)**





«Сатана».
«Ад игроков». Слева.
Фрагменты триптиха «Сад наслаждений» Мадрид. Прадо.



«Святой Христофор». Фрагмент.
Роттердам.

Босх был старшим современником известного гуманиста Эразма Роттердамского и, наверное, читал «Похвалу глупости», да и кто из тогдашних интеллигентов ее не читал. Предполагают, что художник был энциклопедистом. Зоология, медицина, теология, философия, алхимия, астрология равно были ведомы ему. Специалисты находят в его картинах древнейших животных, астрологические предсказания, инопланетян с их «летающими тарелочками». О мыслях Босха отзывались, как об удивительных и странных... Его время — символов и криптограмм. Художник в совершенстве владел эзоповым языком, знал искусство иносказания. Но было бы странным видеть в его картинах лишь зашифрованные письма. То были картины мировоззрения. Босх не спрашивал: «Что есть истина?» Он владел истиной, знал Бога и, подобно Данте, хотел представить историю бытия человечества, всеобщую картину жизни, вывернув ее, словно тулуп, мехом вверх.

Задача не из легких — втиснуть в изобразительную формулу рой образов, мыслей, смятений рода человеческого. Рай, ад, вселенная — и такая мимолетная, многосложная человеческая жизнь. Художник словно снимает дерн и рассматривает почву, где все, высокое и низкое, густо переплетено. Ни одна былинка («мыслящий тростник») не растет сама по себе, ни одно устремление не летит одинокой стрелой — но тут же касается других устремлений и прорастает невиданным растением.

Триптих «Воз сена» философски назидателен. Здесь также есть рай и ад и просто жизнь как подневольный путь. Господь Вседержитель в золотом сиянии. Падшие ангелы, превращающиеся в насекомообразных ангелов. Босха никак не назовешь лакировщиком действительности. Божественное и дьявольское, доброе и злое у него соседствуют. А далее — сама жизнь. Во всей откровенной неприглядности и краткосущности. Нечисть из преисподней, существа с рожами-рылами, тащит прямо в ад желтый, хорошо утрамбованный воз сена. «Мир, — гласит фламандская пословица, — это воз сена, и каждый старается урвать с него сколько может». Люди дерутся, убивают, лезут на воз. Всяк стремится ухватить клочок душистого сена. Даже монахи не остаются в стороне, а стараются набить поплнее свои большие мешки. А воз тем временем движется и движется. Разношерстная толпа спешит за ним: императоры и короли, духовенство, бюргеры, беднота. На возу ангел и бледно-серый пузатенький дьявол, меж ними юноша с лютней и девушка. Вечен выбор между добром и злом.

И — ад. Темные силуэты строений на фоне пожара. Сцены казни. Разгул человекоживотных, человеконасекомых, человекорастений — слугителей ада. Воздвигается башня тщеславия.

Створки закрываются, и возникает столь близкий сердцу Босха образ бродяги. На нем драные штаны, за спиной — коров. Гонит его собака — зависть. И идет он неведомо куда, в безрадостный мир, хоть и пляшут под волынку у большого дерева крестьяне. Но вот уже грабители обобрали прохожего и привязывают его к дереву. Меж обглоданных костей — воронье, а бродягу ожидает шаткий мостик, который обязательно подломится.

Вот так рассказал художник о нашей краткой жизни на вечном фоне божественной истории и непрерывной, очевидно, взаимопобеждающей, борьбе добра и зла.

А дальний пейзаж, как всегда, хорош, несмотря на виселицу, виднеющуюся на горе.

Босх питал страсть к панорамным пейзажам. Он любил простор, горы, водные пространства.

Мирный пейзаж: сад-лес; синеватые, поросшие деревцами горы; зеленовато-светлое небо, — окружает святого Иоанна. Пасутся лани, гуляют звери, лазают обезьяны, щебечут птицы. В картине, изображающей сосланного римским императором Домицианом Иоанна на острове Патмосе, атмосфера меняется. Святой записывает в книгу-тетрадь свои видения. Возникающая рядом нечисть: бронированное брюшко, лапки-крылья, странный хвост (скорпионий?), блещет зеленовато-металлическим цветом. Саранча злобная! Лицо — тощее, желтого оттенка, в очках — кажется очень знакомым. Еще бы! Сам дьявол пожаловал к Иоанну. Его обличье нет-нет да и характерно возникает в картинах Босха. Остро прицеливающееся, с вонзающимся взглядом и плутовато-безумными глазами.

Дьяволу и шабашу толпы противостоит Христос. Не потому ли «Несение креста» близко художнику, что и себя видит он несущим свой крест на свою Голгофу?

Путь на Голгофу — путь страдания. Под тяжестью креста

Христос согнулся и добросовестно тащит его. Униженный и отъединенный — один среди всех. Вокруг вид толпы: бичующие, солдаты, публика...

Эта картина, словно первый взгляд, но вот совсем иное видение: действие резко останавливается, из него вырывается один, почти квадратный, кадр. В кадре — давка. Дикая энергия красок подчеркивает предельную уродливость низменной толпы. Кривые и вспученные носы, гримасы, хищные выражения. Беснующиеся, жаждущие расправы и крови. Отвратительно радующееся зло. Мертвенные лица разбойников. Злорадным сладострастием брызжет лицо исповедующего монаха. Слепо-ненавидящий профиль фарисея.

А среди ужасов всечеловеческой души — рычащих, реющих, протискивающихся из небытия — обычно-человеческое, спокойное, отсутствующее лицо Христа. Он прильнул к дереву креста и слушает музыку, заключенную там. Христос всегда у Босха неожиданно обычен, один из всех, плоть от плоти человеческой. На фоне злых и обделенных именно обычность эта выглядит божественным началом... Тонколикая Вероника только-только приложила плат к лицу Христа — и оно отпечаталось. Художник показывает нам два лика Спасителя. Христос с платом смотрит на нас, внимательно и понимая.

Одни забавлялись у картин Босха, другие ужасались, третьи задумывались о смысле жизни. Художник всегда пишет картину для всех. В том нет всеядности — есть желание диалога, честолюбивая жажда аплодисментов (художник тоже актер), стремление выразить свое «я» (художник пишет картину прежде всего для себя). Во все времена царственные особы собирали произведения искусства. Честь им и хвала. Образовались музеи, где ныне и мы можем приобщиться таинству прекрасного. Но одно дело — портреты, пейзажи и невинные сценки бытия. Другое — Босх с его двусмысленным и жестким взглядом на мир и человека. Фигура Филиппа II — угрюмого и подозрительного абсолютного деспота — смущает. Что его сближало с Босхом? Провинциальность? Король также был провинциалом — добросовестным узником дворца Эскориал. Заточенный «в четырех» стенах, он пытался вершить судьбы мира. Но Босх, уединенный в своем городке, находился на острие конуса света, исходящего из Вселенной, тогда как король был ограничен кольцом своей безграничной власти. А может быть, Филипп чувствовал в Босхе человека такой же необыкновенной гордости, каким был и сам? Только у художника она была воплощенной, а короля снедала неутолимая жажда: он не мог восторжествовать над всем миром, не мог известить всю «еретическую чуму». И то, что делало Босха добрее и мудрее, превращало короля, человека по-своему неглупого, чрезвычайно трудолюбивого и мужественного, в злобного мизантропа.

Босх прожил и достаточно, и мало, чтобы стать умудренным старцем. Ему всегда не хватало благости, даже с помощью возраста он не смог достичь ее.

Он пытался понять сообщество людей — в бессмысленности, в злобе толпы, в элементарности бытия. Он не ненавидел и не презирал людей за их подневольность стадному и коллективному. Художник видел, как они радовались мучениям Христа и безвольно бежали за жизнью, радуясь ее подачкам. Не обольщаясь их временной храбростью и щедростью, он отдавал долг лучшим, чьи души в награду уносились стремительностью тоннеля («Вознесение блаженных душ в Рай») в сверхкосмос.

Владимир Соловьев в «Судьбе Пушкина» размышляет о сверхчеловеческом достоинстве гения. Босх таковым обладал. Мы видим Вселенную, ощущаем Бога, наблюдаем противостоящую ему рать и понимаем самого художника. Он между людьми и Богом, не судья, не проповедник, не апостол. Некое связующее звено, некая нравственная величина...

Наследовали ему столь разные мастера разных эпох, как Питер Брейгель Старший и недавно усопший Сальвадор Дали.

Вольные люди эпохи перемен, современные авангардисты чтут Босха, как своего прародителя.

...Босх стоит на причале. Он только что сошел с корабля, и корабль дураков поплыл дальше. А Босх стоит на причале и спешно заносит на холст — нет, не контуры корабля — его извергающуюся жизнь, лишь условно ограниченную этими контурами. Художник пишет быстро, ему надо успеть. Ведь он знает: пройдет какое-то недолгое время, и корабль снова подойдет к причалу, и Босх снова сойдет с корабля.

Московское Товарищество
„ДЯГИЛЕВЪ ЦЕНТРЪ“

представляет

криминальную мелодраму Александра Александрова

НОМЕР „ЛЮКС“ ДЛЯ ГЕНЕРАЛА с девочкой

Этот фильм не получил еще ни одного «Оскара» и прибыли не принес, не открыл новых актерских имен, не стал событием культурной жизни, не окупил съемочных затрат. Но все это — пока. Пока «Номер «люкс» для генерала с девочкой» никто не видел. А укрепить читателя в его желании стать на час двадцать зрителем может наше интервью с режиссером картины Александром АЛЕКСАНДРОВЫМ.

— Фильм, собственно, про что?

— Дорожное знакомство — совместное путешествие. Он — пожилой, семидесятилетний игрок (шулер, катала, шансовик — как только не зовут тех, кто жить не может без карт), она — пятнадцатилетняя девчонка, едва сменившая родительский дом на свободу странствий и мнений. Восемьдесят минут кино вместили несколько месяцев их совместной жизни и деятельности. Само собой, есть остросюжетность, детектив — мир карточных шулеров и аферистов просто неправдоподобен без этого. Естественно, есть и мелодрама, и смешное — ну, в общем, все по законам жанра.

— А почему Вы, до сих пор сценарист, выступили в «Номере «люкс» и как режиссер?

— Я хотел все сделать сам и именно так, как следует, а не так, как может сделать по моему сценарию даже очень опытный режиссер.

— Есть ли в Вашем фильме что-нибудь такое, чего в кино никогда не было?

— Самое интересное из этой области, пожалуй, не имеет прямого отношения к сюжету. В середине фильма есть такая сцена: некто Композитор пытается совратить несовершеннолетнюю героиню. Зритель, подозреваю, отнесется к этой сцене со слегка повышенным интересом, поскольку действие, как мы узнали в процессе съемок, происходит в том самом номере и на той самой кровати, которой пользовались на отдыхе от тяжких трудов и забот супруги Горбачевы в бытность, когда глава семьи не был еще главой государства (снимали мы это на правительственной даче в Нижней Ливадии, с которой недавно снят гриф «ДСП»).

— Какие коммерческие планы в отношении «Номера «люкс»?

— Фильм уже реально существует как товар, и лучше всего было бы продать его для проката. Думаю, что картина будет иметь коммерческий успех, поскольку делалась про-

фессионалами своего дела.

— Кстати, снимали Вы его, наверное, за немалые деньги?

— Экономить не приходилось — аппаратуру имели самую лучшую, пленка «Кодак», да и всем занятым в картине платили не по ставкам пособий для безработных. В целом на картину затратили около полутора миллионов, а дало их, став моим спонсором, Московское товарищество «Дягилевъ Центр».

— С чего это они на Вас полтора миллиона ухнули?

— Поклонники моего таланта, наверное. На самом деле я лично спонсора не искал — этим занимался мой агент и, как видите, справился успешно. Был у меня и настоящий продюсер — Юрий Любашевский, возглавляющий «Дягилевъ Центр». Вы удивлены? А по-моему, давно пора и в этой стране коммерческое кино снимать по всем правилам, по законам жанра, как делают во всем мире. Абсолютно убежден, что на государственной киностудии я не снял бы этот фильм — по тысяче различных причин, но главное, потому что режиссер там не свободен настолько, насколько свободен был я.

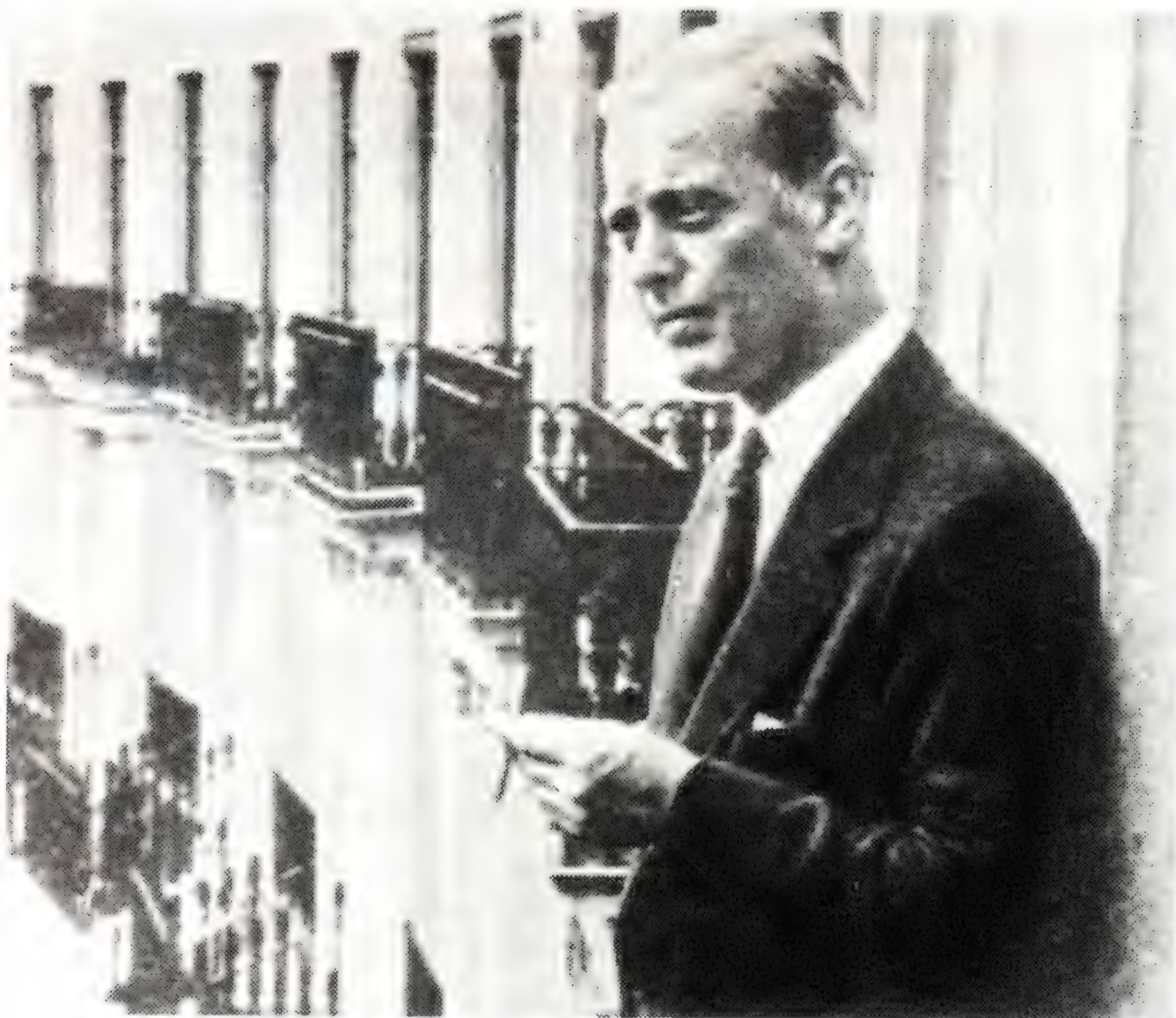
— Как Вы набирали актеров?

— Звонил и приглашал. Никаких проб, смотрин я и не думал устраивать — зачем мне это, когда прекрасно известно, что может один актер и что может другой, кого я хочу на эту роль. Главную героиню играет тринадцатилетняя девушка, и я очень рад и одновременно спокоен, что она сейчас живет не в Москве, а в Бруклине, это такой район в Нью-Йорке, а иначе меня ведь могли бы, чего доброго, и по судам затаскать за растление несовершеннолетней — все-таки сцены и нравы, которые ей иногда приходилось имитировать, случалось, бывали не строго пуританскими... Это был ее дебют в кинематографе, но не сомневаюсь, что в ближайшее время она заявит о себе в Голливуде. Героя — игрока — сыграл Константин Воинов, до этого более известный как режиссер, последняя его картина — «Шапка» по В. Войновичу. Композитора очень правдоподобно воплотил Вячеслав Невинный, хотя образ весьма порочный.

— С середины Вашей картины уйти можно?

— Можно. Гарантирую, что двери будут открыты. Но никто не захочет. Не буду вдаваться в частности, но сюжет построен так, что держит зрителя в постоянном внимании, напряжении. А в общем — смотрите сами.





Эрик АМБЛЕР МАСКА ДИМИТРИОСА

Роман

Эрик Амблер родился в Лондоне в 1909 г. Окончив Лондонский университет, работал инженером.

Во второй половине 30-х годов написал несколько книг, которые сразу заставили о себе говорить. Работал сценаристом в Голливуде, причем один из его сценариев получил престижную премию «Оскар». В 50-х годах снова вернулся в литературу. Дважды получал высшую награду Ассоциации детективных писателей «Золотой кинжал».

Роман «Маска Димитриоса» вышел в свет в 1939 г. Творчество Амблера высоко ценили Реймонд Чандлер и Грэм Грин. Выдающийся кинорежиссер Альфред Хичкок написал предисловие к одноименнику Амблера, в котором назвал роман «Маска Димитриоса» «потрясающим».

Рисунок Петра Караченцова

Неправедный закон забвения властвует над людьми. Не соблаговолив сделать хотя бы запись в книгу вечности, судьба стирает след как достойных, так и недостойных, и даже о Мафусаиле известно только то, что он жил долго.

Сэр Томас Браун. «Гидриотафия» *

Наваждение начинается

Французский писатель Шамфор **, который, к сожалению, известен не так широко, как он того заслуживает, сказал, что провидение обычно выступает под кличкой «случай».

Этот афоризм, противоречивый, как и многие другие, предназначен скрыть тот неприятный факт, что случай играет важную, пожалуй, даже главенствующую роль во всех людских делах. Но не будем придирааться к писателю. Безусловно, стечение обстоятельств часто выглядит как непонятная, запутанная цепь причин и следствий, которую мы принимаем за вмешательство провидения.

Пусть же наш рассказ послужит тому примером.

Чарльз Латимер, окончив университет, десять лет преподавал политэкономии. К тридцати пяти годам он стал автором трех научных книг. Первая была посвящена влиянию Прудона на общественную мысль Италии XIX века, вторая называлась «Готская программа 1875 года», в третьей разоблачалась экономическая подоплека книги Розенберга «Миф XX века». Закончив работу над корректурой последней книги, он начал писать свой первый детективный роман в надежде побыстрее рассеять то мрачное впечатление, которое осталось у него после знакомства с философией национал-социализма и ее пророком доктором Розенбергом.

Тираж «Скверного дела» разошелся мгновенно. Вслед за первой книгой он написал еще три. Сразу после публикации последнего романа он тяжело заболел, а когда поправился, не долго думая написал заявление об уходе из университета и отправился в Грецию, чтобы погреться на солнце.

Он прожил в Афинах почти год. Здоровье его заметно улучшилось, и по совету одного из своих греческих знакомых он взял билет на пароход, идущий из Пирея в Стамбул.

Среди рекомендательных писем у Латимера было и письмо к некоей мадам Шавез, владевшей виллой на берегу Босфора. Приехав в Стамбул, он написал ей и получил в ответ приглашение погостить на вилле дня три-четыре.

Клонился к вечеру четвертый, последний день его пребывания на вилле мадам Шавез. Латимер сидел на увитой виноградом террасе и смотрел на поднимающуюся к вилле дорогу. Вдруг на дороге появился быстро мчавшийся автомобиль, оставлявший за собой облако пыли. Когда он въехал во двор виллы, открылась задняя дверца, и из машины выпрыгнул пассажир.

Он был строен и моложав. Слабый загар как-то особенно подчеркивал седину его волос, которые были подстрижены по-русски, в кружок. Узкое, с впалыми щеками лицо, походивший на клюв нос и тонкие губы придавали ему хищный вид. Ему, наверное, было уже за пятьдесят, и Латимер, отметив явно сшитый на заказ мундир, подумал: не может быть, чтобы он обходился без корсета.

Полковник Хаки, так звали офицера, сразу же понравился всем без исключения. Приняв смущенный вид и, по-видимому, пытаясь тем самым внушить гостям, что неожиданное появление полковника безнадежно ее компрометирует, мадам Шавез представила полковника собравшимся минут через пятнадцать после его прибытия. Полковник был сама галантность: улыбаясь и щелкая каблуками, он кланялся, целовал руки дамам, нахально их разглядывая при этом. Зрелище это настолько поразило Латимера, что он сначала не поверил своим ушам, когда было названо его имя. Полковник долго тряс ему руку.

— Чертовски рад встретить тебя здесь, старик, — сказал он.

* Сэр Томас Браун (1605—1682) — английский врач и писатель. (Прим. перев.)

** Себастьян-Рок Никола де Шамфор (1741—1794) — французский писатель-моралист, известный благодаря своей книге «Максимы и афоризмы». (Прим. перев.)

Журнальный вариант.

— Monsieur le Colonel parle bien anglais *, — пояснила мадам Шавез.

— Quelques mots **, — сказал полковник.

— Как поживаете? — спросил Латимер, глядя прямо в светло-серые глаза полковника.

— Ну, пока... лучше всех.

После ужина, когда гости сели играть в карты, полковник подошел к Латимеру и, взяв его под руку, увел на террасу.

— Вы должны меня простить, месье Латимер, — сказал он по-французски, — все эти дурачества с женщинами такая чепуха! Поверьте, я приехал сюда только ради того, чтобы поговорить с вами. Закуривайте, — сказал он, доставая портсигар.

— Благодарю.

— Пройдемте в тот конец. Когда мадам сказала, что вы у нее в гостях, я не смог побороть искушения побеседовать с писателем, книги которого я высоко ценю. Я получаю из Парижа все выходящие там полицейские романы. Между прочим, ничего другого я не читаю. Быть может, вы окажете мне честь пообедать со мной на этой неделе. Мне кажется, — заключил он таинственно, — я мог бы быть вам полезен.

Не очень-то понимая, о какой пользе идет речь, Латимер согласился. Они договорились встретиться в отеле «Пера-Палас» спустя три дня.

Полковник опоздал на двадцать минут и, появившись, тотчас рассыпался в извинениях.

— Давайте сразу выпьем виски с содовой, — сказал он, сев за столик, и приказал подать бутылку «Джонни».

Во время обеда он говорил только о прочитанных детективах: о том, что ему в них нравилось, об их героях, наконец, о том, что он предпочитает убийство из пистолета. Виски было допито, на десерт подали земляничное мороженое. Вдруг он, наклонившись к Латимеру, сказал:

— Мне кажется, месье Латимер, я мог бы помочь вам.

Еще до встречи у Латимера мелькнуло в голове дикое предположение: не предложит ли ему полковник сотрудничать с турецкой службой безопасности.

— Ну что же, буду вам очень благодарен.

— Вы не поверите, — продолжал полковник, — но у меня была мечта самому написать хороший полицейский роман. Я долго обдумывал его, но время... где взять время, вот в чем вся загвоздка.

Он многозначительно замолчал. Латимер подумал, сколько все-таки людей заблуждается насчет того, что, будь у них время, они непременно сочинили бы детектив.

— Сюжет у меня давно разработан, — сказал полковник, — и я буду рад отдать его вам — это мой подарок. Вы воспользуетесь им гораздо лучше, чем я.

Латимер пробормотал в ответ что-то весьма невразумительное.

— Дело происходит в Англии, — начал полковник, пристально глядя на Латимера, — в загородном доме одного богача, лорда Робинсона. На уик-энд в доме собрались гости. Вдруг кто-то обнаружил, что лорд Робинсон убит выстрелом из пистолета в висок. Рана, заметьте, контактная. Письменный стол залит кровью. Убийство произошло в тот момент, когда ему оставалось поставить подпись под своим новым завещанием, согласно которому все его имущество должно было после его смерти перейти в руки одного из родственников. По прежнему завещанию имущество лорда делилось поровну между шестью родственниками. Следовательно, — он поднял руку, в которой была десертная ложка, и ткнул ею в Латимера, — убийство совершено кем-то из пяти. Логично, не правда ли?

Латимер открыл рот, хотел что-то сказать, но не нашелся и только кивнул головой. На лице полковника сияла торжественная улыбка.

— Вот тут-то и зарыта собака... Дело в том, что никто из подозреваемых к убийству не причастен. Лорда убил дворецкий, потому что тот совратил его жену! Ну как мой сюжет?

— Весьма изобретательный.

Откинувшись на спинку кресла, полковник самодовольно улыбался, разглаживая складку на рукаве кителя.

— Я рад, что вы оценили этот поворот сюжета. Он у меня проработан во всех деталях. Конечно, есть и полицейский комиссар из Скотланд-Ярда. Он, между прочим, соблазнил одну из подозреваемых, очень красивую женщину, и ради ее спасения занимается расследованием убийства. Да, кетати, я изложил все на бумаге.

* — Месье полковник хорошо говорит по-английски (фр.).

** — Знаю несколько слов (фр.).

— Вы так меня заинтересовали, — сказал Латимер вполне искренне, — что я хочу почитать ваши заметки.

— Я ждал, что вы это скажете. Как у вас со временем?

— В общем-то мне спешить некуда.

— Тогда давайте заглянем ко мне в офис, и я покажу вам рукопись.

Секунду-другую Латимер раздумывал, принимать или не принимать приглашение. Все-таки увидеть своими глазами кабинет полковника было очень заманчиво. Он сказал:

— Я готов следовать за вами.

Офис полковника помещался на верхнем этаже здания, напминавшего с виду дешевую гостиницу. Пройдя длинный коридор, они оказались в большой комнате. Полковник, показав жестом на кресло и на пачку сигарет, стал рыться в ящиках письменного стола. Достав оттуда несколько отпечатанных на машинке листов бумаги, он протянул их Латимеру.

— Я назвал эту вещь «Залитое кровью завещание», но, наверное, можно придумать что-нибудь и получше. К сожалению, все хорошие названия уже давно использованы.

Латимер стал читать рукопись. Полковник, сидя на краешке письменного стола, качал ногой. Дважды прочитав рукопись, Латимер, хоть это было ужасно бессовестно, с трудом удержался, чтобы не расхохотаться.

— Сейчас трудно сказать что-нибудь определенное... — начал он, медленно растягивая слова.

— Да-да, конечно. — Полковник слез со стола и сел в кресло. — Но вам, наверное, это может пригодиться?

— Не знаю, как и благодарить вас, — сказал Латимер, не найдя ничего лучшего.

— Какие пустяки. Пришлите мне экземпляр, когда книга выйдет из печати. — Он взялся за телефон. — Сейчас я скажу, чтобы вам отпечатали копию.

У Латимера чуть было не вырвался вздох облегчения. Слава Богу, это не займет много времени. Поговорив с кем-то по телефону, полковник сказал:

— Простите, но мне придется заняться делами.

— Не беспокойтесь, я подожду.

Достав толстую папку из манильской бумаги, полковник начал перебирать содержащиеся в ней документы. Какой-то из них его явно заинтересовал. В дверь постучали, и в комнату вошел секретарь, держа под мышкой тоненькую желтую папку, которую он вручил полковнику. Тот, сказав что-то потурецки, отдал ему рукопись, и секретарь, щелкнув каблучками, удалился. В комнате воцарилось молчание.

Латимер курил и от нечего делать разглядывал полковника. Тот перелистывал бумаги в желтой папке и так углубился в свои мысли, что Латимер не мог не заметить происшедшую в нем перемену: теперь за столом сидел специалист, мастер своего дела. Он чем-то напоминал старого кота, наблюдающего за маленькой, неопытной мышкой. В этот момент полковник, оторвавшись от бумаг, посмотрел на Латимера.

— Я думаю, месье Латимер, вам будет небезынтересно познакомиться с настоящим убийцей.

Досье Димитриоса

Латимер почувствовал, что его лицо заливают краски. Несколько минут назад он с усмешкой профессионала разглядывал полковника, но оказалось, что он всего лишь неопытный любитель. Ему хотелось под землю провалиться.

— Да я бы, — начал он медленно, — не прочь.

— Видите ли, месье Латимер, — криво усмехнувшись, сказал полковник, — убийца в полицейском романе в отличие от настоящего убийцы никогда не производит отталкивающего впечатления. И труп, и подозреваемые, и всеведущий детектив — в романе все должно выглядеть художественно. Только вот беда, настоящий убийца так не выглядит. Это говорю вам я, тоже в какой-то мере полицейский. — Он похлопал ладонью по лежащей перед ним желтой папке. — Это досье настоящего убийцы. Заведено двадцать лет назад. Об одном совершенном им убийстве нам известно доподлинно. Что касается других — нет никакого сомнения, что они были, — но о них мы ничего не знаем. Это трус и подлец, на счету которого — убийства, шпионаж, наркотики. Мало того, он дважды участвовал в подготовке покушений на известных лиц. Оба раза сумел улизнуть, да так, что мы даже не знали, как он выглядит, — в досье нет его фотографии. Хотя нам-то он хорошо известен, да и не только нам: знают его и София, и Белград, и Париж, и Афины. Он был великий путешественник.

— Можно подумать, что с ним покончено.

— Да, он мертв. Его тело вытащили вместе с сетями рыбаки вчера ночью. Вероятно, он был убит ударом ножа и выброшен в Босфор с какого-нибудь судна.

Он пододвинул к себе желтую папку и сказал:

— Итак, Димитриос Макропулос. Кстати, так и не удалось установить, подлинная это фамилия или псевдоним. Родился в Греции, в 1889 году. Младенцем был найден на улице. Родители неизвестны; полагают, что мать румынка. Был усыновлен какой-то семьей. По паспорту — грек. Еще в Греции привлекался к уголовной ответственности, но детали, к сожалению, неизвестны. — Полковник оторвался от папки и поглядел на Латимера. — Все это произошло до того, как мы обратили на него внимание. Нам он стал известен по делу об убийстве менялы Шолема, еврея, принявшего мусульманство. Это произошло в Измире в 1922 году, когда город был занят нашими войсками. Меняла прятал деньги у себя дома под половицами. Кто-то перерезал ему горло бритвой, взломал половицы и забрал деньги. Грабежи и убийства во время войны не редкость, но кто-то из родственников Шолема указал коменданту города на негра по имени Дхрис Мохаммед, который сорил деньгами в кафе и хвастался, что теперь, мол, долги отдавать не надо. Негра арестовали, и, поскольку его объяснения были сочтены неудовлетворительными, военно-полевой суд признал его виновным и приговорил к смертной казни через повешение. После приговора он заявил, что, работая на плантации, где собирают инжир, познакомился с неким Димитриосом, который подговорил его убить менялу. Ночью они пришли к нему в дом, и Димитриос зарезал Шолема. Греки пытались бежать на судах, которые стояли в гавани. Очевидно, вместе с ними бежал и Димитриос. Никто, конечно, этому не поверил. Между Грецией и Турцией шла война, и рассказ негра был воспринят как попытка избавиться от петли. Впрочем, среди работавших на плантации был грек по имени Димитриос. Его, кстати, очень не любили другие рабочие, но его так и не нашли. Да и что тут удивительного, если трупы таких димитриосов валялись небрежными на улицах или плавали в гавани! Короче говоря, негра казнили.

Полковник замолчал. Латимер был поражен тем, что тот ни разу не заглянул в бумаги.

— Просто удивительно — вы знаете все факты наизусть, — сказал Латимер.

— Я был председателем военно-полевого суда. — И полковник опять невесело усмехнулся. — Именно благодаря этому мне удалось разобрать почерк Димитриоса и в других делах. Год спустя я был переведен в органы безопасности. В 1924 году мы раскрыли заговор против газа. Группа религиозных фанатиков покушалась на его жизнь, потому что он незадолго перед этим уничтожил халифат. Разумеется, за этим стояли также «дружественные» нам правительства соседних стран. Не буду утомлять вас деталями, скажу только, что среди агентов, которым удалось бежать, был и Димитриос.

— А что произошло с этим Димитриосом дальше? Каков конец этой истории?

Щелкнув пальцами, полковник сказал:

— Ага! Я ждал, когда вы зададите этот вопрос. И вот мой ответ: у нее нет конца!

— Расскажите же, что было дальше?

— Хорошо. Выяснилось, что грек из Измира Димитриос (кстати, это все, что о нем стало известно софийской полиции) проходил по делу о покушении на премьер-министра Болгарии Стамболийского. Между прочим, вскоре после покушения, в том же 1923 году, разразился путч македонских офицеров. Полиция рассказала о Димитриосе женщина, с которой он был связан. После его исчезновения она получила от него открытку, отправленную из Эдирне. Словесный портрет, полученный софийской полицией, совпадал с описанием Димитриоса, данным Дхрисом Мохаммедом.

Спустя два года мы получили запрос югославской полиции о гражданине Турции по имени Димитриос Талат, разыскиваемом полицией по обвинению в грабеже. Однако один из наших агентов в Белграде сообщил, что на самом деле речь идет о документах, похищенных из военно-морского министерства, и что Талат обвиняется в шпионаже в пользу Франции. На основании словесного портрета, полученного от белградской полиции, можно было предположить, что это уже известный нам Димитриос из Измира. Примерно в то же самое время нашему консулу в Швейцарии попал в руки паспорт, срок действия которого требовалось продлить. Паспорт был выдан в Анкаре на имя некоего Талата. Это одна из

самых распространенных турецких фамилий. Однако в списке паспортов, выданных в то время, паспорта с таким номером не оказалось. Естественно, это была подделка. — Полковник развел руками. — Вам все ясно, месье Латимер? Вот такой сюжет. Совершенно бессвязный и малохудожественный. Детектива из него не получится, потому что нет ни мотивов, ни подозреваемых — одна грязь.

— И тем не менее он представляет интерес, — возразил Латимер. — Что все-таки произошло с этим Талатом дальше?

— Хотите, значит, узнать, чем все это кончилось, месье Латимер? Про Талата мы больше ничего не слышали. Видимо, паспорт ему больше не потребовался. Но это уже не имеет значения. Теперь Димитриос в наших руках. Жаль, конечно, что только труп, но и это не так уж плохо.

— Вы говорили что-то о наркотиках.

— Ах, да. — Беседа, видимо, начала утомлять полковника. — Димитриос заработал на наркотиках кучу денег. В 1929 году Консультативный кабинет при Лиге Наций по борьбе с контрабандой наркотиков получил меморандум французского правительства, в котором говорилось о захвате полицией большого количества героина на границе со Швейцарией. Полиция устроила засаду и арестовала шестерых человек. Все они принадлежали к одной организации, занимавшейся поставкой наркотиков, а во главе ее стоял человек по имени Димитриос. Судя по количеству захваченного героина, этот человек ворочал миллионами. В конце 1931 года полиция получила анонимное письмо, в котором приводился полный список членов организации и данные о каждом из них, а также сообщались улики, благодаря которым их можно было арестовать. Полиция считала, что это письмо написано самим Димитриосом, который решил таким образом со всем этим развязаться. Как бы там ни было, но в декабре 1931 года вся банда была уже за решеткой. Большинство дало показания: руководитель этой организации, оказывается, спокойно проживал под фамилией Макропулос в 17-м округе Парижа. Разумеется, ни квартиру, ни самого Димитриоса полиции так и не удалось найти.

В комнату вошел секретарь и остановился возле стола.

— Ага, — сказал полковник, — уже отпечатали. Берите, месье Латимер, она ваша.

Латимер, поблагодарив, взял рукопись и, не удержавшись, спросил:

— Больше о Димитриосе вы уже ничего не слышали?

— Спустя примерно год в Югославии на одного политического лидера было совершено покушение. Покушавшийся утверждал, что пистолет он получил в Риме от человека по имени Димитриос. Как видите, этот грязный тип вернулся к своему старому ремеслу.

— Вы говорили, что в досье нет фотографии. Как вы установили, что это его труп?

— За подкладкой пиджака было зашито удостоверение личности, выданное год назад лионской полицией на имя Димитриоса Макропулоса, человека без определенных занятий. Трудно сказать, что это значит, но, разумеется, там есть его фотография. Французский консул утверждает, что удостоверение подлинное.

Полковник отложил в сторону желтую папку и встал.

— Завтра должно состояться дознание, поэтому мне надо обязательно побывать в морге. Я могу подвезти вас до отеля.

Всю дорогу полковник расписывал достоинства «Залитого кровью завещания». Латимер заверил его, что непременно напишет, как будет двигаться работа над книгой. Они обменялись рукопожатием, и Латимер, открыв дверцу, собирался уже выйти из машины, как вдруг что-то остановило его. Волнуясь, он сказал:

— Извините, полковник. Вероятно, моя просьба покажется вам странной, но мне хочется увидеть своими глазами труп этого человека, Димитриоса. Не могли бы вы взять меня с собой? Дело в том, что я никогда в жизни не видел убитого и не был в морге. Вот пишу детективы, а ничего такого не видел — я думаю, надо обязательно посмотреть.

— Дорогой мой, — лицо полковника прояснилось, — разумеется, надо. Кто же пишет о том, чего он никогда не видел. — Он что-то сказал шоферу, и они поехали дальше. — Быть может, мы вставим сцену в морге в вашу новую книгу. Надо будет все хорошенько обдумать.

Морг представлял собой небольшое здание из рифленого железа во дворе полицейского участка недалеко от мечети Нури Османа. Их уже дожидался полицейский и, когда они вышли из машины, повел через двор к моргу. Солнце так нагрело бетонные плиты двора, что Латимеру вдруг расхоте-

лось глядеть на убитого, лежащего внутри раскаленной железной коробки.

Полицейский отпер дверь, и они вошли внутрь. У Латимера было такое ощущение, будто его сунули в печь. Ужасно воняло карболкой. Полковник шел впереди. Латимер, сняв шляпу, — за ним следом.

Под низким потолком висела мощная электрическая лампочка, бросавшая вниз ослепительно яркий конус света. Справа и слева от прохода стояли четыре высоких стола. Три из них были накрыты брезентом, под которым что-то лежало. Латимер почувствовал, как по его спине и ногам побежали ручейки пота.

— Ну и жара, — сказал он.

— Им теперь все равно, — сказал полковник, кивнув в сторону столов, покрытых брезентом.

Полицейский подошел к первому из этих столов и сдернул брезент. Полковник сделал два шага и склонился над столом. У Латимера ноги будто приросли к полу, но он заставил себя сделать три шага.

На столе лежал невысокий плечистый человек, которому на вид было лет пятьдесят. Латимер с трудом различал черты его лица — они сливались в одну желто-серую массу с торчащими над ней черными с проседью волосами. Возле ног лежала кучка белья: рубашка, носки, подштанники, цветастый галстук, костюм из голубой саржи, поблекший от морской воды. Рядом стояли сильно покоробившиеся узконосые туфли. Никто не догадался закрыть мертвецу глаза, и было неприятно видеть бессмысленно вытаращенные белки. Нижняя челюсть отвалилась, щеки обвисли, толстые губы оттопырились, и Латимер подумал, что он представлял себе Димитриоса совсем иначе. Тот, чей труп лежал на столе, вряд ли был умным человеком, скорее всего рабом своих страстей и привычек. Но ведь лицо умершего сильно меняется...

— По словам доктора, убит ударом ножа в солнечное сплетение, — сказал полковник, — вероятно, был уже мертв, когда его сбросили в воду.

— Интересно, откуда одежда, которая была на нем?

— Костюм и туфли куплены в Греции, все остальное из Лиона, из самых дешевых магазинов.

Латимер никак не мог отвести взгляд от того, что лежало на столе. Итак, перед ним труп Димитриоса, того самого Димитриоса, который когда-то перерезал глотку мясному Шолему. Затем участвовал в покушениях, занимался шпионажем, контрабандой наркотиков и, наконец, был убит так же хладнокровно, как сам убивал других. Одиссея закончилась: Димитриос вернулся в страну, из которой бежал почти двадцать лет назад.

А Европа за эти годы, пережив лихорадку надежд, снова стояла на пороге войны. Сколько за эти годы сменилось правительств, сколько было произнесено речей, сделано предложений! Для многих это были годы изнурительного труда, голода, расстрелов и пыток, годы непрестанной борьбы. Отчаяние сменялось надеждой, люди вдыхали аромат иллюзий, а тем временем токарные станки вытачивали новое оружие. И в это же двадцатилетие припеваючи жил Димитриос, страшный человек, труп которого лежал сейчас в море. В беспощадном свете лампы труп этот почему-то вызывал у Латимера жалость — любая смерть подчеркивает наше одиночество.

Между прочим, у Димитриоса было много денег, очень много. Куда они подевались? Как пришли, так и ушли? Но вряд ли Димитриос был из тех, кто легко расстаётся с награбленным. Да и что в конце концов известно о нем? Жалкие обрывки информации, причем о промежутках в три-четыре года в досье вообще ничего не говорится. Да, досье перечисляет его установленные преступления, но ведь преступлений должно быть больше и наверняка гораздо более тяжких. Латимеру очень хотелось представить, как Димитриос сидит, как ходит или ест. В Лионе он был год назад, а что было потом? И как он оказался на Босфоре, где его настигла Немезида?

Конечно, полковник Хаки сказал бы, что все эти вопросы к делу не относятся, поскольку, с точки зрения профессионала, дело было закончено. Но ведь остались же, наверное, в живых люди, знавшие Димитриоса: его друзья (есть ли у таких, как он, друзья?), его враги; те, кто с ним встречался в Смирне, в Софии, в Белграде, в Эдирне, в Париже, в Лионе. Да, вероятно, по всей Европе были рассеяны люди, знавшие его. Если с ними встретиться и расспросить, то составится своеобразная биография Димитриоса.

Сердце у Латимера так и подпрыгнуло. Ну что за дурацкая

идея! Придет же такое в голову! А впрочем, если начинать, то, конечно, сначала надо съездить в Смирну и уже оттуда пройти путь этого человека, пользуясь досье. Получилось бы самое настоящее расследование. Едва ли удастся найти новые факты, но ведь сам процесс поиска мог быть захватывающе интересным. Гораздо интереснее той нуды, которой занимаешься, когда сочиняешь детективы. С другой стороны, только совершенно спятивший человек способен на такой шаг. Но ведь идея сама по себе очень заманчива, и если говорить честно, то в Стамбуле он изнывает от скуки...

В этот момент Латимер поймал взгляд полковника, который, поморщившись, сказал:

— Жара, да еще этот запах — просто невыносимо. Ну как, вы удовлетворили свое любопытство?

Латимер кивнул. Он обратил внимание, что полковник как-то странно смотрел на труп, точно это была подделка, сделанная им собственноручно, которую придется теперь здесь оставить. Вдруг он протянул руку и, схватив труп за волосы, посмотрел ему прямо в лицо.

— Большой был мерзавец, — сказал он. — Странная все-таки штука — жизнь. Знаю его почти двадцать лет, но только сейчас встретились лицом к лицу. Жаль, что от мертвых ничего не добьешься.

Он разжал пальцы, и голова с глухим стуком ударилась о стол. Полковник достал из кармана носовой шелковый платок и тщательно вытер пальцы правой руки.

— Чем скорее его закопают, тем лучше, — сказал он и пошел к выходу.

Год 1922-й

На рассвете 26 августа 1922 года турецкая национально-освободительная армия под командованием Мустафы Кемаль-паши атаковала позиции греческих войск вблизи Думлу-Пунар, в двухстах милях восточнее Смирны. Вечером того же дня разгромленная греческая армия начала отступление на запад, к Смирне. В последующие дни отступление превратилось в беспорядочное бегство. Греки вымещали горечь поражения на турецких мирных жителях: от Алашехра до Смирны дымились развалины, под которыми были погребены старики, женщины и дети. В ряды турецкой армии вливались анатолийские крестьяне, горевшие желанием отомстить грекам за причиненные ими страдания. Трупы турецких мирных жителей стали чередоваться с трупами зверски замученных греческих солдат. Но главным частям греческой армии все-таки удалось бежать на кораблях, стоявших в порту Смирны. 9 сентября 1922 года турецкие войска захватили Смирну.

За эти две недели в городе, в основном населенном греками и армянами, скопилось огромное число беженцев, которые стекались в Смирну, полагая, что греческие войска будут защищать город. Но Смирна оказалась для них ловушкой.

В руки турок попал список членов Армянской лиги обороны Малой Азии, и в ночь на 10 сентября кварталы города, в которых проживали армяне, были заняты вооруженными отрядами. Они должны были найти и уничтожить членов этой организации. Разумеется, было оказано сопротивление, что послужило сигналом к всеобщей резне. В город ввели войска, которые начали методически истреблять население нетурецких кварталов, не щадя ни стариков, ни детей, ни женщин. Людей вытаскивали из домов, из подвалов и чердаков, где они прятались, и убивали прямо на улице. Церкви, в которых многие пытались найти убежище, обливали бензином и поджигали. Тех, кто пытался бежать из огненного кольца, закалывали штыками. Огонь вскоре перекинулся дальше, и город запылал.

Потом ветер вдруг переменялся, и та часть города, в которой жили турки, оказалась вне опасности. Все остальное, за исключением железнодорожной станции и нескольких домов возле нее, было охвачено пожаром. Несмотря на это, убийства продолжались. Войска, оцепившие город, расстреливали каждого, кто пытался вырваться из этого ада. Говорят, некоторые особенно узкие улочки были так забиты трупами, что к ним долгое время нельзя было подступиться из-за страшного зловония. Многие пытались спастись вплавь, добравшись до стоящих на рейде кораблей. Стена огня гнала этих несчастных в воду. Говорят, крик стоял такой, что его слышно было на расстоянии двух-трех миль. Утром 15 сентября резня и пожар прекратились. Всего за эти дни погибло сто двадцать тысяч человек. Так гяур Измир (неверная Смирна) расплатилась, по мнению турок, за свои грехи.



Еще в поезде Латимер пришел к неопровержимому выводу, что поступил как последний дурак. Во-первых, ему следовало обратиться с просьбой к полковнику Хаки, потому что без его помощи доступ к материалам военного суда над Дхрисом Мохаммедом весьма и весьма проблематичен. Во-вторых, он знал по-турецки всего несколько простых фраз, и даже если бы эти материалы каким-то образом попали в его руки, он не смог бы их прочесть. Короче говоря, отправившись на охоту за призраком (что было нелепой затеей само по себе), он, так сказать, прибыл на место охоты с голыми руками, что уже свидетельствовало об идиотизме охотника.

Если бы не превосходный отель, в котором он поселился, не чудесный вид на залив и выгоревшие под солнцем холмы (их цвет, напоминавший цвет солдатской гимнастерки, прекрасно гармонировал с цветом моря), да не предложенная самим хозяином отеля, французом, бутылка сухого «Мартины», Латимер, недолго думая, вернулся бы обратно в Стамбул. Так уж и быть, решил он, черт с ним, с этим Димитриосом, побуду в Смирне денек-другой, и стал распаковывать чемоданы. А на другой день, недовольно пожав плечами, он отправился к хозяину отеля и попросил его найти хорошего переводчика.

Федор Мышкин, маленький, заносчивый человек с толстой, сильно отвисшей нижней губой, начинавшей дрожать, когда он волновался, имел на набережной небольшой офис, обслуживающий капитанов торговых судов и их помощников. Он переводил для них деловые документы, а если требовалось, то был и личным переводчиком. Этим он зарабатывал на жизнь после того, как бежал из Одессы от большевиков в 1919 году. Как ядовито заметил хозяин отеля, этот бывший меньшевик повсюду говорил о своей любви к Советам, однако не спешил возвращаться на родину. Ничтожная личность, быть может, подумаете вы. Тем не менее переводчик он был, безусловно, отличный.

Он разговаривал с Латимером тонким писклявым голосом на очень хорошем английском, правда, часто совершенно не к месту употреблял жаргон.

— Если вам что-нибудь нужно, — сказал он, почесываясь при этом, — вы только намекните, и это обойдется вам дешевле дерьма.

— Я хочу просмотреть архивные записи об одном греке, бежавшем отсюда шестнадцать лет назад, в сентябре 1922 года, — сказал Латимер.

От удивления брови у Мышкина полезли вверх.

— В 1922 году? — Он рассмеялся и провел пальцем по щеке. — Да их тогда столько здесь исчезло, что и не сосчитать. Страшное дело, сколько тут турки выпустили греческой крови!

— Этот человек спасся на одном из судов. Звали его Димитриос.

— Димитриос? — вдруг вытаращил глаза Мышкин.

— Да.

— В 1922 году?

— Да-да. — Сердце у Латимера вдруг замерло. — Почему вы так спрашиваете? Вы что-нибудь знаете о нем?

Мышкин, кажется, хотел что-то сказать, но, передумав, отрицательно качнул головой.

— Нет. Я просто подумал, что это очень распространенное имя. Разрешение на просмотр архивов у вас имеется?

— Нет, но я надеялся, что благодаря вашим советам и помощи я смогу его получить. Мне известно, что вы занимаетесь переводами. Я готов хорошо вас отблагодарить.

— Я с удовольствием помогу вам и сегодня же поговорю с одним приятелем. Напрямую говорить с полицией стоило бы кучу денег, полиция — это страшное дело. Кстати, я очень люблю помогать своим клиентам.

— Вы очень добрый человек.

— Ну, какие пустяки. — В лице его вдруг появилось какое-то отсутствующее выражение. — Просто мне нравятся англичане. Они умеют вести дела. Они не базарят, как эти чертовы греки, и всегда платят столько, сколько с них просят. Если нужен задаток, о'кей, дают задаток. Честная игра — вот их принцип, а это всегда приводит к взаимному удовольствию. Для таких людей стараешься все сделать в самом лучшем виде...

— Сколько? — перебил его Латимер.

— 500 пиастров.

Мышкин старался изобразить детскую неопытность в такого рода делах. В лице его появилось грустное выражение художника, который просит явно меньше, чем на самом деле стоит его работа.

Латимер подумал о том, что пятьсот пиастров, если перевести на английские деньги, не составят и фунта стерлингов, но, заметив, как блеснули глаза его собеседника, когда он назвал эту сумму, непреклонным тоном сказал:

— Двести пятьдесят.

В конце концов сошлись на трехстах (из них пятьдесят — приятелю). Отдав Мышкину задаток в сто пятьдесят пиастров, Латимер ушел. Выйдя на набережную, он похвалил себя за проделанную работу: уже завтра вечером ему будет известен результат переговоров.

На другой день Латимер ужинал в ресторане, потягивая аперитив, когда к нему привели запыхавшегося Мышкина. С того градом лил пот, отдуваясь, он повалился в кресло.

— Ну и денек! Ну и жара! — выпалил он.

— Принесли?

Мышкин, кивнув, устало закрыл глаза. С какой-то болезненной гримасой на лице он сунул руку во внутренний карман пиджака и достал оттуда сложенные пополам листы бумаги, соединенные скрепкой. Насмешливый Латимер подумал, что он похож на дипкурьера, который умер сразу же после вручения депеши.

— Что будете пить? — спросил он.

Слова эти произвели на Мышкина действие живой воды: он встрепенулся и сказал:

— Полагаюсь на ваш вкус, но я бы предпочел абсент.

Подозвав официанта, Латимер сделал заказ и стал просматривать бумаги. Всего здесь было двенадцать написанных рукой Мышкина листов. Латимер полистал их и взглянул на Мышкина. Тот, допив абсент, разглядывал рюмку. Поймав на себе взгляд Латимера, он сказал:

— Абсент уже тем хорош, что дает ощущение прохлады.

— Может быть, выпьете еще?

— Если вы не против, — сказал он и, показав пальцем на бумаги, спросил: — Ну как? У вас есть сомнение в их подлинности?

— Ни малейшего. Однако есть некоторые сомнения по поводу дат происходивших событий. Кроме того, нет свидетельства врача о том, в какое время было совершено убийство. Что касается показаний свидетелей, то они мне показались весьма шаткими, так как ни одно из них не доказано.

— А что тут доказывать? — удивился Мышкин. — Совершенно очевидно, что негр виновен, что следовало его повесить.

— Пожалуй. Если вы не возражаете, я немного почитаю.

Мышкин пожал плечами и подозвал официанта. На лице его сияла блаженная улыбка.

Заявление, сделанное Дхрисом Мохаммедом в присутствии начальника охраны и его помощников:

«В Коране говорится, что ложь никому не приносит пользы. Вот почему я хочу засвидетельствовать свою невиновность, хочу рассказать всю правду, как она есть, ибо я правдивый. Нет бога, кроме Аллаха.

Не я убил Шолема, повторяю — не я. Сейчас я не буду больше лгать и все объясню. Его убил не я, его убил Димитриос.

Когда я расскажу вам о Димитриосе, вы мне поверите. Димитриос по национальности грек. Но он говорит, что он правдивый, потому что записан в паспорте как грек по национальности его приемных родителей, а на самом деле он правдивый. Димитриос работал вместе с нами — мы собирали инжир. Все его ненавидели за злой язык и постоянную готовность взяться за нож. Я люблю всех людей, как братьев, и потому я иногда разговаривал с Димитриосом во время работы, в том числе и о делах веры, и он меня слушал.

И вот, когда к городу подошла победоносная армия правдивых и греки стали спасаться бегством, ко мне домой пришел Димитриос и попросил спрятать его. Я спрятал его у себя в доме, потому что верил, что он правдивый. Он прятался у меня и тогда, когда наша армия заняла город, а когда выходил на улицу, то одевался, как турок. Однажды он рассказал мне, что у еврея Шолема много денег и золота и что он прячет их у себя дома. Пришло время, сказал он, рассчитаться с теми, кто оскорблял Аллаха и Магомета, пророка его. Эта еврейская свинья, сказал он, прячет под полом деньги, которые она награбила у правдивых. И он предложил мне пойти вместе с ним и, связав Шолема, взять его деньги.

Я сначала испугался, но он убедил меня, сказав, что в Коране говорится: кто борется за дело Аллаха, непременно получит награду, независимо от того — победит или потерпит поражение. Вот я и получил свою награду — меня скоро повесят, как собаку.

Послушайте, что было дальше. Ночью, после комендантского часа, мы пришли к дому, где жил Шолем, и поднялись на крыльцо. Дверь была заперта. Тогда Димитриос стал стучать в нее ногами и кричать, чтобы Шолем открыл нам, потому что мы патруль, который ищет беглеца. Когда Шолем, открыв дверь, увидел нас, он воскликнул: «Аллах!», и попытался закрыть дверь. Но Димитриос ворвался в дом и, схватив Шолема за руки, приказал мне искать половицу, под которой лежат деньги. Он же, вывернув старику руки, оттащил его на кровать и придавил коленом.

Я быстро нашел выдвигающуюся половицу и пошел сказать об этом Димитриосу. Он стоял спиной ко мне, упершись коленом в спину Шолема, которому он обмотал голову одеялом, чтобы заглушить его крики о помощи. Димитриос говорил мне, что он свяжет его, и взял для этого веревку. Когда он достал нож, я подумал, что он хочет отрезать кусок веревки, но вместо этого он полоснул Шолема ножом по шее.

Фонтан крови брызнул из раны, и Шолем упал вверх лицом. Димитриос, отойдя от кровати, наблюдал за ним, потом обернулся ко мне. Я спросил, зачем он это сделал, и он сказал, что так было надо, потому что Шолем все равно пошел бы в полицию и нас выдал. Кровь с бульканьем текла из раны, но Димитриос сказал, что меняла уже мертв. Потом мы разделили деньги между собой.

Димитриос сказал, что нам лучше выйти из дома порознь. Я очень боялся, что он убьет меня, ведь у него был нож, а у меня не было. Я так и не понял, зачем я ему вообще понадобился. Он сказал мне, что ему нужен помощник, который будет искать деньги, пока он станет вязать Шолема. Но он, наверное, с самого начала задумал убить ростовщика и, значит, мог бы взять все деньги один. Однако деньги мы разделили поровну. Он ушел первым. На прощание он мне улыбнулся. Наверное, он бежал, договорившись заранее с капитаном, на одном из греческих судов, которые подбирали беженцев.

Теперь-то я понимаю, почему он улыбался, когда уходил. Он знал, что такие глупцы, как я, получив тугу набитый кошелек, становятся безмозглыми дураками. Он знал — да покарает его Аллах! — что, предаваясь греху пьянства, я забудусь, и мой язык выдаст меня. Верьте мне, я не убивал Димитриоса. (Следовал поток ругательств.) Именем Аллаха и Магомета, пророка его, клянусь, что говорю правду. Аллах милосердный, прости меня».

Далее было написано, что в связи с неграмотностью осужденного под заявлением стоит отпечаток большого пальца его правой руки. Затем осужденный ответил на вопросы.

«Когда его попросили рассказать о том, как выглядит Димитриос, негр сказал, что он похож на грека, но ему кажется, что он не грек, потому что Димитриос ненавидит своих соотечественников. Ростом он помельше его, Дхриса Мохаммеда. Волосы у него длинные и прямые. Лицо спокойное, он почти всегда молчит. Глаза у него карие, с опущенными веками, поэтому он выглядит усталым. Его очень многие боятся, но он, Дхрис Мохаммед, не понимает, почему это происходит, ведь Димитриос совсем не силач, и он мог бы с ним легко справиться один». Здесь следовало примечание, что рост Дхриса Мохаммеда 185 сантиметров...

Однажды друг Латимера, палеонтолог, по нескольким окаменелым остаткам полностью восстановил скелет животного. Работа продолжалась два года, и Латимера поразило несгибаемое упорство друга. Сейчас его энтузиазм стал Латимеру более понятен, потому что перед ним стояла в каком-то смысле похожая задача: используя то немногое, что имелось в показаниях, создать портрет Димитриоса. Несчастный негр, попав в его руки, уже не смог вырваться из этого капкана. Димитриос воспользовался его ограниченностью, его религиозным фанатизмом, наконец, его жадностью. «Мы разделили деньги поровну. Уходя, он улыбнулся. Он не пытался убить меня». Этот негр, который мог с ним легко справиться, не догадывался, почему Димитриос улыбается, а когда наконец догадался, было уже поздно. Да, карие с опущенными веками глаза Димитриоса видели Дхриса Мохаммеда насквозь.

Латимер сложил бумаги и, сунув их во внутренний карман пиджака, посмотрел на Мышкина:

— Я вам должен еще сто пятьдесят пиастров.

— Правильно,— сказал Мышкин, допил третью рюмку абсента и, поставив рюмку на стол, взял у Латимера деньги.— Вы мне очень нравитесь,— сказал он с самым серьезным видом,— в вас нет даже следа снобизма. Давайте с вами еще выпьем, но теперь заказывать буду я. Идет?

Латимеру очень хотелось есть. Посмотрев на часы, он сказал:

— Мне будет очень приятно, но давайте сначала поужинаем.

— Прекрасно! — Мышкин почему-то поднялся из кресла — причем далось это ему с трудом — и, сверкнув глазами, повторил: — Прекрасно!

Мышкин уговорил Латимера пойти в другой ресторан, где подавались только блюда французской кухни. В ресторане было полно народа и очень сильно пакурено. Публика состояла из трех морских и по меньшей мере двух десятков армейских офицеров, каких-то очень неприятных на вид гражданских и всего двух дам. В углу оркестр из трех музыкантов играл фокстрот.

Официант провел их к свободному столику. Они уселись в красные плюшевые кресла, от которых, как показалось Латимеру, нехорошо пахло. Взяв в руки меню, Мышкин после недолгого раздумья выбрал самые дорогие блюда.

Вино было сладким, как сироп, и почему-то отдавало резиной. Мышкин начал рассказывать Латимеру свою историю. 1918 год, Одесса. 1919 год, Стамбул. 1921 год, Смирна. Большевики. Армия Врангеля. Киев. Женщина, которую называли мясником. Бойни использовались как тюрьмы, потому что тюрьма стала бойней. Ужасная, неслыханная жестокость. Оккупация союзными войсками. Англичане играют в футбол. Американская помощь. Клопы. Тиф. Пулемет Векерса. Греки, о Боже правый, эти греки! Обыски — ищут, нет ли где спрятанных золота и драгоценностей. Кемалисты.

Клубился сигаретный дым. Мягкий свет падал на красный плюш, отражаясь в пыльных зеркалах с тусклой позолотой. Аметистовые сумерки давно уже сменила черная ночь. Официант подал вторую бутылку вина. Латимер начал клевать носом.

— И вот теперь, после всего этого безумия, куда мы пришли? — вдруг выкрикнул Мышкин.

Его английский постепенно становился все менее и менее понятен. Нижняя губа отвисла и дрожала от избытка чувств. В таком состоянии пьяницы всегда начинают философствовать, подумал Латимер.

— Где мы теперь? — выкрикнул Мышкин опять и стукнул кулаком по столу.

— В Смирне,— ответил Латимер и вдруг почувствовал, что и сам уже сильно нагрузился.

Мышкин возмущенно замотал головой.

— Да нет. Мы постепенно спускаемся в чертов ад,— заявил он.— Вы не марксист?

— Нет.

— И я нет,— наклонившись вперед, сказал Мышкин шепотом, точно это был большой секрет. Он схватил Латимера за рукав.— Я — жулик.

— Неужели?

— Да,— и слезы потекли у него по щекам.— Я ведь, черт меня побери, надул вас.

— Как вам это удалось?

Мышкин начал рыться в карманах.

— Мне нравится, что вы не сноб. Возьмите обратно ваши пятьдесят пиастров.

Слезы текли по его лицу и, смешиваясь с каплями пота, падали на стол.

— Я надул вас, мистер. Не было никакого влиятельного лица, и разрешения тоже не требовалось.

— Выходит, вы эти бумаги просто подделали?

— Je ne suis pas un faussaire *,— сказал он и, выпрямившись, в кресле, погрозил Латимеру пальцем.— Этот тип появился здесь три месяца назад. Дав огромную взятку,— тут Мышкин опять погрозил кому-то пальцем,— да-да, огромную взятку, он получил право посмотреть в полицейских архивах все, что касается убийства Шолема. Так как материалы дела были написаны по-арабски, он их сфотографировал и затем отдал мне, чтобы я их перевел. Конечно, он взял обратно фотокопии, но я зато оставил у себя экземпляр перевода. Теперь вы понимаете, как я надул вас? Я взял с вас лишних пятьдесят пиастров. Тьфу! А ведь мог бы спросить с вас и пятьсот, и вы бы все равно заплатили. Вот какой я добрый.

— Зачем это ему было нужно?

— Не люблю совать свой нос в такие дела. Не мое собачье дело,— сказал он мрачно.

— А как он выглядел?

— Как обыкновенный француз.

Голова Мышкина свесилась на грудь. Минуты через две он поднял голову и, как баран, уставился на Латимера. Лицо Мышкина приобрело синюшный оттенок, и Латимер подумал, что его сейчас вырвет.

— Je ne suis pas un faussaire,— пробормотал он,— триста пиастров дешевле дерьма!

Пошатываясь, он встал из-за стола.

— Excusez moi *,— сказал он и чуть не бегом поспешил в туалет.

Подождав немного, Латимер уплатил по счету и пошел посмотреть, где Мышкин. Оказалось, что из туалета можно выйти другим путем. Латимер вернулся в отель.

С балкона его номера открывался вид на залив и холмы. Латимер курил последнюю сигарету перед сном и, наверное, в сотый раз спрашивал себя: кто был тот француз, и зачем ему понадобилось дело об убийстве Шолема? Пожав плечами, он бросил сигарету. В конце концов не пора ли оставить эту глупую затею с биографией Димитриоса?!

Мистер Питерс

На другой день после встречи с Мышкиным Латимер сел за стол и, взяв карандаш, попытался наметить этапы предполагаемого расследования. Вот какая таблица у него получалась:

ВРЕМЯ	МЕСТО	СОБЫТИЕ	ИСТОЧНИК ИНФОРМА- ЦИИ
1922, октябрь	Смирна	убийство Шолема	архив полиции
1923 (I полу- вие)	София	покушение	полковник
1924	Эдирне	на Стамбулийского	Хаки
	(Адриано-поль)	покушение	—»—
1926	Белград	на Кемалья Ататюрка	—»—
		шпионаж	—»—
1926	Швейцария	в пользу Франции	—»—
1929—1931(?)	Париж	обмен паспорта	—»—
		контрабанда	—»—
1932	Загреб	наркотиков	—»—
1937	Лион	покушение	—»—
		удостоверение	—»—
		личности	—»—
1938	Стамбул	смерть	—»—

Теперь стало ясно, с чего надо начинать. Если Димитриос бежал из Смирны на греческом корабле, то прибыл либо в Пирей, либо в Афины. Из Афин он мог попасть в Софию либо по железной дороге через Салоники, либо морем приплыть в Бургас или Варну, а уж оттуда — в Софию. При этом нельзя, конечно, было миновать Стамбул. Но поскольку Стамбул был оккупирован войсками Антанты, ему здесь ничего не угрожало. Оставался один важный вопрос: что привело его в Софию?

Итак, логика расследования подсказывала, что надо ехать в Афины. Он отдавал себе отчет в том, что будет трудно обнаружить следы Димитриоса среди десятков тысяч беженцев. Прошло почти двадцать лет, вероятно, многие записи не уцелели. А может быть, их и вовсе не было. Но если только списки беженцев сохранились, то, воспользовавшись помощью своих влиятельных друзей, он, конечно, получил бы к ним доступ.

Из Смирны в Пирей раз в неделю отправлялся пароход. На другой день Латимер отплыл на нем в Грецию.

В течение сентября и октября 1922 года в Грецию бежало восемьсот тысяч человек. Палубы и трюмы были битком набиты несчастными людьми, оборванными и не евшими уже много дней. У некоторых из них на руках были мертвые дети. Начались эпидемии тифа и оспы.

Источенная войной страна испытывала недостаток продовольствия и медикаментов и мало чем могла помочь беженцам. Для них организовали специальные лагеря, смертность в которых была просто ужасающей. А тут наступила зима, и люди теперь гибли еще и от холода. Четвертая ассамблея Лиги наций на своей сессии в Женеве проголосовала за то, чтобы выделить Организации спасения, возглавляемой Нансеном, пятьсот тысяч золотых франков для немедленной помощи греческим беженцам. Были организованы поселки, в которых беженцев снабжали продовольствием, медикамен-

* — Я не занимаюсь фальсификацией (фр.).

* — Простите (фр.).

тами и одеждой. Эпидемии полностью прекратились. Впервые за всю историю человечества разум и добрая воля помогли остановить страшное бедствие. Казалось, что животное вида *Homo sapiens* наконец-то задумалось над тем, что такое совесть, и хоть в какой-то мере приблизилось к идеалам гуманизма.

Все это и еще многое другое рассказал Латимеру его приятель Сиантос в Афинах. Правда, услышав, что Латимер интересуется беженцами, Сиантос сморщил губы.

— Список тех, кто прибыл сюда из Смирны? Довольно трудная задачка. Если б вы видели, что тут тогда делалось... Их было так много, и все в таком ужасном виде... А зачем вам это нужно?

Латимер подумал, что этот вопрос будет постоянно преследовать его. Признаться, что его заинтересовала судьба преступника, ему, откровенно говоря, очень не хотелось. Несомненно, последовали бы сомнения в выполнимости поставленной задачи; у него самого их было в избытке. Та мысль, что появилась у него в стамбульском морге, иногда казалась ему просто абсурдной. И потому он избрал тактику уверток от существования дела.

— Мне это нужно для моей новой книги. Вы ведь знаете, как важны подробности. Я хочу проверить, можно ли отыскать следы человека через такой большой промежуток времени.

Сиантос сказал, что теперь ему все стало ясно, а Латимер с грустью подумал: писателям прощают всякого рода экстравагантности. Но это вряд ли характеризует их как людей разумных.

Справочное бюро размещалось в комнате с перегородкой, за которой сидел чиновник. Он только пожал плечами, узнав, что Латимеру надо навести справки о некоем Димитриосе Макропулосе, упаковщике инжира, который прибыл в Афины в октябре 1922 года.

— Если этот человек у нас зарегистрирован, то мы его, конечно, найдем. Благодаря организации и терпению можно решить любой вопрос. Прошу вас, пройдите сюда.

Они спустились по каменной лестнице в просторное подвальное помещение, где было множество стоящих друг на друге стальных ящичков.

— Организация, — пояснил чиновник, — в этом весь секрет могущества современного государства. Только благодаря ей мы сможем создать великую Грецию. Но, конечно, сначала надо запастись терпением.

Он прошел в угол и, вытащив из ящичка карточки, стал перебирать их. На одной он ненадолго задержался.

— Макропулос. Если этот человек у нас зарегистрирован, то мы найдем о нем сведения в ящике № 16. Вот в чем польза организации.

Но в ящике № 16 ничего не оказалось. Чиновник в недоумении развел руками и еще раз просмотрел карточки. Никаких сведений о Макропулосе не было. И тут Латимера осенило.

— А что если посмотреть на фамилию Талат?

— Но ведь это турецкая фамилия.

— Да, я знаю, но все-таки давайте посмотрим.

Пожав плечами, чиновник опять прошел в угол.

— Ящик номер 27, — не слишком стараясь скрыть свое раздражение, объявил чиновник. — А вы уверены, что этот человек прибыл в Афины? Быть может, он оказался в Салониках?

Латимер промолчал, потому что этот вопрос мучил его самого. С замиранием сердца следил он, как пальцы чиновника перебирают карточки. Внезапно тот остановился.

— Ну что, нашли? — выпалил Латимер.

— Действительно, он упаковщик инжира. Только зовут его Димитриос Таладис.

— Позвольте взглянуть, — протянул Латимер руку.

На карточке черным по белому было написано: «Димитриос Таладис». Он, Латимер, знал теперь немного больше, чем сам полковник Хаки. Итак, Димитриос воспользовался фамилией Талат на четыре года раньше, чем об этом говорилось в досье. Он просто присоединил к ней греческий суффикс. Имелись тут и другие сведения, о которых не знал полковник.

— Можно, я сниму копию?

— Конечно. Только вы должны это сделать у меня на глазах. Таковы правила.

Под бдительным оком апостола организации и терпения Латимер переписал сведения о Димитриосе в свою записную книжку. Вот этот текст:

Пол: мужской. Имя: Димитриос Таладис. Год и место рождения: 1889, Салоники. Род занятий: упаковщик инжира. Родители: вероятно, умерли. Паспорт или личная карточка: карточка, выданная в Смирне, утеряна. Национальность: грек. Время прибытия: 1922, 1 октября. Откуда: из Смирны. Дополнительные сведения: здоров и трудоспособен. Денег не имеет. Приписан к лагерю в Табурии. Выдана временная личная карточка. Примечание: исчез из лагеря 29 ноября 1922 года. Разыскивается полицией по обвинению в ограблении и покушении на убийство. Ордер на арест подписан 30 ноября 1922 года. По-видимому, бежал на одном из судов.

Вручив карточку чиновнику, хваленое терпение которого явно истощилось, и соответствующим образом отблагодарив его, Латимер вернулся в отель и погрузился в размышления.

В целом он остался доволен собой. Он провел это расследование терпеливо и настойчиво, как говорится, в лучших традициях Скотланд-Ярда и благодаря своей догадке (что Димитриос взял фамилию Талат) получил новую информацию. Ему очень хотелось послать отчет полковнику Хаки, но он постеснялся это сделать. Вряд ли полковник оценит его усердие, ведь труп Димитриоса уже зарыт, а досье погребено в архивах службы безопасности. Ну что ж, теперь на очереди София.

Он попытался вспомнить все, что знал о послевоенной политике Болгарии, и вскоре пришел к выводу, что эти знания весьма незначительны. Он знал, например, что возглавлявший правительство Александр Стамболийский проводил либеральную политику, но не имел ни малейшего понятия, в чем она конкретно выражалась. На него было совершено покушение, а затем Македонский революционный комитет организовал военный заговор. Стамболийскому удалось бежать из Софии. При попытке ликвидации заговора его убили. Но это лишь канва событий. Какие политические силы стояли за всем этим, каковы подробности, очень важные в таких случаях? Нужно ехать в Софию и выяснить все на месте.

Оформив выездную визу из Греции и въездную визу в Болгарию, он взял билет на ночной поезд Афины—София. Пассажиров было не очень много, и он надеялся, что будет в купе один. Однако минут за пять до отхода поезда носильщик втащил в купе багаж, а через минуту появился и пассажир.

— Приношу мои глубочайшие извинения, но я вынужден нарушить ваше одиночество, — обратился он к Латимеру по-английски.

Это был полный, нездорового вида человек лет пятидесяти пяти. Он повернулся, чтобы расплатиться с носильщиком, и Латимеру сразу бросилось в глаза, как смешно сидят на нем брюки — сзади он удивительным образом напоминал слона. Когда же Латимер разглядел своего попутчика как следует, то забыл об этой смешной черте. У того было сильно опухшее — не то от обжорства, не то от пьянства — лицо с маленькими слезящимися голубенькими глазками, под которыми набухли мешки. Нос был большой, какой-то неопределенной формы, точно резиновый. Наибольшее впечатление производила нижняя часть лица. Бледные распухшие губы кривились в какой-то вымученной улыбке, приоткрывая ослепительно белые вставные зубы. И слезящиеся глаза, и сахарная улыбка придавали лицу такое выражение, будто бы вы имели дело с невинным страдальцем, безропотно сносящим все выпавшие на его долю мучения. Мстительная судьба, обращаясь с ним несправедливо и жестоко, все-таки не уничтожила в нем Веры в доброту человеческую — короче, так мог улыбаться только возведенный на костер мученик. Этот человек чем-то напомнил Латимеру знакомого священника, который был лишен сана за растрату церковных денег.

— Раз место свободно, — сказал Латимер. — ни о каком нарушении не может быть и речи.

Слушая, как трудно и часто дышит этот человек, Латимер подумал, что он наверняка страдает одышкой и, значит, будет во сне храпеть.

— Как вы хорошо сказали! — воскликнул незнакомец. — В наши дни столько недобрых людей, которые совсем не думают о других! Осмелюсь спросить, далеко едете?

— В Софию.

— Чудесный город, чудесный. А я до Бухареста. Надеюсь, друг другу не помешаем.



Латимер ответил, что тоже надеется на это. Он никак не мог определить, кто этот толстяк. По-английски он вроде бы говорил правильно, но с каким-то ужасным вульгарным акцентом, точно рот у него был набит кашей. Кроме того, начав фразу, он, казалось, собирался закончить ее на более привычном для него французском или немецком. Видно было, что он учился языку по книгам.

Достав из небольшого чемодана, какой обычно берут с собой в дорогу атташе, пижаму, толстые шерстяные носки и потрепанную книжку в бумажной обложке, толстяк положил их на верхнюю полку. Латимер заметил, что книжка была на французском и называлась «Жемчужины мудрости на каждый день». Затем толстяк вытащил из кармана пачку тоненьких греческих сигарок.

— Вы не возражаете, если я покурю? — сказал он, протягивая пачку Латимеру.

— Сделайте одолжение. Благодарю вас, но мне сейчас курить не хочется.

Поезд набирал скорость. Латимер снял пиджак и лег поверх одеяла. Толстяк, взявшийся было за книгу, вдруг отложил ее и обратился к Латимеру:

— Когда проводник сказал мне, что я еду вместе с англичанином, я подумал, как это чудесно.

— Вы очень добры.

— Поверьте, я говорю от всей души.

Дым слез ему глаза, и он промокал наворачивавшиеся слезы шерстяным носком.

— Очень глупо делаю, что курю, — сказал он, точно жалуясь кому-то, — да и глаза у меня очень слабые. Но, видно, Всемогуший так решил, а Он всегда знает, что делает. Быть может, чтобы я лучше воспринимал красоту Его творения, Матери Природы, чтобы я обратил внимание на великолепие ее одежд — на деревья, цветы, облака, голубизну неба, на покрытые снегом вершины, на золото заката.

— Вам просто надо носить очки.

— Если бы мне были нужны очки, — покачал головой толстяк, — Всемогуший дал бы мне знак. — Он пристально посмотрел на Латимера. — Неужели вы не чувствуете, мой друг, что где-то над нами, рядом с нами, внутри нас есть

некая Власть, некая роковая Сила, которая заставляет нас делать те вещи, которые мы делаем.

— Ну, это серьезный вопрос.

— Мы не понимаем этого только потому, что недостаточно просты и скромны. Чтобы стать философом, не нужно никакого особого образования. Достаточно быть простым и скромным. — Он смотрел на Латимера, и взгляд его излучал простоту и скромность. — Живи и давай жить другим — вот в чем секрет счастья. И оставим Всемогущему право отвечать на те вопросы, которые вне нашего немого разума. Мы не в силах бороться против Судьбы. Если Всемогущему угодно, чтоб мы поступали нехорошо, то, значит, Он видит в этом какую-то цель, которая нам не всегда ясна. Если Всемогуший хочет, чтобы кто-то разбогател, а большинство остались бедными, значит, надо безропотно принять Его волю.

В этом месте отрывка прервала его разглагольствования. Подняв глаза вверх, он посмотрел на полку, где стояли чемоданы Латимера. На его лице засияла улыбка.

— Я часто думаю, — заявил он, — сколько появляется пищи для размышлений, когда едешь в поезде. Взять хоть чемодан. Какое сходство с человеком! Ведь мы тоже на жизненном пути приобретаем множество наклеек. Наклейки — это то, какими мы хотим казаться, но ведь главное — какие мы внутри. И как часто, — тут он в отчаянии замотал головой, — как часто чемодан не содержит ничего Чудесного. Вы ведь не будете спорить со мной?

Латимера давно тошнило от его речей. Он выдавил из себя:

— А вы очень хорошо говорите по-английски.

— Английский — чудесный язык. Шекспир, Герберт Уэллс — у вас есть великие писатели. Но я не могу полностью выразить все свои мысли по-английски. Вы, должно быть, заметили, что мне гораздо ближе французский.

— Но ваш родной язык?..

Толстяк развел руками, и на правой руке блеснуло кольцо с алмазом.

— Я гражданин мира, — ответил он, — для меня все страны, все языки прекрасны. Если бы только люди могли жить,

как братья, без ненависти и с верой в Чудесное. Но нет! Всегда найдутся коммунисты и так далее. Очевидно, такова уж воля Всемогущего.

— Кажется, я засыпаю,— сказал Латимер.

— Сон! — подхватил толстяк. — Это великая милость, дарованная нам, людям. Меня зовут,— сказал он без всякой связи с предыдущим,— мистер Питерс.

— Мне было очень приятно познакомиться с вами, мистер Питерс,— ответил ему Латимер довольно сухо. — Мы прибываем в Софию очень рано, поэтому я не буду раздеваться.

Он выключил верхний свет в купе, оставив гореть лишь синюю лампочку над входом да два ночника, и залез под одеяло.

Мистер Питерс следил за его действиями с какой-то непонятной грустью, потом начал раздеваться. Балансируя на одной ноге, надел пижаму и забрался на свою полку. Минуты две он лежал неподвижно, тихо посапывая, потом повернулся на бок и, достав книжку, начал читать. Латимер выключил свой ночник и закрыл глаза. Через минуту он крепко спал.

Поезд прибыл на границу еще до рассвета, и Латимера разбудил проводник. Мистер Питерс все еще читал. Очевидно, его бумаги пограничники просмотрели в коридоре, и Латимер с сожалением подумал о том, что так и не узнал, к какой же национальности принадлежит сей гражданин мира. Сон был сломан, и Латимер, подремав еще немного, открыл глаза. За окном слабо серело утро. Поезд прибывал в Софию в семь. Латимер начал собирать вещи. Мистер Питерс погасил ночник и закрыл глаза. Когда поезд загромыхал на стыках, Латимер тихо открыл дверь купе.

Мистер Питерс вдруг повернулся на другой бок и посмотрел на него.

— Простите, что разбудил вас,— сказал Латимер.

В серой полутьме купе улыбка на лице толстяка показала Латимеру клоунской маской.

— Напрасно беспокоитесь,— сказал он,— я все равно не спал. Я только хотел сказать вам, что лучше всего остановиться в отеле «Славянская беседа».

— Благодарю за совет, но я уже заказал по телефону номер в «Гранд-Палас». Мои друзья рекомендовали мне именно этот отель.

— Это очень хороший отель. — Поезд начал тормозить. — До свидания, мистер Латимер.

— До свидания.

Как и любому пассажиру, Латимеру очень хотелось поскорее добраться до отеля, принять ванну, позавтракать, и только потом он задумался над тем, каким образом мистеру Питерсу стала известна его фамилия.

Год 1923-й

Латимер много думал над тем, что ему нужно будет сделать в Софии. В Смирне и в Афинах все сводилось к тому, чтобы получить доступ к документам. С этой работой легко мог справиться любой достаточно компетентный работник сыскного агентства. Здесь все было иначе. Очевидно, софийская полиция знала о Димитриосе, но, как верно заметил полковник Хаки, лишь немного. Только после запроса полковника полиции удалось разыскать женщину, знавшую Димитриоса, и получить от нее сведения о нем. Познакомиться с документами из архива полиции было интересно главным образом потому, чтобы выяснить, чего не знала полиция. Латимер вспомнил слова полковника, что при расследовании покушений важно найти не того, кто стрелял, а тех, кто субсидировал покушение. Латимер очень сомневался, что полиция додумалась до этого.

Первое, что предстояло ему выяснить: кому было выгодно убийство премьер-министра Александра Стамболийского. Только получив хоть какую-то информацию, можно было строить предположения о роли Димитриоса в этом деле.

Во второй половине дня Латимер отправился к Марукакису, корреспонденту французского агентства, рекомендованному еще в Афинах Сиантисом. Тот оказался смуглым, поджарым брюнетом с умными, слегка выпученными глазами. Иногда по его губам пробегала ироническая усмешка, точно Марукакис сожалел о своей излишней откровенности. Он беседовал с Латимером тем вежливым тоном, каким обычно ведутся переговоры о вооруженном перемирии. Разговор шел на французском.

— Какая информация вас интересует, месье?

— Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о событиях, происходивших в 1923 году и связанных с покушением на Стамболийского.

— Вот как? — удивился Марукакис. — Это было так давно, что мне придется напрячь память. Я буду рад помочь вам. Но вам придется немного подождать, ну, скажем, часок-другой.

— Если бы вы согласились поужинать со мной сегодня вечером в отеле, где я остановился, я был бы просто счастлив.

— А где вы остановились?

— Отель «Гранд-Палас».

— Я знаю место, где готовят лучше и ужин обойдется намного дешевле. Если хотите, я зайду за вами в восемь вечера. Вы не возражаете?

— Разумеется, нет.

— Очень хорошо. Тогда встретимся в отеле. До свидания.

Он появился минута в минуту. Выйдя из отеля, они прошли по бульвару Марии-Луизы, потом вверх по Алабинской и затем свернули в узкую боковую улочку. Не доходя шагов десяти до лавки зеленщика, Марукакис вдруг остановился и, немного смутившись, обратился к Латимеру:

— Несмотря на неказистый вид, кормят здесь очень хорошо. Но, может быть, вам хочется пойти в другое место?

— Нет-нет, я целиком полагаюсь на вас.

Марукакис с облегчением вздохнул.

— Ну что ж, с вашего позволения,— сказал он и толкнул дверь лавки. Где-то внутри мелодично прозвенел колокольчик.

Пройдя по коридору, они вошли в небольшой зал, где стояло всего пять столиков. Два из них были заняты — несколько мужчин и женщин, громко чавкая, ели суп. Когда они сели за один из свободных столиков, к ним подошел усатый официант в белой рубаше и зеленом переднике и что-то долго говорил по-болгарски.

— Заказ придется делать вам,— сказал Латимер Марукакису.

Выслушав заказ, официант подкрутил усы и, подойдя к проему в стене, что-то крикнул.

— Я заказал водку,— сказал Марукакис. — Думаю, она вам понравится.

Официант вернулся с бутылкой и наполнил рюмки.

— Ваше здоровье,— сказал Марукакис. — Ну, а теперь я хочу быть с вами откровенным. — Он поджал губы, нахмурился. — Терпеть не могу, когда хитрят и что-то пытаются скрыть. Я ведь грек, а греки сразу чуют, где ложь. От письма, которое вы мне вручили, так и несет ложью. Но это еще полбеды, а вот предположение, что вам это нужно для полицейского романа, просто оскорбительно для умного человека.

— Прошу меня простить,— сказал Латимер, смутившись,— но я не решился сообщить подлинные причины, которыми обусловлен мой интерес к этой информации.

— Последний человек, с которым я поделился информацией по этому вопросу,— сказал Марукакис мрачно,— писал что-то вроде справочника по европейской политике для американцев. Прочитав то, что он написал, я чувствовал себя больным целую неделю. Вы, конечно, понимаете, что речь идет о моем духовном здоровье. Книга самым гнусным образом извращала факты.

— Я не собираюсь писать книгу.

Марукакис расхохотался.

— Вы, англичане, такой стеснительный народ. Послушайте! Давайте договоримся: вы получите нужную информацию, а я узнаю подлинные причины. Идет?

— Идет.

— Очень хорошо.

Официант принес суп. Суп был густой, пряный, щедро заправленный сметаной. Латимер ел суп и слушал рассказ Марукакиса.

В тяжело больном обществе престижные посты достаются не тем, кто, подобно проницательному врачу, поставит правильный диагноз, а тем, кто ведет себя у постели умирающего самым тактичным образом. В таком обществе невежественное большинство обычно наделяет властью какую-нибудь посредственность. Впрочем, политическим влиянием может обладать также либерально мыслящий лидер партии, вступивший в конфликт с доктринерами и экстремистами. Независимо от того, победят ли доктринеры или экстремисты, такой правитель обречен быть либо символом ненависти для тех и других, либо умереть мученической смертью.

Именно такая судьба выпала Александру Стамболийскому, лидеру аграрной партии, занимавшему посты премьер-министра и министра иностранных дел. Из-за внутренних разно-

гласий аграрная партия не смогла дать отпор организованной реакции и исчезла с политической арены, так сказать, не произведя ни единого выстрела по своим противникам.

Все началось, когда в начале января Стамболийский вернулся в Софию из Лозанны, где проходила международная конференция. 23 января 1923 года правительство Югославии (тогда еще Сербии) обратилось к болгарскому правительству с нотой протеста, в которой указывало на неоднократные нарушения югославской границы вооруженными отрядами так называемых комитаджи. Не прошло и двух недель, как в Софии на торжестве, посвященном открытию Национального театра, в ложе членов правительства взорвалась бомба. Несколько человек были тяжело ранены.

Правительство Александра Стамболийского с самого начала намеревалось установить и поддерживать с Югославией дружественные связи. Югославская сторона с пониманием отнеслась к этому. Однако такое положение дел не устраивало македонских националистов, добивавшихся автономии. Во главе их стоял так называемый Македонский революционный комитет, хорошо известный как в Болгарии, так и в Югославии. Националисты понимали: улучшение отношений может привести к тому, что правительства обеих стран предпримут совместные действия против них. Они старались любыми средствами разрушить эти связи и уничтожить своего главного врага — Стамболийского. Нарушения границы и взрыв бомбы в театре были сигналом к началу вооруженной борьбы.

8 марта правительство объявило о роспуске Народного собрания и о своем намерении провести общенациональные выборы в апреле. Это был смелый шаг, направленный на то, чтобы ослабить влияние всех реакционных партий. Крестьяне единодушно поддерживали правительство аграриев, и выборы должны были еще больше укрепить влияние аграрной партии в Народном собрании. Именно в этот момент в партийную кассу Македонского революционного комитета поступила значительная сумма.

И тотчас же в Гасково, во Фракии, была предпринята попытка убить Стамболийского и находившегося вместе с ним министра железных дорог Атанасова. Полиции удалось схватить террористов в самый последний момент. В этой обстановке было решено отложить проведение выборов.

4 июня софийская полиция раскрыла заговор. Террористы намеревались убить не только Стамболийского, но и военного министра Муравьева и министра внутренних дел Стоянова. В перестрелке убили офицера, которому, как стало потом известно, было поручено убить Стамболийского. Группу заговорщиков составляли молодые офицеры, члены Македонского комитета, однако полиции не удалось их арестовать.

Положение становилось угрожающим. Руководство аграрной партии могло проконтролировать события, раздав оружие поддерживавшим его крестьянам. Оно же вместо этого перераспределяло посты, полагая, что Македонский комитет, эта маленькая банда террористов, не в состоянии свергнуть правительство, поддерживаемое миллионами крестьян. Руководству аграрной партии почему-то не приходило в голову, что террористическая деятельность националистов всего лишь дымовая завеса, цель которой скрыть подготовку реакционного переворота. Эта близорукость дорого обошлась аграриям.

Несколько дней все было тихо. Однако в ночь на 9 июня все члены правительства Стамболийского, кроме него самого, были арестованы, и в стране ввели военное положение. Произошел переворот, которым руководили реакционеры Цанков и Русев, никак не связанные с македонскими националистами.

Стамболийский пытался силами крестьян организовать вооруженное сопротивление, но было уже поздно. Спустя две недели после переворота он был арестован вместе с группой своих сторонников и затем погиб при весьма загадочных обстоятельствах.

— Вам известно, кто внес деньги в фонд Македонского комитета? — спросил Латимер, выслушав рассказ Марукакиса.

— Разные ходили слухи, — усмехнулся он, — и было много всяких предположений. Но мне кажется, что деньги были перечислены тем самым банком, на счету которого находились партийные фонды. Это так называемый Евразийский кредитный трест.

— Как вы думаете, не мог банк перечислить эти деньги, взяв их со счета какой-либо другой партии?

— Нет, я так не думаю. Перечисленная сумма была взята

из фондов самого банка. Мне удалось установить: при экономической политике правительства Стамболийского банк сильно пострадал в результате повышения курса лева. В течение первых двух месяцев 1923 года курс лева по отношению к фунту стерлингов вырос вдвое: с восьмисот до четырехсот левов за фунт. Поэтому банки терпели значительные убытки на краткосрочных ссудах. Евразийский кредитный трест, конечно, не мог с этим мириться.

— Что представляет собой этот банк?

— Зарегистрирован в Монако и поэтому не платит налоги в тех странах, где имеются его филиалы, и не сообщает данные о текущих счетах. В Европе довольно много таких банков. Между прочим, правление находится в Париже, а большинство своих финансовых операций банк проводит на Балканах. Интересно, что банк финансирует подпольный бизнес: производство и транспортировку героина из Болгарии.

— Мог банк финансировать заговор Цанкова?

— Вполне возможно. Во всяком случае, банк способствовал созданию обстановки, в которой стал возможен заговор. Ни для кого не секрет, что покушение на Стамболийского и Атанасова в Гаскове совершили иностранные гангстеры, которым хорошо заплатили. Поговаривали, что только благодаря тому, что нити тянулись за границу, не удалось до конца раскрыть это преступление.

— А что вам известно о пребывании Димитриоса в Болгарии? — спросил Марукакис.

— Очень мало. Как я уже говорил, он, по-видимому, играл роль связного в покушении на Стамболийского. Софийская полиция знала о его существовании, потому что по запросу турецкой службы безопасности полицейские допрашивали знакомую Димитриоса.

— Если она жива и никуда не уехала, с ней надо будет обязательно встретиться.

— Да, хорошо бы. Дело в том, что ни в Смирне, ни в Афинах мне не удалось побеседовать с теми, кто мог видеть Димитриоса живым. Но, к сожалению, я не знаю, как зовут эту женщину.

— Полиция наверняка знает. Если хотите, я наведу справки. Вы же не читаете по-болгарски, и к тому же архив полиции для вас недоступен. Я совсем другое дело. Я ведь аккредитованный журналист и имею вполне определенные привилегии. — Он усмехнулся. — Кроме того, пусть это глупо выглядит, но ваше расследование заинтериговало меня.

Они остались в ресторане одни. Официант подремывал на стуле, положив ноги на стол.

— Ну, пора уходить, — сказал Марукакис, вздохнув. — Надо разбудить его и заплатить за ужин.

Латимер приятно проводил время: побывал в картинной галерее, осмотрел памятник Александру II, пил кофе, гулял и даже взобрался на Витошу, у подножия которой расположена София. Все это время он старался думать не о Димитриосе, а о своей новой книге, но заметил, что это ему почти не удается. Письмо Марукакиса полностью вытеснило из его головы все мысли о романе. Вот что он писал:

Дорогой Латимер!

Как я и обещал, прилагаю к письму конспект сведений о Димитриосе Макропулосе, которые мне удалось получить в полиции. Как вы можете убедиться, они далеки от полноты. Не знаю, смогу ли я разыскать ту женщину, — это будет зависеть от моих друзей — полицейских. Думаю, увидимся завтра вечером.

С глубоким уважением

Н. Марукакис

Архив полиции. София. 1922—1924 годы

Димитриос Макропулос.

Национальность: грек. Место рождения: Салоники. Год рождения: 1889. Род занятий: упаковщик инжира. Прибытие: Варна, 22 декабря 1922 года, на итальянском пароходе «Изола Белла». Паспорт или личная карточка: удостоверение личности, выданное комиссией помощи беженцам, № Т 53462.

Во время проверки документов в кафе Спетци по улице Перотской 6 июня 1923 года находился в компании с некой Ираной Превезой, гречанкой. Полиции известно о связях

Д. М. с иностранными преступниками. Согласно приказу от 7 июня 1923 года подлежал депортации. Освобожден из-под стражи в связи с просьбой и поручительством А. Вазова 7 июня 1923 года.

В сентябре 1924 года турецкое правительство обратилось с просьбой сообщить ему все, что известно болгарской полиции об упаковщике инжира Димитриосе, разыскиваемом по обвинению в убийстве. Только через месяц удалось установить, что речь идет о Д. М., данные о котором приведены выше. Ирана Превеза сообщила на допросе, что получила от Д. М. открытку из Адрианополя (Эдирне). Вот его описание, полученное с ее слов:

«Рост: 182 см. Глаза: карие. Лицо: смуглое. Волосы: черные, прямые. Приметы: отсутствуют».

Далее рукой Марукакиса было приписано:

«NB. Обычные для полиции данные. Есть сведения, что существует второе, секретное досье, доступ к которому невозможен».

Латимер вздохнул. Вероятно, в этом секретном досье о событиях 1923 года и об участии в них Димитриоса говорилось более подробно. По-видимому, о Димитриосе власти знали гораздо больше, чем было сообщено турецкой полиции.

Впрочем, теперь появились новые, очень интересные детали. Взять хотя личную карточку — ведь она была выдана Димитриосу Таладису. Теперь она принадлежала Димитриосу Макропулосу. Очевидно, это превращение произошло на борту парохода «Изолла Белла». Интересно, сам Димитриос занялся трудным ремеслом подделывания документов или воспользовался услугами специалистов?

Или взять хотя бы эту женщину, Ирану Превеза! Ее надо обязательно найти, потому что она является своеобразным ключом к дальнейшему расследованию. Придется просить Марукакиса, чтобы он занялся этим. Вероятно, Димитриосу она была нужна как переводчица, потому что он не знал болгарского.

«Известно о связях с иностранными преступниками» — звучит весьма туманно. О каких преступниках идет речь? Какой они национальности? И что имеется в виду под связями? А разве не интересна такая деталь: предполагалось депортировать Димитриоса буквально за два дня до заговора Цанкова? Что, если полиция считала Димитриоса одним из возможных участников покушения в эти критические дни? А кто этот А. Вазов, столь любезно пришедший Димитриосу на помощь? Как тут не огорчиться, если ответы на эти вопросы, вероятно, имеются в секретном досье?

Что касается описания внешности, то оно, как все полицейские описания, с успехом подходило к любому из ста тысяч. Латимеру же нужен был портрет, написанный рукой художника. Что ж, он, Латимер, попытается из этих жалких полицейских заметок создать свой портрет Димитриоса. Кстати, негр, чувствующий на своей шее петлю, создал образ вполне реального человека. Этого не скажешь, читая описание женщины. Вероятно, она давала показания какому-нибудь полицейскому, который орал на нее: «Попробуй только соврать! Говори, какой он из себя? Рост? Цвет глаз? Какие у него волосы? Ты ведь была близка с ним. Это нам известно. Выкладывай все, что о нем знаешь...»

Латимер вдруг вспомнил сказанную полковником фразу о людях «в правительствах соседних стран», которым не правился Кемаль Ататюрк. А что если А. Вазов и кто-то еще из Евразийского кредитного банка? Ведь если они хотели убить Стамболийского, то могли попытаться убить и гази на том же основании. Быть может, Димитриос...

Но тут Латимер вынужден был прервать свои размышления. В них нет никакого смысла до тех пор, пока они не будут подтверждены секретными документами.

Вечером ему позвонил Марукакис.

— Вам удалось что-нибудь выяснить в полиции? — спросил Латимер.

— Да. Я расскажу все завтра вечером. До свидания.

Чем ближе стрелка часов подходила к шести вечера, тем беспокойней было на душе Латимера. Он вел себя как юноша, ожидающий результатов вступительных экзаменов: они давно сданы, но итоги будут объявлены только сегодня, и это и пугает, и раздражает, и в то же время создает какие-то иллюзии. Увидев Марукакиса, он попытался изобразить улыбку.

— Спасибо вам за все ваши хлопоты.

Марукакис только махнул рукой.

— Не стоит благодарности, мой друг. Я ведь говорил вам, что вы меня заинтриговали. Может, пойдем опять на старое место? Там нам никто не мешает.

В продолжение всего ужина Марукакис рассуждал о позиции скандинавских стран в случае большой войны в Европе. Когда подали чай, Латимер посмотрел на него такими глазами, какими, наверное, смотрел на свою жертву убийца в одном из его романов.

— Ну а что касается вашего Димитриоса, — наконец-то обрадовал Марукакис Латимера, — то теперь я знаю, где найти Ирану Превеза. Кстати, это оказалось совсем нетрудно. Полиции она хорошо известна.

У Латимера учащенно забилося сердце.

— Где? — выдохнул он.

— Всего в пяти минутах ходьбы отсюда. Ей принадлежит заведение под названием «La Vierge St. Marie», обычный Nachtlokal.

— Nachtlokal? — переспросил Латимер, не понимая.

— Если хотите, — усмехнулся Марукакис, — можно назвать это ночным клубом.

— Понятно.

— Я навел справки и о Вазове. Он был адвокатом.

— Был?

— Он умер три года назад. Оставил после себя кучу денег. Все досталось его племяннику из Бухареста. Здесь у него родственников не оказалось. Каким образом он вписывается в эту картину?

Немного смущаясь, Латимер высказал свои предположения.

— Возможно, вы и правы, — сказал Марукакис, нахмурившись. — Сказать что-либо трудно, потому что, как вы верно заметили, доказательства отсутствуют. Известно только, что Кемаль Ататюрк был против банкиров, особенно иностранных, и совершенно не доверял им. Он ни разу не обратился к ним за помощью, а для них это как пощечина. И напрасно вы смущались, мой друг. Ваше предположение может оказаться верным. Международный большой бизнес помогал многим переворотам, если этого требовали его интересы. Покушение? А почему бы нет, если это выгодно бизнесу. Конечно, не в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. О нет! И, разумеется, убийца не присутствует на заседании совета директоров. Делается это примерно так. Кто-то из присутствующих говорит: «Хорошо было бы, если бы этот негодяй, который мешает мирному развитию и процветанию экономики, вдруг исчез». Только и всего — ни к чему не обязывающее пожелание. Однако специальный человек, который занимается исполнением такого рода пожеланий, наметит цель, не говоря уж о средствах, разработает планы и инструкции. Бизнесу необходима удача, и если фортуна оказалась забывчивой, надо подтолкнуть ее, чтобы она помнила о своих обязанностях.

(Продолжение следует.)



ЕВГЕНИЙ
РЕЙН

Фонарь

Я — электрический фонарь,
Я освещаю тьму.
И если грустно вам идти
Куда-то одному,
От фонаря до фонаря
Ступайте, где светлей.
И станет вам,
И станет вам
Гораздо веселей.

Второе октября

Открываю шторы —
Октября второе.
Рассветает. Что вы
Сделали со мною.
Темная измена,
Пылкая зарница?
«Оставайся, Женья», —
Шепчет за граница.
Был я семиклассник,
Был полузащитник,
Людам — однокашник,
Чепухи зачинщик.
Был я инженером,
Все мы — инженеры.
Стал я легковером
Самой тяжкой веры.
Фонари темнеют,
Душу вынимают.
Всё они умеют,
Но не понимают.

Вологда

В провинциальном городе чужом,
Когда сидишь и куришь над рекою,
Прислушайся и погляди кругом —
Твоя печаль окупится с лихвою.
Доносятся гудки и голоса,
Собачий лай, напевы танцплощадки.
Не умирай. Доступны небеса
Без этого. И голова в порядке.

Щит Цареграда

С аэродрома вышел и весь полон тревоги —
Что-то случится, будет, Бог весть?
Сразу три «Волги» бьются за право
В город везти позднего гостя.
Это забава. И неспроста. Это непросто.
Я выбираю цвета волны, близится полночь,
Стали, шоссе переходят волю. Медленно гонишь!
Жми на педали, милый шофер, жми на педали,
В городе Киеве нас до сих пор нет, не видали.
Что мы застанем? Усталый разброд ночью субботней,
Рюмку в буфете и бутерброд, и тем охотней
Руку и сердце этой толпе я поручаю;
На городском пограничном столбе я различаю
Смазанных литер поспешную речь, щит Цареграда.
Что мне жалеть и кого мне беречь? Сердце так радо
Тем, кто не знает еще обо мне, даже не помнит.
В новой постели, новой стране — нежность и полночь.

Посвящается фирме «Ван Хаусен»

Разрываю пакет
заграничной нарядной рубашки.
Мне четырнадцать лет,
даже сорок четыре... В пятнашки
я готов припустить
по пустой одинокой квартире.
Что я вздумал грустить,
если где-то «Ван Хаусен» в мире?
Что я дома сижу,
если где-то сварили пельмени,
и так горько сужу
о внезапной во мне перемене?
Свет не хочется жечь
и глядеть в зеркала нету мочи,
спать бы заживо лечь,
да весь век мой бессонниц короче.
Позвоню из метро,
я ведь знаю ваш номер на память.
Не стемнело — светло,
я приду — только галстук натянуть,
только ключ повернуть
этой двери, задраенной прочно.
Я приду как-нибудь...
Как-нибудь... Обязательно... Точно.

☆☆☆

Садовых улиц дребезжанье,
Асфальта черный обелиск.
Для возвращения, для свиданья
Терпенья вдоволь наберись.
Пока сойдутся точка в точку
Приметы улицы пустой,
Когда тебе подкинут ночку
Не хуже и не лучше той.
Чтоб точно так же дождик шлепал,
Фонарь дробился в двойниках,
И все, как в прошлый раз, пошло бы —
Смешно и грустно и никак.
И лестницы твоей предплечье,
Замка наивного секрет, —
Какой подъем мне будет легче,
Какой разгадки ярче свет?
Я знаю — копятся детали
Одна к другой, одна к другой,
И где-то спят на перевале
Приметы улицы пустой.

Отъехавшему

Д. Б.

Из комнаты, где ангел твой крыла
анфас и в профиль прокрутил, что флюгер,
ты уезжаешь, и твои дела
мерцают и крошатся, точно уголь.
Ты разливаешь мутноватый чай,
приправленный кагором с карамелью.
Мы столько лет не виделись — прощай,
неизлечимо старое похмелье
полуреальных снов и неудач —
единственной возможности пригожей.
Какое ты свиданье ни назначь —
мы разошлись, как два истца в прихожей.
В квартире коммунальной тишина,
где черный ход — сквозняк из кухни барской.
А жизнь уже размотана, она
набаловалась речью тарабарской
азиатских миллиардов, заводных
вертушек в мировом круговороте.
Куда ты вздумал убежать от них,
в каком уразуметь их переводе?
Давно сравнивались тропики и лед,
ведра времен позванивает донцем.
Как хорошо попасть под пулемет
Аттилы, отступая с Македонцем.
Пора, нас засыпает тишина,
выравнивая окомом гиганта.
Что эти переезды? Только на
один прогон и никогда обратно.

ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКОВА

Повесть



Рисунок Виктора Скрыбина

- Странно! — пожала плечами Алла с Филиала.
- Что странно? — уточнил я.
- Все... Странно, что только сейчас вспомнила про сына... Обычно я думаю о нем всегда. Странно, что я забыла фотографию... Странно, что через три часа мы будем в Париже...
- И, наверное, странно, что вместо Пековского лечу я?
- Нет, не странно, он предупреждал, что со мной рядом будет его детский друг — чуткий и отзывчивый товарищ... Он, наверное, просил вас меня опекать?
- Беречь. Говорил, что вы робкая и легкоранимая...
- И поэтому вы рядом со мной?
- Исключительно поэтому...
- А вы не очень-то любите своего детского друга!..
- Вам показалось...

Я отвернулся к иллюминатору: земля внизу была похожа на бурый местами вытертый вельвет. Сказать, что я не люблю Пековского, — ничего не сказать. Это трудно объяснить. В классе пятом у нас, дворовых пацанов, повернулись мозги на рыцарях — «Александр Невский», «Айвенго», «Крестоносцы» и так далее. Латы мы вырезали из жестяных банок, в которых на соседний завод «Пищекомцентрат» привозили китайский яичный порошок, щиты делали из распиленных вдоль фанерных бочонков, мечи — из алюминиевых обрезков, валявшихся около товарной станции, располагавшейся недалеко от нашего двора. Я сам разработал оригинальную конструкцию арбалета, и, если удавалось достать хорошей бинтовой резины, он стрелял почти на пятнадцать метров. Сложнее всего обстояли дела со шлемами, выбирать не приходилось, и в дело шли облагороженные кастрюли, миски, большие жестянки из-под половой краски... А Пека поглядывал на наши экипировочные мучения с усмешечкой и называл нас «кастрюленосцами». Когда же, наконец, все было готово и мы разделились на Алую и Белую розы, чтобы сразиться за трон — колченогое кресло, установленное на крыше гаража, — во двор вышел Пековский. Он был облачен в настоящие, отливавшие серебром рыцарские доспехи, на голове — шлем с решетчатым забралом и алыми перьями, в руках — настоящий арбалет, заряжавшийся, как и нарисовано в учебнике, с помощью свисавшего маленького стремени. Нет, конечно же, все это было не настоящее, а игрушечное, привезенное из-за границы Пекиным дядей специально к началу большой рыцарской войны в нашем дворе. И в своих дурацких латах из-под китайского яичного порошка я почувствовал себя таким ничтожеством, клоуном, болваном, что и сейчас, тридцать лет спустя, мне становится паршиво от одного этого воспоминания. Не вынимая меча из ножен, Пека занял трон, стоявший на крыше гаража.

Стюардессы обносили на выбор: минеральной водой, лимонадом и вином. Все взяли вино. Потом в проходе показался большой железный ящик на колесах, в котором, как противни в духовке, сидели подносы с едой.

— Давайте выпьем за Париж! — предложила Алла с Филиала, поднимая пластмассовый стаканчик.

— Давайте, — согласился я и, чокаясь, немного вдавил свой стаканчик в ее.

— Знаете, — продолжала она, — для русских Париж всегда был местом особенным. От хандры ехали в Париж... От несчастной любви — в Париж... Сумасшедшие деньги прокучивать — в Париж... От револю-

Продолжение. Начало см. в № 6 за 1991 г.

ции — в Париж... А когда мы вернемся, мы создадим тайное общество побывавших в Париже! Договорились?!

— Договорились.

— А вы не хотите выпить за Париж? — спросила она, повернувшись к Диаматычу.

— В вашей интерпретации нет, — ответил он и внимательно посмотрел на нас.

— А мне ваша интерпретация нравится! — вмешался Спецкор и просунул свой стаканчик в щель между спинками кресел, чтобы чокнуться.

Я огляделся. Товарищ Буров и Друг Народов приканчивали бутылку коньяка. Пипа наворачивала, так энергично орудуя локтями, что сидевший рядом с ней Гегемон Толя не мог благополучно донести кусок до рта. Торгонавт со знанием дела оглядывал плевочек черной икры на пластмассовой тарелочке, словно хотел вычислить, с какой продбазы снабжается Аэрофлот. Спецкор осторожно и заботливо, точно лекарство, вливал сухое вино в беспомощного Поэта-метеориста. Пейзанка всем предлагала домашнего сала, которое, по ее словам, месяц назад еще хрюкало. Диаматыч питался медленно и осторожно, как бы опасаясь отравленных кусков. Алла с Филиала ела красиво. А люди, умеющие красиво есть, большая редкость, так же как блондинки с черными глазами. Кстати, я все-таки рассмотрел ее глаза: они были темно-темно-карими.

— Алла, — спросил я с набитым ртом. — А вы раньше знали о моем существовании? До поездки...

— Конечно... Мы даже с вами встречались. Просто у вас плохая память.

— Где?

— На научно-техническом совете. В прошлом году. Вы делали сообщение после меня. Об этой системе — «Красное и черное». Мы очень смеялись...

— Надо мной?

— Нет. Над названием... Сами придумали?

— Сам...

— Я так сразу и решила...

— Почему?

— Не знаю...

Внизу расстилались похожие на бескрайнюю снежную равнину облака. Почему-то казалось, вот-вот покажется цепочка лыжников... Ту конференцию я тоже, между прочим, запомнил: меня как раз после долгих колебаний назначили исполняющим обязанности заведующего сектором — и я впервые выступал уже в новом качестве. «Красное и черное» — это действительно была моя идея, но всю техническую разработку я поручил Горяеву, хотя, напутствуя меня перед вступлением в новую должность, Пековский посоветовал: первым делом уволь Горяева, иначе пропадешь. Я хорошо знал Горяева, он был потрясающе талантлив и патологически обидчив. Я вызвал его в свой новенький кабинет, проговорил с ним два часа и поручил ему разработку «Красного и черного». В двух словах: эту систему мы готовили для Министерства рыбной промышленности, и задача состояла в том, чтобы учесть все запасы осетровой и кетовой икры в стране буквально до последней икринки. Сами понимаете, социализм — это учет и контроль.

Годовую работу всего сектора Горяев сделал в одиночку за восемь месяцев, не зная ни бюллетеней, ни отгулов, а сделав, вдруг смертельно обиделся: обозвал весь коллектив дармоедами, расшвырял шахматы, которыми играли два программиста, а вохровца на проходной обругал вертухаем. Между прочим, меня он поименовал «пожирателем чужих мозгов», но я не обиделся, а вохровец обиделся и на следующее утро потребовал у Горяева пропуск, чего не делал много лет, ибо не такие уж мы засекреченные и охрана больше для того, чтобы посторонние не ходили в нашу

столовую. Оказалось, свой пропуск Горяев давно потерял, и когда я после истерического звонка начальника вневедомственной охраны прибежал на проходную, то застал там побагровевшего вохровца, хватавшегося за кобуру, где ничего, кроме мятой бумаги, не было. А мой совершенно спятивший подчиненный орал, что если бы у него была сумка «лимонок», то он бросил бы ее в наш ВЦ, потому что более гнусной организации невозможно себе и представить.

На следующий день Горяев написал заявление и ушел куда-то, где пока знали лишь о его первом, положительном качестве. А когда вальжный представитель Министерства рыбной промышленности и Пековский, пахнувшие общим дорогим одеколоном, принимали «Красное и черное», на экране после запуска программы вместо шифра появилось красочное фаллическое изображение и хулиганская надпись, суть которой сводилась к обещанию противостоить обоим со всем нашим трудовым коллективом. Это был прощальный жест Горяева, вдобавок он установил в программе такую хитроумную защиту, что попытки найти и снять ее привели к самостиранию всей системы. Мы заплатили министерству чудовищный штраф, весь сектор лишился премии и тринадцатой зарплаты, а меня, разумеется, не утвердили заведующим и правильно сделали, ибо предупреждали. Супруга моя честолобивая Вера Геннадиевна на месяц отлучила меня от своего белого тела, сказав, что обычно дебилы не доживают до тридцати, и я — уникальный случай...

Когда стюардессы собирали подносы, я незаметно спрятал пластмассовые нож, вилку и ложечку, потому что Вика, несмотря на свой зрелый возраст, все еще продолжала играть в куклы.

— Снижаемся! — радостно сообщил Торгонавт.

Земля внизу, в отличие от наших бескрайних одноцветных просторов, напоминала лоскутное одеяло.

— Капитализм, — просунув нос между кресел, объяснил Спецкор.

VIII.

Когда самолет толкнулся колесами о землю и помчался по посадочной полосе, постепенно избавляясь от скорости, иностранцы, летевшие с нами, зааплодировали.

— Любят западники жизнь! — прокомментировал Спецкор.

— А мы? — спросила Алла с Филиала.

— Мы любим борьбу за жизнь! — вставил я и поймал на себе неодобрительный взгляд Диаматыча.

Наверное, каждый раз, приезжая в незнакомое место, мы чем-то повторяем свой давний приход в этот неведомый мир. Отсюда, должно быть, радостное удивление и совершенно младенческий восторг по поводу всего увиденного. По поводу огромного аэропорта с движущимися дорожками, никелированных урн непривычной формы, полицейских в странных цилиндрических фуражках с маленькими козырьками, ярко одетых детишек, лопочущих что-то очень знакомое по интонации, но совершенно непонятное по смыслу...

— За границей меня всегда поражают две вещи, — громко сказал Спецкор. — Все, даже дети, свободно говорят на иностранном языке, и абсолютно все ездят на иномарках.

К моему удивлению, наш багаж уже крутился на транспортной ленте: это я определил, заметив чемодан-динозавр Пипы Суринамской. Гегемон Толя тяжело вздохнул.

Паспортный контроль мы прошли довольно быстро, хотя к стеклянным будочкам выстроились приличные хвосты.

— Я выиграл бутылку коньяка! — радостно сооб-

шил Торгонавт. — Мой приятель сказал, если я здесь увижу хоть одну очередь, он выставляет...

— Не обольщайтесь, — разочаровал его Спецкор. — Мы пока еще в экстерриториальных водах...

Потеряли Пейзанку, но вскоре нашли возле витрины, где был установлен трехведерный флакон духов «Шанель». Спецкор сказал ей, что, заплатив умеренную сумму, можно отлить немного духов в свою посуду. Слышавший это Гегемон Толя насупился и выругался вполголоса по поводу некоторых очень уж умных.

— Рад вас приветствовать в Париже — городе четырех революций! — не унимался Спецкор.

Поэт-метеорист, кажется, немного проспавшийся, озирался вокруг, словно человек, проехавший свою станцию метро. Беспрепятственно миновав скучающих таможенников (только на Торгонавте они чуть задержали взгляды), мы сразу попали в большую толпу встречающих, помимо букетов, они держали в руках транспарантки и таблички с разными надписями. Одна невысокая смуглая женщина с короткой мальчишечьей стрижкой размахивала над головой аккуратной картонкой:

БУРОВ — СССР

— Это мы! — удовлетворенно сообщил товарищ Буров и протянул ей ладонь для рукопожатия.

Тут же подскочивший Друг Народов обнажил в улыбке свои заячьи зубы, протараторил что-то по-французски и, искупая мужланство шефа, галантно поцеловал руку встречавшей нас женщины. Это была мадам Жанна Лану, наш гид.

— Теперь мы будем садиться в автобус и ехать в отель, — объявила она.

Через автобусное окно я смог увидеть и понять главное: в Париже всего много — людей, машин, витрин, памятников, деревьев... Где-то сбоку мелькнула знаменитая башня, похожая на задранную в небо дамскую ножку в черном ажурном чулке.

— Эйфелевская башня! — охнула непосредственная Пейзанка.

— Это ее макет в натуральную величину, — поправил Спецкор. — Сама башня хранится в Лувре...

— Правда? — усомнился Гегемон Толя, поглядев на мадам Лану.

— О, нет! — засмеялась она.

Отель назывался «Шато», видимо, из-за декоративной башенки, как на готическом замке.

— Это неплохой отель, — сказала мадам Лану. — Должна заметить, что гостиницы в Париже — это проблема, особенно в сезон. Очень много туристов...

— И очереди бывают? — оживился Торгонавт.

— Очереди? — переспросила она. — Не думаю так.

Сложив вещи в общую кучу, мы стали посередине гостиничного холла. Портье, статью напоминающий референта члена Политбюро, записал номера наших паспортов и выдал несколько ключей с брелоками в форме больших деревянных шаров. Друг Народов извлек из кейса утвержденный еще в Москве список и, объявляя, кто с кем поселяется, лично раздавал ключи. Расклад вышел такой:

Алла с Филиала и Пейзанка.

Поэт-метеорист, Диаматыч и Гегемон Толя.

Спецкор и я.

Друг Народов и Торгонавт.

Судя по тому, что после оглашения списка оставалось еще два ключа, товарищ Буров и Пипа Суринамская заселялись в отдельные номера. В общем, типичное нарушение социальной справедливости, следить за соблюдением которой — профессия товарища Бурова.

Когда все разобрали свои вещи и выстроились к лифту, Торгонавт огорченно заметил, что, наверное, считать создавшуюся очередь аргументом в коньячном

споре некорректно, так как состоит она исключительно из советских людей. Для первого раза кабинка лифта уместила лишь чемодан Пипы Суринамской и в качестве привеска Гегемона Толя. Внезапно обнаружилось, что посередине холла остались сумка и авоська Поэта-метеориста, но сам он исчез. Мадам Лану и Друг Народов отправились на поиски, и, когда мы со Спецкором последними грузились в лифт, они наконец привели пропавшего из бара, где он угрюмо рассматривал бесчисленные сорта пива.

— Мы давно забыли запах моря! — отмахнулся от упреков Поэт-метеорист.

Нам со Спецкором досталась миленькая комнатка с видом во внутренний дворик, замечательной ванной, телевизором и широкой супружеской кроватью.

— Как будем спать? — спросил он. — Как братья или как любовники?

— Это ошибка? — наивно предположил я.

— Нет, это не ошибка, это расплата за отдельный номер для генеральши...

— А почему расплачиваемся мы?

— Вопросов, подрывающих основы нашего общества, прошу не задавать. У тебя нет скрытой гомосексуальности?

— А у тебя?

— И у меня тоже! — ответил Спецкор.

Я аккуратно развесил в шкафу мой единственный выходной костюм, две сорочки и, мысленно поделив все выдвижные ящички пополам, разложил в них остальные вещи. Потом, взяв умывально-бритвенные принадлежности, пошел в ванную комнату.

— Биде с унитазом не перепутай! — вдогонку предостерег Спецкор.

В ванной было огромное, во всю стену зеркало, а раковина представляла собой углубление в широкой мраморной плите, являвшейся одновременно и туалетным столиком. Впрочем, это был не мрамор, а пластик. На столике лежали крошечные упаковочки мыла, шампуня и еще чего-то непонятного. Сбоку, на полке, высились стопки полотенец — от малюсенького до широченного — два раза можно обернуться. Я освежился под душем, на всякий случай пользуясь своим мылом (Друг Народов предупредил, что здесь все за деньги), а потом, протерев в запотевшем зеркале круг, как раз, чтобы вмещалось лицо, стал бриться, размышляя о том, что физиономия полнеющего мужчины незаметно превращается в ряшку, на которой трудно прочесть живые муки его души. Зато некто, страдающий, скажем, несварением желудка, взглянет на вас во всем ореоле духоборческой худобы, а в глазах у него будет светиться отчаяние падшего ангела. Женщинам это нравится.

— Ну и жмоты французы! — сказал я, выходя из ванной.

— Почему?

— На неделю мыла и шампуня с гулькин нос дали...

— Нет, это только на сегодня. Они каждое утро подкладывают. Можешь брать для сувениров, — объяснил мне Спецкор и проследовал в ванную.

Перед тем как затолкать свой чемодан под кровать, я решил переложить стратегические запасы продуктов питания, собранные предусмотрительной супругой моей Верой Геннадиевной, в тумбочку. И вдруг из одного пакета вытряхнулся молоденький рыжий тараканчик. Сначала он ошалелыми зигзагами помчался по нашей белоснежной кровати, а потом вдруг замер, шевеля усиками. Я тоже замер, возмущенный столь наглым нарушением всех правил выезда из СССР. Брезгуя раздавить предателя пальцами, я поискал глазами что-нибудь прихлопывающее, а когда осторожно взял в руки глянцевого проспекта отеля и размахнулся, рыжий эмигрант уже исчез. Он выбрал свободу.

— Пошли получать валюту! — распорядился, выхо-

дя из ванной, освежившийся Спецкор. — А потом обедать...

Товарищ Буров сидел в глубоком вольтеровском кресле посредине обширного номера с окнами на набережную. Перед ним, на журнальном столике, были разложены конверты и две ведомости.

— Распишитесь вот здесь! — приказал он, и мы покорно поставили свои закорючки напротив цифры 300. — А теперь вот здесь! — И он подвинул к нам еще одну ведомость.

— А это что? — спросил Спецкор.

— По двадцать франков с каждого на представительские расходы! — строптиво объяснил присутствовавший при сем Друг Народов. — Кроме того, каждый должен сдать по бутылке в общественный фонд.

— Крутые вы ребята! — не по-доброму удивился Спецкор.

— Так положено, — закончил тему товарищ Буров.

— А одна кровать в номере — тоже «так положено»? — голосом ябеды спросил я.

— У меня тоже одна! — возразил рукспецтургруппы, озирая свой беспредельный номер, и стало ясно, что спорить бесполезно.

Спускаясь вниз, в ресторан, я нетерпеливо достал из конверта три большие бумажки по 100 франков с изображением лохматого курнофея, похожего на батьку Махно в исполнении актера Чиркова. «Делакруа», — колебавшись, сообразил я и тихо загордился собой.

Обедали мы за длинным, видно, специально для нашей группы накрытым столом.

— Хорошо быть интуристом! — сказал Спецкор, озирая приличную сервировку, дымящиеся супницы и графины с чем-то темно-красным.

— Морс? — спросила Пейзанка.

— Сама ты морс! — нервно ответил Поэт-метеорист и придвинул к себе сразу два графина.

Появилась Алла с Филиала, переодевшаяся в бирюзовое, очень шедшее к ней платье. И хотя за столом было несколько еще не занятых мест, она, не задумываясь, направилась к свободному стулу между мной и Спецкором. Сердце мое дрогнуло совсем по-школьному. Я налил из графина ей и себе — это было сухое вино.

— Я очень люблю красное вино! — сказала она, пригубивая из бокала. — Именно красное — оно живое...

— А наш руководитель, судя по всему, любит коньячок из общественного фонда! — кивнул Спецкор на багровую физиономию товарища Бурова.

Официант, бережно склоняясь над каждым, разлил по тарелкам суп — протертое нечто, а узнав, что мы из Москвы (Друг Народов с заячьей улыбкой вручил ему красноречивый значок), он мгновенно куда-то убежал и вернулся, неся большую корзину толсто нарезанного белого хлеба.

— Алла, у меня к вам очень серьезный вопрос, — начал я, когда с супом было покончено, а второе еще не принесли. — Скажите, если бы на рублях изображали творческих работников — художников, композиторов или писателей... Как бы вы их распределили?

— Писателей?

— Допустим, писателей.

— А знаете, — сказала Алла, — я, когда получила конверт, почему-то подумала о том же самом. Странно, правда?

— Наверное, у нас много общего, — игриво заметил я и покосился на Спецкора, но он думал о чем-то своем.

— Наверное... — согласилась Алла. — Хорошо, давайте попробуем прикинуть, но только вместе... Писатели?

— Писатели.

— Значит, сначала на рубле... Самое трудное: с одной стороны, купюра мелкая, а с другой — ее в руках люди держат чаще всего...

— Может, Гоголя на рубль? — предположил я.

— Допустим, — кивнула Алла. — А на трехрублевку тогда — Тургенева.

— Может быть, лучше — Лермонтова? — засомневался я.

— Допустим. А Тургенева, значит, на пяти рублях?

— Принимается. А кого на десятку?

— На десятку? — задумчиво повторила Алла, отщипнула корочку хлеба и положила в рот. Я вдруг заметил, что мысленно называю ее не «Алла с Филиала», а просто «Алла». — Костя, а если на десятку Блока?

— Может, Маяковского?

— Не-ет, Блока!

— Для вас я готов на все! А кто у нас тогда будет на двадцати пяти рублях?

— Чехов! — не задумываясь, ответила Алла.

— На пятидесяти?

— Достоевский!

— Тогда на ста рублях — Лев Толстой! — подытожил я.

— Конечно! — обрадовалась Алла. — Видите, как все складно получилось! Складно и познавательно! Человек заглядывает в кошелек и приобщается...

— И главное — облагораживается процесс купли-продажи! — добавил я. — Гениально!

— А Пушкина вы на копейке выбьете? — ехидно поинтересовался Спецкор, который, оказывается, все слышал.

— Действительно, мы забыли Пушкина! — огорчилась Алла. — Без Пушкина нельзя...

Пока мы с Аллой горевали по поводу ущербности разработанной нами литературно-денежной системы, за столом вспыхнуло горячее обсуждение: как провести сегодняшний вечер, в программе обозначенной словами «свободное время». Большинство склонялось к тому, чтобы осуществить набег на какой-нибудь большой магазин.

— Мы даже можем включить это в программу, — предложил Торгонавт. — Экскурсия «Париж торговый»...

В ответ Диаматыч высказал опасение, что нас могут неправильно понять с идеологической точки зрения:

— Только прилетели и сразу — шоппинг...

— Выбирайте выражения! За столом женщины! — возмутилась Пипа Суринамская.

Поставили на голосование, и большинством решили отправиться в ближайший супермаркет. Мадам Лану вызвалась нас сопровождать. И вдруг Поэт-метеорист хватил кулаком по столу с такой силой, что зазвенела посуда, а один из опустевших графинов даже опрокинулся. Стало ясно, что поэт бесконтрольно напился.

— Мы давно забыли запах моря! — крикнул он и сжал свою голову ладонями, точно проверяя ее на спелость. А за его спиной изумленно застыл наш официант с подносом вторых блюд. Вероятно, он впервые видел, как человек вусмерть напивается сухим столовым вином.

IX.

В супермаркете я почувствовал себя папуасом, который всю жизнь молился на свои единственные стеклянные бусы и вдруг нежданно-негаданно попал в лавку, доверху набитую всевозможной бижутерией. Здесь было все, о чем только смеет мечтать советский человек, о чем он не смеет мечтать, и даже то, о чем мечтать ему не приходит в голову.

— Фантастика! — воскликнула Алла, разглядывая

прелестную заколку в виде стилизованного махаона. — Вы не чувствуете себя несчастным?

— Нет. Мы с вами приехали из счастливой страны. Нас можно осчастливить комплектом постельного белья или килограммом полтавской колбасы... А представляете, сколько всего нужно французу, чтобы быть счастливым?

— Представляю... — отозвалась она и указательным пальцем погладила махаона по глянцевоу крылышку.

Что в эту минуту сделал бы настоящий мужчина? Тот же Пековский или, скажем, гипотетический Игорь Маркович? Разумеется, он непринужденно взял бы понравившуюся заколку и вложил ее в прелестные ладошки. Но начнем с того, что я не настоящий мужчина, а совок, если выражаться сегодняшним языком, или ложкомой, если прибегать к изысканному словарю супруги моей молчаливой Веры Геннадиевны. Что это значит? А это значит, что судьба забросила вас в Париж и вложила в ваш бумажник три «делакруа», судьба которых предопределена еще в Москве: они должны стать дубленкой. Каждый потраченный франк может сорвать этот детально разработанный план и вызвать необратимые процессы в вашей семье. Миллионер, покупающий своей подружке остров с виллой, по сути, идет на гораздо меньшую жертву, нежели советский турист, угощающий в Париже приглянувшуюся ему даму мороженым. А махаон стоил целых 50 франков. Поэтому я горячо поддержал восхищение Аллы, но придал своему восторгу как бы музейный оттенок, словно на прилавке лежал экспонат из скифского кургана, принадлежащий государству.

Прогуливаясь по супермаркету, мы получили кое-какое представление о направленности интересов наших товарищей по поездке. Несколько раз мимо нас на крейсерской скорости пронеслась Пипа Суринамская, лицо ее побелело от напряжения, а глаза светились угрюмым восторгом. Казалось, вот сейчас она, Пипа, вдруг превратится в черную дыру и всосет в себя весь магазин вместе с товаром, продавцами и кассовыми компьютерами.

Товарища Бурова и Друга Народов мы обнаружили в секции видеоманитофонов. Они горячо обсуждали, за сколько в Москве сейчас идет последняя модель «JVC».

Спецкор сосредоточенно рылся в отделе противозачаточных средств и сексуальной гигиены. Увидев нас, он приветливо помахал рукой и, кивнув на выставку-продажу, крикнул:

— Рекомендую!

Диаматыч застрял возле электронных игрушек и крутил в руках жуткого киборга с загорающимися глазами.

— Игрушки покупает! — многозначительно отметил я.

— Это плохо? — спросила Алла.

— Это странно...

Торгонавт обессиленно сидел в кресле возле столика с толстыми каталогами. У него был вид человека, внезапно и непоправимо утратившего смысл жизни.

— Мне жаль их! — сообщил он, скашивая глаза на улыбчивую продавщицу, помогавшую примерять туфли толстой французской пенсионерке.

— Почему? — удивилась Алла.

— Торговля без дефицита — жалкая рабыня общества... Я бы здесь не смог!

Повстречали мы и Гегемона Толю. Таща за собой здоровенную Пипину сумку, он брел вдоль бесконечного ряда кожаных мужских курток и бормотал себе под нос:

— Ну, я его, падлу, урою! Гад буду — урою!

Потом мы с Аллой долго стояли возле рыбного

прилавка и с изумлением разглядывали дары моря: разнокалиберных устриц, мидий, креветок, здоровенных головастых рыбин, переложенных мелко наколотым льдом. Я поймал себя на том, что пытаюсь подсчитать, сколько в Москве может стоить огромный буро-красный лобстер, но делаю это как-то странно: вспоминаю равный ему по цене плеер с наушниками, прикидываю, за сколько такой плеер идет в Москве, и получается, что одна клешня лобстера стоит больше месячной зарплаты ведущего программиста!

— Послушайте, Костя, — прервала мои подсчеты Алла. — Что вы хотите купить своей жене?

— Жене? — переспросил я.

— Вы хотите сказать, что не женаты?

— Вера Геннадиевна приказала дубленку...

— Да-а? Рассказывайте!

И я не только рассказал о своем спецзадании, но выложил также все адреса, явки, пароли и даже показал карту.

— Неужели всего триста франков?! — всплеснула Алла руками, и в глазах ее мелькнуло то выражение, с каким металась по супермаркету Пипа Суринамская. — Костечка, возьмите меня с собой! Мне тоже нужна дубленка...

— Почту за честь!

— А вы давно женаты? — вдруг спросила она.

— С детства, — ответил я.

Когда через условленный час спецтургруппа собралась у автобуса, выяснилось, что никто ничего не купил. Это была лишь рекогносцировка, ибо главная заповедь советского туриста гласит: не трать валюту в первый день и не оставляй на последний!

Впрочем, нет: Диаматыч все-таки приобрел киборга с зажигающимися глазами, а Спецкор — пакетик с чем-то интимным.

Товарищ Буров кивнул важно, и Друг Народов провел перекличку: не было Поэта-метеориста, в бесчувственном состоянии оставленного в отеле, и Пейзанки...

— Где? — разгневался рукспецтургруппы.

— Она, кажется, попросила политического убежища в отделе женской одежды! — сообщил Спецкор.

— Никакой дисциплины! — возмутился Диаматыч.

Пейзанка действительно застряла там, возле полок, где было выставлено все джинсовое — от зимних курток до сапожек. Она держала в руках джинсовый купальник и безутешно рыдала. Покупатели-аборигены поглядывали на нее с опаской, а два седых, авантажных продавца совещались, как с ней поступить. В автобусе Пейзанка забила в самый дальний угол и всю дорогу плакала, поскуливая...

— Девочка просто не выдержала столкновения с жестокой реальностью общества потребления! — объяснил Спецкор.

— Заткнись! Деловой нашелся! — взорвался Гегемон Толя. — Ты в сельпо хоть раз был?

— Анатолий, не грубите прессе! — холодно предостерег Спецкор. — Я был везде...

— Сколько раз предупреждали! — возмутился Друг Народов. — Если человек не был в Венгрии, на худой конец — в Чехословакии, на Запад пускать недопустимо! Это же психическая травма!

Вернувшись в отель, мы выяснили, что Поэт-метеорист ожил и сидит в баре над бокалом пива, бормоча что-то про чаек:

— И кричим в тоске: «Мы чайки, чайки...»

Алла повела Пейзанку отпаивать седуксеном, а мадам Лану выдала каждому на ужин по 50 франков. Наблюдая нашу радость, товарищ Буров предупредил, чтобы мы губы-то особенно не раскатывали, ибо раньше принимающая фирма действительно частенько выдавала деньги на ужин и даже иногда на обед, но после того, как в советских тургруппах начались по-

важные голодные обмороки, эту практику прикрыли.

Мы со Спецкором отправились в наш номер, вскрыли баночку мясных консервов, порезали колбаски, сырку, вскипятили чаю. По ходу дела сосед рассказал мне историю о том, как один наш известный спортивный комментатор в отеле за рубежом, заткнув раковину соответствующей пробочкой, с помощью кипятика готовил себе супчик из пакета — и задремал... В результате — грандиозное замыкание и чудовищный штраф.

Поев, мы завалились в постель — каждый со своего края, — и Спецкор при помощи дистанционного пульта включил телевизор; шла реклама. Насколько я мог впетриться, роскошная блондинка расхваливала какой-то соус. Поначалу она, облизываясь, поливала им мясо и жареную картошечку, а потом просто-напросто, как в ванну, нырнула в гигантскую соусницу. Спецкор порыскал по программам и нашел информационную передачу типа нашего «Времени».

— Ты чего-нибудь понимаешь? — спросил я.

— Спасибо папе-маме, на репетитора не жалели. Волоку помаленьку!

— А мои жалели, — вздохнул я. — О чем хоть говорят-то?

— Над нами издеваются...

На экране возникло узкоглазое астматическое лицо Черненко.

— Клевещут, что якобы генсек шибко приболел, — перевел Спецкор.

— И точно! Последний месяц никого не провожает, не встречает... Вот смеху будет, если помрет!

— А знаешь анекдот? — оживился Спецкор. — Значит, мужик на Красную площадь на очередные похороны ломится. Милиционер спрашивает «Пропуск!» А мужик: «У меня абонемент!...»

— А знаешь другой анекдот? — подхватил я. — Очередь в железнодорожную кассу. Первый просит: «Мне билет до города Брежнева, пожалуйста!» Кассир: «Пожалуйста!» Второй просит: «А мне до города Андропова!» Кассир: «Пожалуйста!» Третий просит: «А мне до города Черненко!» Кассир: «Предварительная продажа билетов за углом!»...

Хохотал Спецкор громко, азартно, по-кинконговски колотя себя в грудь:

— Ну, народ! Ну, языкотворец! Предварительная... Жуть кошмарная!

Потом начался американский боевик. Я почти все понял и без перевода: Кей-Джи-Би готовит какую-то людоедскую операцию, сорвать которую поручено роскошному суперагенту, владеющему смертельным ударом ребра ладони. Переупотребляя всю женскую часть советской резидентуры и переубивав мужскую часть, он, наконец, добирается до самого главного нашего генерала, руководящего всей операцией. У генерала полковничья папаха, Звезда Героя величиной с орден Славы и любимое выраженьице: «Нэ подкачайтэ, рэбьята!» Суперагент засовывает генерала в трансформаторный ящик, где тот и сгорает заживо. Заканчивается фильм тем, что суперагент, получивший за выполнение задания полмиллиона, отдыхает на вилле в объятиях запредельной брюнетки, а проходящий мимо окна мусорщик достает микрофончик и докладывает: «Товарищ майор, я его выследил!»

— Чепуха! — фыркнул я.

— У каждого своя «Ошибка резидента», — рассудительно заметил Спецкор.

И совсем уже поздно, когда, наверное, уснули даже самые непослушные дети, началась викторина, суть которой сводилась к тому, что если пытающая счастья девушка не сможет ответить на вопрос ведущего, она снимает с себя какую-нибудь часть туалета. Если же она угадает, раздеваться придется ведущему. Первая девица (а разыгрывался «мерседес») очень скоро оста-

лась в одних ажурных трусиках и, не ответив на последний вопрос, с гримаской притворного отчаяния уже потянула было трусики книзу, но тут ведущий замахал руками и что-то закричал.

— Если она это сделает, передачу запретят за безнравственность, — перевел Спецкор.

— Перестраховщики! — расстроился я.

— Обидно, — посочувствовал мой сосед.

— У нас такого никогда не будет! — сказал я.

— Это точно, — согласился он.

Следующая девица, надо отдать ей должное, прилично подраздела ведущего, но в конце концов и сама осталась в трогательных панталончиках. Ей присудили поощрительный приз — тур на Багамы.

— Слушай, сосед, — сказал мне Спецкор. — У меня тут в Париже есть знакомая... Мадлен... Я ее в прошлом году в Домжуре снял... Тоже журналистка. Возможно, завтра я не приду ночевать...

— Ну, конечно, с ней в одной койке поинтереснее, чем со мной!

— Конечно... Так вот, ты не волнуйся, а главное — не поднимай шума...

— Спи с ней спокойно, дорогой товарищ! — успокоил я его. — Но вообще-то будь поосторожнее!

— Думаешь, кто-нибудь постукивает глубинщикам?

— Кому?

— В Комитет Глубинного Бурения — КГБ...

— Думаю...

— Кто?

— Профессор...

— Не-ет... Он староват для этого дела... и потом глубинщики по-другому выглядят...

— А кто же тогда?

— Не знаю... — пожал плечами Спецкор. — Может, этот кролик из общества дружбы. У них там полно — работа такая... Ладно, давай спать. Завтра у меня взятие Парижа. Если Мадлен на своем поле выступит лучше, чем в Москве, я предложу ей руку и сердце. Ты храпишь?

— Иногда...

— Ясно, — кивнул он и достал из тумбочки беруши.

Засыпая, я думал о том, что, не дай Бог, Спецкор соскочит к своей Мадлен, и тогда глубинщики меня затаскают...

Х.

В семь часов утра нас разбудили стук в дверь и бодрый голос Друга Народов:

— Через двадцать минут в штабном номере утренняя оперативка. Явка строго обязательна!

Потом мы слышали, как он барабанит в соседний номер и объявляет то же самое. Пришлось подниматься.

— Как ты думаешь, — спросил меня Спецкор, выглядывая из ванной с зубной щеткой в руке. — Буров действительно дурак или прикидывается?

— Не знаю... Окончательно выяснится, когда он доберется до самого верха...

— И в этом наша трагедия! — покивал Спецкор.

В номере рукспецтургруппы собрались все, кроме Поэта-метеориста и Пейзанки. Побледневшая Алла шепнула мне, что провозилась со своей соседкой почти целую ночь: таблетками отпаивала, утешала, чуть не колыбельные пела, та вроде бы успокоилась, но из отеля выходить наотрез отказывается — боится новых впечатлений.

Пока товарищ Буров признавал минувший день удовлетворительным и распространялся по поводу укрепления дисциплины в группе, Торгонавт рассказал, что Поэт-метеорист пропил в баре свои франки, теперь не может голову оторвать от подушки, умоляет принести опохмелиться и обещает вернуть с премии. Одним словом, «белка» — белая горячка.

На утренней планерке постановили: Поэта-метеориста и Пейзанку оставить в покое, так как он не может выйти из номера, а она не хочет.

Шведский стол — уникальная возможность из пестрой толпы завтракающих людей выявить соотечественников. Если человек наложил в свою тарелку сыр, ветчину, колбасу, кукурузные хлопья, булочки, пирожные, яблоки, груши, бананы, киви, яичницу-глазунью, а сверху все это полил красным соусом — можешь, не колеблясь, подойти к такому господину, хлопнуть по плечу и сказать: «Здорово, земляк! Мы из Москвы. А ты?» Но, судя по всему, кроме нас, советских в отеле больше не было.

Наевшись до ненависти к себе, мы отправились в автобусную экскурсию по городу: Елисейские поля, Тюильри, собор Парижской богородицы, Центр Помпиду... Мадам Лану неугомонно объясняла, что кем и когда было построено, кто где когда родился, жил, умер.

— Такое впечатление, что они домов не ломают, а только строят новые, — глядя в окошко, заметила Алла.

— Для того чтобы сломать дом, его нужно купить, — объяснил Спецкор.

— Ну, тогда бы они разорились на одном нашем Калининском проспекте! — вставил я и поймал настоженный взгляд Диаматыча.

Подъехали к Эйфелевой башне. Вблизи она напоминала гигантскую опору линии электропередачи. Мадам Лану рассказала, что поначалу французы были резко против этого чуда инженерной мысли, но потом привыкли и даже полюбили. А к двухсотлетию Великой французской революции башню должны отремонтировать.

— Тоже к круглым датам пену гонят! — не удержался я.

— Это — общечеловеческое! — добавил Спецкор.

— Вы мешаете слушать! — сердито одернул нас Диаматыч.

Я глянул на Спецкора с выражением, означавшим: «Ну, теперь-то ты убедился?» Он ответил мне движением бровей, которое можно было перевести так: «Возможно, ты не так уж далек от истины, сосед!»

Мадам Лану объяснила, что подъем на башню программой не предусмотрен, но у нас будет свободное время, и каждый сможет насладиться незабываемой панорамой Парижа. Стоит это недорого — 35 франков. По тому, как все переглянулись, я понял: никто, включая меня, не насладится незабываемой панорамой, предпочитая памяти сердца грубые потребительские радости.

Обедать нас повели в китайский ресторанчик, перед входом в который стоял большой картонный дракоша и держал в лапках рекламу, обещающую роскошный обед всего лишь за 39 франков 99 сантимов. Обед был действительно очень вкусный, но впечатление испортил Спецкор, сболтнувший, будто изумительное мясное рагу приготовлено из собаки. Особенно переживала Алла, ибо дома у нее остался не только сын Миша, но и пудель Гавриил. Потом был музей Орсе. Перед входом, на площадке, окаймленной каменными фигурами, выстроилась довольно приличная очередь.

— Ура! — закричал Торгонавт. — Я выиграл!

— Я бы вам не отдал коньяк! — огорошил его Спецкор. — Очередь за искусством — это святое...

Мадам Лану объяснила, что раньше здесь был обыкновенный вокзал, но со временем необходимость в нем отпала и его переоборудовали в музей искусства XIX века.

— Они из вокзалов — музеи, а мы из музеев — вокзалы! — сказал я.

— Молодой человек, вы забываете, где находитесь! — возмутился Диаматыч.

— Он уже вспомнил и больше не будет! — поручился за меня Спецкор, а бровями показал: «Да, сосед, ты абсолютно прав!»

Когда мы вошли в музей с высоким, переплетчато-прозрачным, как у нас в ГУМе, потолком, мадам Лану разъяснила, где что можно посмотреть, и вручила каждому по бесплатному проспекту. Мы разбрелись кто куда. Пипа Суринамская завистливо бродила возле портретов салонных красавиц и внимательно разглядывала их туалеты. Гегемон Толя пошел искать WC и застрял возле крепкотелых майолевских женщин. Товарищ Буров и Друг Народов остановились возле «Олимпии» и заспорили, сколько она могла бы потянуть на аукционе в Сотби. Удивил Торгонавт: он рассматривал картины через сложенную трубочкой ладонь и приговаривал: «Какие переходы! Какой мазок!» Увидев нас, он обрадовался и повел показывать «умопомрачительного» Пюви де Шаванна. При этом он возмущался тем расхожим мнением, которое бытует о торговых работниках, а ведь среди них есть люди тонкие, образованные. В частности, он, Торгонавт, уже много лет собирает молодой московский авангард.

После музея был запланирован официальный визит в советское посольство. В автобусе Алла наклонилась ко мне и тихо сказала:

— Костя, у меня к вам просьба!

— Слушаю и повинуюсь! — ответил я, точно джинн, скрестив на груди руки.

— Буров просил меня вечером зайти к нему в номер...

— Зачем? — ревниво спросил я.

— Сказал, хочет посоветоваться... Я же в активе руководства...

— Ага, посельсоветоваться! Ясно...

— Костя, я прошу вас. — И она положила свою ладонь на мою руку. — Я пойду в 10 часов. А вы через пятнадцать минут постучитесь к нему. На всякий случай... Вообще-то я уверена, что справлюсь сама. Знаете, бабушка научила меня специальному взгляду, отрезвляющему мужчин...

Алла вдруг отстранилась, вскинула голову и окатила меня ледяным презрительным взглядом, явно обладающим нервно-паралитическим воздействием.

— Ну, как? — спросила она, снова наклоняясь ко мне. — Действует?

— На меня действует, — сознался я. — А как на Бурова, не знаю. Так что постучу обязательно, тем более что я обещал Пековскому...

Алла посмотрела на меня с каким-то недоумением, разочарованно улыбнулась и отвернулась к окну...

Здание посольства, монстр, появившийся на свет в результате сожительства конструктивизма и эпохи украшения, располагалось, как объяснила мадам Лану, в чрезвычайно фешенебельном районе Парижа. Встретили нас так, как встречают гостей, от которых не удалось отвязаться. Подтянутые ребята нехотя проводили нас в комнату, куда минут через десять нехотя зашел молодой человек, удивительно похожий на нашего Друга Народов (они даже переглянулись), но только с величественною усталостью в движениях и ровными зубами. Пока товарищ Буров докладывал о целях и задачах нашей спецгруппы, молодой дипломат кивал и с недоверием разглядывал скороходские башмаки Гегемона Толи.

— Нравится Париж? — спросил он отечески.

— Очень! — простодушно ответили мы.

— Может быть, нужна наша помощь? — поинтересовался он таким тоном, что попросить после этого о чем-либо мог лишь человек, напрочь лишенный совести.

— Нет. У нас все в порядке, — ответил Друг Народов, поедая глазами своего везучего двойника. — Группа дружная, дисциплинированная...

Томный полпред равнодушно кивнул, внимательно поглядел на часы и для вежливости полюбопытствовал:

— Может быть, есть вопросы?

— Скажите, а трудно здесь работать? Все-таки капиталистическое окружение! — заискивающе спросил Диаматыч.

— Даже не представляете себе, как трудно! — вдруг оживился он. — Страшно тяжело! Все время на нервах. Все время буквально в боевой готовности! Вот позавчера: опять диверсия... Выхожу на улицу, чтобы поехать за город, а у моего «мерса» проколота шина... Понимаете?

— Ужасно! — вдруг вылетело у меня. — А я вот недавно оставил велосипед возле универсама, возвращаюсь — нет! Представляете?!

Международный юноша поморщился и встал, давая понять, что после такого глумления говорить ему с нами просто не о чем... Возле автобуса Друг Народов набросился на меня с упрёками:

— Как вы посмели?! Это такой уровень!

— Ну и правильно! — заступился за меня Спецкор. — Нечего выпендриваться!

— Делаю вам замечание, Гуманков! — сурово предупредил товарищ Буров.

Вечером после хорошего ужина с вином, проводив на свидание с Мадлен Спецкора и вполглаза глядя по телевизору фильм о том, как в оккупированном Париже расцветает любовь Катрин Денев и Жерара Депардье, я обдумывал неизбежность драки с товарищем Буровым и восстанавливал в памяти свои скромные навыки рукопашного боя. Лет семнадцать назад в строительном отряде меня крепко поколотили деревенские мордовороты только за то, что я из коровника, который мы строили, забрел в село. Вот, собственно, и весь навык. Потом я почему-то вспомнил, как тем же летом, в том же стройотряде Пековский оприходовал ту невзрачную девицу с экономического факультета, свою будущую жену, а после уверял, что даже понятия не имел, кем работает ее папа, а если бы имел понятие, то ни за что не стал бы иметь ее — девицу. Девица, разумеется, подзалетела, а Пековский, который уже отправил в больницу на разминирование двух отзывчивых однокурсниц, вдруг ни с того ни с сего взял и женился на жертве своего любово-страстия. Ребенка она, кстати сказать, доносить не смогла, а поскольку в стройотряд они больше не выезжали, то и детей у них не было.

В 22.10 я, как часовой, стоял у двери товарища Бурова и чутко прислушивался к происходящему в номере. Тишина. Легкое позвякивание чего-то стеклянного. Потом приглушенная музыка. Ничего, напоминающего посягательство на женскую добродетель. Я обдумывал, как буду объяснять сердитому на меня рукспецтургруппы свой поздний визит, когда открылась дверь другого номера и оттуда крадущейся походкой вышел Диаматыч, одетый в синюю шерстяную олимпийку «А ну-ка, дедушки!» и кожаные тапочки.

«Докладывать пошел, гад!» — подумал я и незаметно последовал за ним.

Как и следовало ожидать, спустившись в холл, он сразу подошел к телефону-автомату, при помощи которого, между прочим, можно было позвонить даже в Москву, и снял трубку. Когда, прячась за колоннами, я приблизился настолько, что смог слышать его голос, разговор уже шел к концу.

— Нет, завтра мы в семьях... Послезавтра... В одиннадцать... Раньше нельзя, у нас программа... Да, и, конечно, конспирация... Нет, ничего не изменилось... Следят за каждым шагом... Около льва... Я тоже...

Вслушиваясь в его слова, я механически глянул на

часы и обомлел: 22.28. Черт подери, пока я выслеживаю этого старого глубинщика, Алла там, в номере, в лапах мордатого Бурова. Бедняжка, она надеется остановить этого жлоба при помощи бабушкиного взгляда! Я рванулся назад...

Они стояли на пороге номера и церемонно прощались. Товарищ Буров нежно удерживал ее пальцы в своей лапе и журчал:

— Ничего не поделаешь, но на один день вам придется стать моей женой...

— Все это так неожиданно... — жеманилась Алла, стараясь отнять руку.

— Есть у советских людей такое слово — «надо», Аллочка! Слышали?

— Приходилось... — вздохнув, отвечала она.

Приметив меня, рукспецтургруппы с неожиданным добродушием заметил, что отбой был уже полчаса назад. Алла даже не посмотрела в мою сторону.

XI.

Утром, когда я умывался, вернулся Спецкор — загадочно-бледный и томно-вялый.

— Ну и как? — спросил я.

— Париж — город влюбленных! — ответил он и упал на кровать. — Если будут спрашивать, почему меня нет на планерке, скажи им, что я выпит до дна...

Но на планерке было не до моего выпитого соседа: мучительно решали, что делать с Поэтом-метеористом и Пейзанкой. Постановили: пускать их в простые французские семьи невозможно, так как он может навсегда исказить представления о советском творческом работнике, а она окончательно чокнуться. Пусть сидят в отеле и приходят в себя.

Потом говорили о распределении по семьям. Товарищ Буров разъяснил, что при составлении списков учитывались запросы как нашей, так и французской стороны. Друг Народов, выставив по-заячьи зубы и прихихикивая, добавил, что французы — затейники, любят разные штучки и вот учудили: каждому члену нашей группы выдается картонная половинка какого-нибудь животного, а вторая половинка у французов. Таким образом, как и предполагал старик Платон, каждый находит свою половину. Мне досталась ушастая ослиная голова.

Во время завтрака обсуждались баснословные случаи, когда, попав в богатую буржуазную семейку, советские туристы возвращались домой сказочно одаренными. Так, например, в прошлом году зафиксирован факт, когда владелец фирмы готового платья одел своего гостя буквально с головы до ног. Ходят также легендарные слухи о подаренных двухкассетниках, видеоманитофонах, даже телевизорах. Сомнение вызвала история новенького «рено», якобы презентованного чрезвычайно полюбившемуся советскому гостю. Особенно много таких фантастических случаев знал Торгонавт.

— Еще египтяне считали, что крокодилы приносят удачу! — говорил он, показывая всем остальным свою половину с длинной зубастой пастью.

За завтраком Алла села рядом со мной, но ела молча, не отрывая глаза от тарелки, и лишь однажды царапнула меня отчужденным, бабушкиным взглядом. Разумеется, первым не выдержал я.

— Не надо так на меня смотреть... Случилось непредвиденное...

— Возможно, но на вас, Костя, нельзя положиться...

— На вас тоже...

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду ваши матримониальные планы!

— Я женщина свободная!

— Оно и заметно...

Йогурт — к изумлению аборигенов, мы сгваздывали по три-четыре упаковки за завтрак, чтобы попробовать разные сорта — вишневый, клубничный, банановый, апельсиновый, черничный и так далее, — так вот, йогурт мы ели во враждебном молчании. Гегемон Толя, к полному ужасу официантов, приволок со шведского стола огромный ананас, имевший явно рекламное назначение и даже для долговечности покрытый воском. Пока звали метрдотеля, Толя уже отломил жесткое зеленое оперение и, по-арбузному прижав ананас к груди, взрезал его зубчатым столовым ножом.

— Ладно, — нарушила молчание Алла. — Если вам наплевать на меня, сдержите по крайней мере слово, которое вы дали Пековскому!

— Что я должен делать?

— Когда будут распределять по семьям, стойте рядом со мной.

— И только-то?

— Достаточно...

Распределение по семьям происходило в холле. Французы оживленно переговаривались, смеялись и помахивали своими половинками картонных зверушек. Мадам Лану что-то сказала им, и это было как выстрел из стартового пистолета.

— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — пробурчал еще сонный Спецкор, рассматривая своего с опозданием полученного полужирафа.

Первой соединилась Пипа Суринамская. Ее хозяйка оказалась такой же дородной и осанистой, поэтому, чтобы приветственно чмокнуться, им пришлось основательно вмяться животами друг в друга. Кажется, товарищ Буров не соврал: при распределении действительно учитывались взаимные интересы. Ослабленного Спецкора увел длинный француз в берете и свободной блузе «гогеновке» — скорее всего художник. Друга Народов забрал респектабельный, до синевы выбритый господин, несомненно, имевший отношение к финансово-банковской системе.

Товарищ Буров наблюдал за этой разборкой с полководческой усмешкой, иногда при этом он нежно поглядывал на Аллу и снисходительно — на меня. А тем временем оборванный парень с петушиным гребнем на голове, заглядывая в картонку, изображавшую крокодилий хвост, словно в бумажку с адресом, шел вдоль наших поредевших рядов.

— Почему я? — всхлипнул Торгонавт и спрятал за спину зубастую пасть аллигатора.

— Судьба! — посочувствовал я.

— К черту! — прошептал Торгонавт, метнулся к Гегемону Толе, равнодушно ожидавшему своей участи, и быстро поменялся с ним картонками.

— На хрена? — удивился Гегемон Толя, обнаружив, что носорог в его руках вдруг превратился в крокодила.

— Буров велел! — объяснил коварный Торгонавт.

— Ну и хрен с ним! — смирился обманутый.

Обмен привел к тому, что через минуту Торгонавт уже пожимал руку стройному седовласому кюре, одетому в строгий костюм со стоячим клерикальным воротничком. Кисло улыбаясь, Торгонавт давал понять, что святой отец, конечно, не предел желаний, но все-таки лучше, чем немый панк!

А панк тем временем высмотрел в мозолистой руке Гегемона Толи недостающую половинку своей рептилии, приблизился, восторженно оглядел его с ног до головы и, тщательно коверкая русские слова, сказал:

— Ви э-э-э... есть... наша... гость... Ви?

— А хрен его знает...

— Как э-э... вам зовут?

— Толик...

Тогда парень, тряхнув своим петушиным гребнем, обернулся и крикнул в распахнутые двери отеля:

— Мама, папа! Мсье Толик...

Там, на тротуаре, возле ослепительного, длинной в пол-улицы лимузина стояла аристократическая пара: у мужчины в петлице был цветок, кажется, орхидея, а женщина куталась в серенькое манто.

— Костя, а вы знаете, что это за мех? — тихо спросила Алла.

— Кажется, мерлушка...

— Сами вы мерлушка. Это шиншилла!

Уводимый кюре Торгонавт оглядывался на все это полуобморочным взором и шарил по карманам с той нервной торопливостью, с какой обычно ищут валидол. А Гегемона Толю уже бережно влекли к лимузину, пожимали руку, выскочивший из машины шофер с полупоклоном открывал ему дверцу, а господин с орхидеей помогал забраться в сафьяновое нутро автомобиля, который наконец плавно тронулся и тянулся вдоль окон долго-долго, как поезд. И по тому, каким мечтательным взглядом проводил их товарищ Буров, я осознал: изначально аристократическая семейка предназначалась ему, но рукспецтургруппы пожертвовал очевидной выгодой ради иных, более дорогих удовольствий.

У бедного и безвластного мужчины есть одно преимущество: если женщина ему и достается, то даром.

Алла незаметно толкнула меня локтем в бок: перед нами стояла пожилая чета — старичок в добротном клетчатом пиджаке, пестром платке, повязанном вокруг морщинистой шеи, и фиолетово-седая дама в брюках и кофте с глубоким вырезом. Они смотрели на нас, улыбаясь совершенно одинаково — так бывает у супругов, проживших вместе всю жизнь. Дама протянула Алле свою половинку медвежонка и что-то зашурчала по-французски.

— Мы очень рады, что нам пошли навстречу и предоставили возможность принять у себя советскую супружескую пару! — перевела Алла и посмотрела на меня со строгостью. Но пока она отвечала французам пространной и, судя по выражению их лиц, тонкой любезностью, товарищ Буров, торжествуя, подвел ко мне толстенького господина в полицейской форме и представил:

— Мосье Гуманков — рашен програмишен...

— Ес ит из! — обрадовался ажан, тоже, видимо, не полиглот.

Алла засмеялась, взяла из моих рук ушастую ослиную голову и приложила ее к хвостовой части, которую держал француз.

— Хау проблемз? — озадачился товарищ Буров.

Алла долго что-то разъясняла по-французски, в результате чего старички громко засмеялись, а полицейский восторженно хлопнул рукспецтургруппы по спине.

— Фальшен ситуэйшен! — взмолился товарищ Буров, догадываясь, что становится жертвой чудовищного по своей несправедливости обмана.

Алла улыбнулась и, понизив голос, сообщила что-то специально служителю закона, в ответ он щелкнул каблуками.

— Что ты ему сказала? — спросил я.

— Сказала, что товарищ Буров с удовольствием отдает себя в руки славной французской полиции...

— Понял... А до этого?

— До этого... — Алла посмотрела на меня с сомнением. — Пусть это останется моей маленькой тайной. Но боюсь, что больше меня за границу не пустят...

— Меня-то уж точно не пустят... — вздохнул я.

(Окончание следует).

ОДПИСЫВАЙТЕСЬ

на

Библиотеку

"Юности"

1. Булат ОКУДЖАВА. Собрание сочинений в 6 томах.
Будь здоров, школяр ! Бедный Авросимов. Путешествие дилетантов. Свидание с Бонапартом. Рассказы. Стихотворения.
2. Василий АКСЕНОВ. Собрание сочинений в 9 томах.
Коллеги. Звездный билет. Апельсины из Марокко. Бумажный пейзаж. Ожог. Остров Крым. Право на остров. Скажи изюм. Московская сага. В поисках грустного бэби; а также другие произведения.
3. Кир БУЛЫЧЕВ. Собрание сочинений в 8 томах.
Тринадцать лет пути. Закон для дракона. Последняя война. Агент КФ. Подземелье ведьм. Похищение чародея; а также другие произведения.
4. Серия "Приключения на суше и на море" в 8 томах.
Старинные авантурные романы: републикация изданий начала века. Авторы: Макс ПЕМБЕРТОН, Луи БУССЕНАР, Луи де РУЖЕМОМ, Габриэль ФЕРРИ и другие.
5. Великий Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. Книга воспоминаний. Подарочное иллюстрированное издание с использованием архивных материалов.

А ТАКЖЕ открывается подписка на
ДЕТСКУЮ БИБЛИОТЕКУ "ЮНОСТИ" "АВТОРСКАЯ СКАЗКА".
Джанни РОДАРИ. Приключения Чиполлино. Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Маленький принц. Памела ТРЭВЕРС. Мэри Поппинс. Ален Александер МИЛН. Винни-Пух и все остальные. Льюис КЭРОЛЛ. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Юрий ОЛЕША. Три толстяка. Александр ВОЛКОВ. Волшебник Изумрудного города; а также другие сказки советских и зарубежных авторов.

Библиотека
"ЮНОСТИ"



нужное отметить

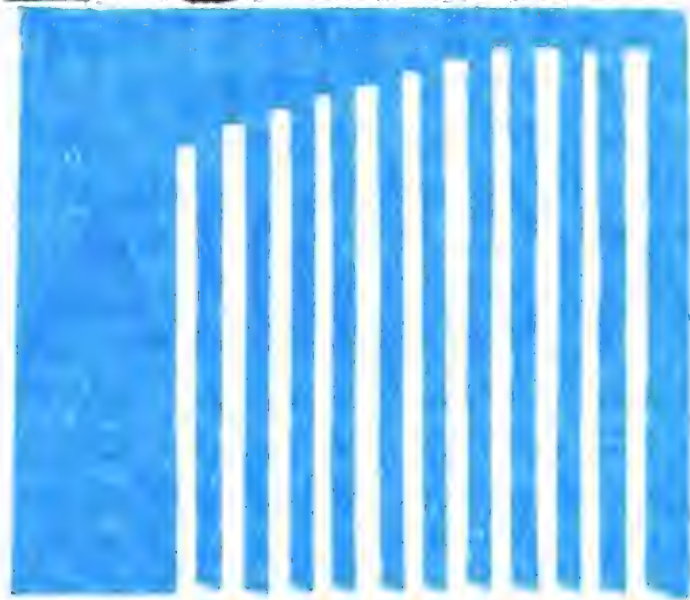
	залоговая стоимость за 1 том		количество оплаченных экземпляров
	в мягкой обложке	в твердой обложке	
<input type="checkbox"/> Булат ОКУДЖАВА (6 томов)	—	<input type="checkbox"/> 15 руб.	—
<input type="checkbox"/> Василий АКСЕНОВ (9 томов)	<input type="checkbox"/> 10 руб.	<input type="checkbox"/> 15 руб.	—
<input type="checkbox"/> Кир БУЛЫЧЕВ (8 томов)	<input type="checkbox"/> 10 руб.	<input type="checkbox"/> 15 руб.	—
<input type="checkbox"/> Серия "Приключения на суше и на море" (8 томов)	<input type="checkbox"/> 8 руб.	<input type="checkbox"/> 13 руб.	—
<input type="checkbox"/> Великий Князь АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ	—	<input type="checkbox"/> 25 руб.	—
<input type="checkbox"/> Детская библиотека "Юности" (24 книги)	<input type="checkbox"/> 58 руб.	—	—
Итого: руб.+15 руб. (вступительный взнос) =руб.			

фамилия, имя, отчество (или название организации)

почтовый адрес

телефон

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА БИБЛИОТЕКУ „ЮНОСТИ“



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА НУЖНО:

- сумму, полученную в графе "ИТОГО" подписного купона, перечислить платежным поручением на р/с 608457 Мосбизнесбанка МФО 201553 или почтовым переводом по адресу: 103055, Москва, К-55, а/я 122. Библиотека "Юности".

- заполненный подписной купон Библиотеки "Юности", копию платежного поручения или квитанцию почтового перевода, открытку с обратным адресом заказчика для уведомления о выходе первого тома направить по адресу: 103055, Москва, К-55, а/я 122. Библиотека "Юности".

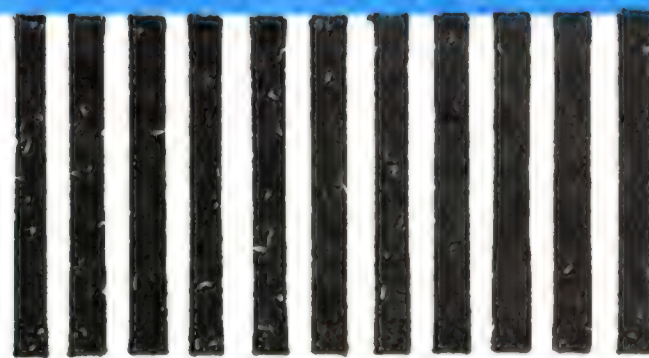
За неправильно оформленный заказ редакция журнала ответственности не несет.

По желанию организации-заказчика высылается типовый договор.

Книги будут высылаться наложенным платежом.

Последний день приема заказов - 1 ноября 1991г.

Справки по тел.: 251 27 57



подписной купон
Библиотеки "Юности" возвращается по
адресу: 103055, Мос-
ква, К-55, а/я 122.

Библиотека
"Юности".

ЮНОСТЬ



Владимир САЛИМОН

☆☆☆

Собака лает, ветер посит,
но все равно — собака лает,
вслед за балбесом, за барбосом
чуть что — бежит, хвостом виляет.
Чуть что — споткнешься, нос расквасишь,
а если нет — дойдешь до точки,
До «вот те крест», до «Христа ради»,
до... «свежевымытой сорочки».
Тебе не слали мебель на дом...
Ни в Трускавцах,
ни в Холмогорах
нет апельсинов — и не надо!
Но где достать свинец и порох?!

☆☆☆

Весна случится черт-те как — не вдоль, не поперек,
вдруг посреди зимы пойдет бузить Илья-пророк...
Весь вечер дождь стучал в окно, и гром гремел всю ночь,
стараясь всех нас в порошок до срока истолочь.
Я просыпался и лежал недвижно в темноте,
лежали мы — кто на спине, а кто — на животе.
Сосед спросонья воду пил, и было слышно, как,
стараясь нас не разбудить, он кашляет в кулак.
Чудак, он думает, мы спим, он думает: — Ведь вот
куда как сладко на Руси, как крепко спит народ.

☆☆☆

С. Семенову

Когда «Правительственный вестник»
тебе приносит почтальон,
с чего начать — в каком уезде
затеребили бабы лен?..

В какой губернии под вечер
ловили рыбу мужики,
да изловили труп калеки —
то ль без ноги, то ль без руки?..

Бог весть, инспектор рыбнадзора
или заезжий ротозей
стал сущей дрянью, полным вздором,
добычей местных карасей.

Нет, красноносый, синерожий
не только тот, кто пьет вино,
но тот, кто жизни суматошной
смог предпочесть речное дно.

Чуть замечтался... засмотрелся,
а караси уж тут как тут,
глядь, прямо в омут, прямо в бездну
счастливица под руки ведут.

☆☆☆

И не туды и не сюды,
и, кроме собственного носа,
все остальное — пустяки,
все только семечки, колеса.
Вот и не знаешь наперед —
в Капилавасте или в Мекке
родишься ты или умрешь
в каменотесе,

в дровосеке,
в цветке на тонком стебельке,
в собаке, в лошади, в верблюде,
скорей в Иуде, чем в Христе...
В такой подлюке и паскуде,
что сам себя — не в бровь, но в глаз,
за ухо треплешь, тычешь носом
все в щи да кашу, в пыль да грязь,
все как под кайфом... под наркозом.

☆☆☆

Душа Тряпичкин, на Почтамтской,
когда продуюсь в пух и прах,
сниму квартирку — тесно, смрадно,
хозяйка щиплетя впопыхах.
Широкогруда, толстозада,
в ночной чепец облачена,
когда бы знал ты, Боже правый,
как больно щиплетя она.
Как трудно дышится в объятьях
великовозрастных матрон.
Скрипят и гнутся кости наши,
и треск, и хруст со всех сторон.
Чуть свет является старьевщик.
— Старье берем! — кричит старик. —
Старье берем!.. — Едва очнешься,
и сам срываешься на крик.
— Я сам, старьевщик, цену знаю,
я знаю всем своим стихам:
хромает рифма, ритм хромает...
Почто тебе весь этот хлам?!

☆☆☆

О смутном времени — едва ли,
скорей о чем-нибудь таком,
о чем — ни ватными губами
и ни суконым языком.
Июньский день идет на убыль.
Он погружается во мрак —
торчат одни столбы да трубы,
коLOSS Родосский да маяк
Александрйский.

Скоро полночь.

Старик-сигнальщик чуть живой
с трудом карабкается в гору
по лестнице, по винтовой.
— Ты кто? — Я Клиний из Милеты.
А ты? — А я... ему в ответ
бубню, что мочи больше нету,
что чая нет, что кофе нет.
Позавчера давали мыло,
и мне досталось полкуска —
что ж, голова моя плешива,
спина горбата, грудь узка.

☆☆☆

Что мы не избежали суеты,
так это верно. Праздности и лени.
Кому раз плюнуть — голову сложить,
кому раз плюнуть — преклонить колени.
В конце концов — не все ли нам равно?..
Вам все равно: скворец или синица...
Мне безразлично: дрозд или щегол...
Но кто сказал, что курица не птица?!
Что пуля дура?.. Истина в вине?
Вино и пуля... Господи Иисусе,
когда бы не был я в Кара-Кале,
когда бы не жил в Рузе и Тарусе,
я бы не смог свой страх преодолеть,
перебороть желание со страху
глазенки жмурить, ушки затыкать
и задирать на голову рубаху.
Чуть рукавом зацепишься... Чуть-чуть...
Еще чуть-чуть... И весь гусиной кожей
покроешься, а это — стол да стул,
лишь гвоздь в стене,
лишь вешалка в прихожей.



Григорий БАКЛАНОВ

Два рассказа

На фото: Григорий Бакланов и Юрий Любимов.
Апрель 1972 года. Набережные Челны.

Ждали приезда Гришина. В те, не столь дальние времена Гришин в Москве был человек всевластный: первый секретарь городского комитета партии, член Политбюро, словом, Первый. Уже население Москвы подступало к девяти миллионам человек, жили здесь и люди, чьи имена войдут в историю народа, но Гришин был Первый. И так это говорилось на аппаратном языке, так мыслилось. Был свой Первый в Ленинграде, и в каждом городе и селе — Первый. И слово Первого — закон.

Стоят сейчас на площади Тургенева в Москве какие-то вроде бы недостроенные здания, затевалось что-то большое, но, как рассказывал мне архитектор, еще в макете показали их Гришину: благорасположения искали, погордиться ли хотели — Бог весть. Тот прицелился взглядом — высоки. И, будто на его кровные строилось, усек мановением пальца. Такие они и стоят на одной из главных площадей Москвы.

И вот в Театре на Таганке разнесся слух: такого-то числа, в среду, Гришин посетит спектакль «Пристегните ремни!». Все переполошились. Директор театра Дупак, в обязанности которого входило знать и предвидеть, уверял, что члены Политбюро имеют обыкновение посещать театры по средам, и непременно вставлял в программу наш спектакль на среду. Каких уж милостей он ждал, сказать не могу, но человек он был решительный, служил в кавалерии во время войны и в кинофильмах о войне играл эпизодические роли командующих. Пытался я ему втолковать, что ничего хорошего из такого посещения не выйдет, довольно и того, что народ ломится. В Театр на Таганке вообще было не попасть, за билетами записывались с ночи, а уж на премьеру съезжались известнейшие, влиятельные люди, ну и, разумеется, торговые работники в немалом числе. Это было престижно, этим в какой-то степени измерялось положение в обществе: зван на премьеру или не зван. И бывало интересно наблюдать, как в фойе перед началом прогуливаются гости, словно бы соизмеряясь ростом.

Пьеса же «Пристегните ремни!» шла с большим шумом, на нее со временем стали привозить иностранные делегации: вот, мол, какое у нас свободомыслие. Что и как переводили им, судить не берусь.

Между прочим, достиг этот шум ушей Шелеста, бывшего Первого человека Украины, к тому времени пенсионера, то есть, по нашим меркам, канувшего в небытие. При Сталине в отношении «бывших» решалось фундаментально и просто, если канул, так уж канул без следа: «Бубнов Андрей Сергеевич... 1 августа 1938 г. военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян... Рыков Алексей Иванович... 13 марта 1938 г. приговорен к расстрелу, расстрелян 15 марта этого же года...» И все, кто знал и близок был, и соприкасался, и соприкасался с теми, кто соприкасался, — всех, всех заодно уж... Вот так сидели недавно в инфекционном отделении на Соколиной горе пассажиры огромного самолета, и экипаж, и те, кто успел с ними как-то соприкоснуться. Один пассажир заразился в Индии холерой, замели всех. Только ни холера, ни чума не уносили и в средние века столько, сколько у нас унесено.

Это уж Хрущев, возможно, и свою судьбу провидя, завел мягкие порядки: соратников не казнить, а со всеми удобствами отправлять на пенсию. Они вскоре

и отправили его, а потом друг друга начали ссаживать с кресел, и вот бывший Первый Украины, как все бывшие, обрел местожительство в Москве, а не среди благодетельствованного им народа, который в праздники, ликуя, нес над собой многочисленные его портреты, омоложенные лет эдак на пятнадцать, полагая простодушно, что на себя нынешнего даже и ему смотреть не захочется. И живой Шелест, в шляпе, подпертой ушами, в окружении сподвижников, жестом руки приветствовал свои портреты и колонны трудящихся. Все это было, а теперь бывшим стал он, и захотел на досуге посмотреть наш спектакль. Он не помнил, разумеется, что подобно тому, как Гришин движением пальца усек здания, он тоже чуть было не запретил фильм по моему сценарию. Сам он фильма не видел, но кто-то что-то нашептал ему в ухо, он тут же приставил к уху трубку правительственного телефона в Киеве, а зазвонило в Москве.

Тогда, как говорилось, правила династия Романовых: один Романов сидел в Ленинграде, другой возглавлял цензуру, а третий Романов удобно расположился в кресле председателя Комитета по кинематографии, и всем троим кресла были велики. Вот у кинематографического Романова и раздался телефонный звонок. А он уже имел неосторожность похвалить фильм и даже торжественно пригласил к себе в кабинет режиссера и меня, и был принесен чай (ему одному!), и он, отвалившись в кресле, со вкусом прихлебывая из стакана в серебряном подстаканнике, поздравлял, делился умозаключениями, я даже подумал грешным делом, нет ли чего стыдного в фильме, если он хвалит. Но раздался звонок из Киева, и все произошло, как в известной частушке: «Я любил тебя, Маланья, до партийного собрания, как открылись прения, изменилось мнение».

И вот от недавно еще грозного Шелеста звонят, просят билетик на спектакль.

Я стоял в фойе, издали смотрел, как в общей толчее он проходит в зал, приметной была его круглая, наголо бритая голова с большими губами и складкой на шее, под затылком. Но в дверях по-деловому поспешающий заместитель министра культуры Воронков оттеснил его, проще сказать, локтем отодвинул и прошел сам, не извинившись, не оглянувшись даже. Чиновный человек, и Шелеста не заметил!

Был Воронков из комсомольской рати, а комсомол, как известно, готовил кадры не только для партии, но и для Комитета государственной безопасности. И поместили Воронкова в Союз писателей на должность секретаря по оргвопросам, все звонки и распоряжения «сверху» шли через него, на всем требовалась его виза. Мог ли он при такой должности писателем не сделаться? Нашелся соавтор, и оба они стали лауреатами премии Ленинского комсомола, откуда Воронков и был родом.

Однако, как говорится, и на старуху бывает проруха. В самый разгар его успешной деятельности поехал в Англию Анатолий Кузнецов, ныне покойный, да и исчез там из гостиницы, попросил политического убежища. Рассказывали, готовился он задолго, намеревался чуть ли не под водой пересечь границу, а потом уж, из турецких вод... Но в конце концов выбрал путь самый проверенный: еду, мол, собирать материалы о Ленине. Ради такого благого дела Воронков лично походатайствовал за него. А уж когда случилось и посыпались выговоры на всех причастных и не причастных, только Воронков, он единственный почему-то никак не пострадал. И, отнюдь не будучи пророком, я сказал тогда: этого ему не простят, пострадавшие не простят. И действительно, вскоре пересел он в кресло замминистра культуры, что, как считали, означало понижение. Впрочем, я в этом не силен. Как же ему было не стараться в новой должности своей!

И он-таки успел запретить в Театре на Таганке спектакль «Живой» по повести Бориса Можая и проделал это мастерски.

Был год страшной засухи и пожаров, дымом горящих торфяников заволокло Москву. И вот в эту жару и сушь свезли в театр председателей колхозов, прибыли работники Министерства сельского хозяйства. Все первые ряды блеснули Золотыми Звездами Героев Социалистического Труда, духота в зале стояла страшная, а актеры... Знали, что те запрещать съехались, видели, как хмуро глядят на них из зала, а играли вдохновенно. Когда же, отыграв, удалились, чтобы из-за кулис послушать, вот тут и начался главный спектакль. Один за другим по списку выходили к микрофону председатели колхозов, и, обливаясь потом от жары, каждый будто передовую газету читал, все слова оттуда: очернение, искажение колхозной действительности... Но еще и с личной обидой, с гневом: в пьесе тоже выходил на трибуну председатель, багровел весь и требовал запретить «враз и навсегда». И вот их свезли принимать спектакль, а из Москвы в эти самые подмосковные колхозы гнали поливальные машины, чтобы хоть на огородах что-то из урожая спасти. Постановщиком всего этого спектакля был Воронков, который оттолкнул в дверях бывшего Шелеста, не узнал его.

И теперь, через эти двери, в этот зал, впервые со времени основания театра, почетным гостем должен был пожаловать Виктор Васильевич Гришин. Уже в час дня явились товарищи в штатском, осмотрели помещение, обследовали все ходы и выходы, все проверили. А жизнь в театре шла своим чередом. Обычно в четыре, в начале пятого буфетчица начинала готовить бутерброды. Приносили рыбу, тогда это была еще иной раз и белуга горячего копчения, и осетр, но чаще уже — кета, горбуша. Острым ножом взрезали ее, снимали шкуру — отделяли нежное мясо, чтобы, нарезав тоненько, разложить по бутербродам. Этого часа ждал рабочий сцены, который обычно помогал буфетчице подтаскивать тяжести: ждал своей доли. Он уносил шкуру: на ней что-то неминуемо оставалось, а иногда и голову рыбы, хорошая закуска под пиво, одного запаха могло хватить.

Постепенно сходились актеры, ненадолго разъехавшиеся после утренней репетиции. К шести часам, к восемнадцати ноль-ноль, в театре были все. Я пришел в половине седьмого. В кабинете Любимова, стены которого — в автографах знаменитых людей, дежурили у телефона два товарища в штатском, чем-то похожие друг на друга. Я поздоровался, назвавшись, они скромно не называли себя. Потом понадобилось мне позвонить, и я разговаривал по телефону под их бдительным надзором.

Из окон кабинета видна была Таганская площадь, пустая, будто вымершая: ни машин, ни троллейбусов, ни пешеходов — голый асфальт, движение перекрыто, одни лишь чины милиции с полосатыми жезлами прогуливаются посреди. И вот примерно так без четверти семь что-то радиоволны донесли, все на площади вздрогнуло, напряглось, вытянулось, и, как из-за горизонта в степи, возник черный «ЗИЛ», черная машина сопровождения следом. Они развернулись по широкой дуге, совершили круг почета, поворачивая за собою головы милиционеров, и стали перед служебным входом. А там, внизу, хозяева — Любимов, Дупак — уже встречали почетных гостей. Я встречать не пошел; ощущая за спиной двух не назвавших себя товарищей в штатском, наблюдал сверху, из окна: как распахнулись дверцы машин, как просияли улыбки, и все общество — в центре Гришин с женой — двинулось от машин к служебному входу, в пространство, которое сверху уже не просматривалось.

В фойе тем временем прогуливался ничего не подоз-

ревавший народ, и буфет, как всегда, был полон: театральные буфеты для людей, пришедших на спектакль, — это уже начало праздника. В кабинете тоже для гостей было приготовлено — чай, минеральная вода, бутерброды, для видимости приготовлено: высокие гости непроверенного есть-пить не станут.

После узнал я случайно, что в этот самый день Андрей Дмитриевич Сахаров тоже хотел попасть на спектакль, но сочли это неуместным, присутствие опального академика могло омрачить впечатление. Знали бы, что жизнь приготовила...

По служебной лестнице, не очень, надо сказать, удобной, поднялись в кабинет, здесь некоторое время разговаривали почему-то стоя и тихими голосами, особую благостность и тишину распространял вокруг себя высокий гость. А за дверьми ощущалось незримое присутствие сопровождающих. Возможно, из-за того, что они там находились неотлучно, все дальнейшее и произошло.

Без пяти минут семь вспыхнула красная лампочка над дверью кабинета: первый звонок.

— Может быть, не будем заставлять народ ждать нас? — сказал Гришин.

— За нами придут, — заверил Дупак. Он как раз показывал гостям на ватмане, на специально внесенном планшете, будущее здание театра, заранее благодарил за заботу, и это воспринималось с благосклонностью. А то, что тот же Гришин чуть было не закрыл театр и Любимов уже сидел в свое время у него в приемной, ждал, когда его вызовут исключать из партии, готовился, не провидя своей дальнейшей судьбы, так ведь кто старое помянет, тому глаз вон. Ну а встречать благодарностями, преподносить любое дело как личную заслугу высокого гостя, — это был установившийся ритуал, даже школьники знали частушку: «На дворе утихла выюга, прилетели два грача, это личная заслуга Леонида Ильича».

Вновь вспыхнула и длительно замигала красная лампочка над дверью: семь часов, третий звонок дан. И снова Дупак заверил: за нами придут. Однако не шли. Пять минут восьмого... Как-то неуютно стало. Двинулись сами.

В буфете, через который надо было пройти, — пусто, неубранная посуда на столах. Пуста и безлюдна широкая лестница вниз, а там, внизу, ни души, двери в зал закрыты, спектакль начался. Только у ближних к сцене дверей толпятся актеры, сейчас им входить. Кто-то кинулся задержать их, а я, приотстав, вижу, как по широкой, пустой лестнице с тихим, благостным разговором спускаются вниз гости, с ними — онемевшие от предстоящего позора хозяева, а внизу отпихивают актеров от дверей, как раз под ироничным портретом Брехта, он словно понимает, что сейчас произойдет.

Надо сказать, что сцена в этом спектакле представляла собой салон самолета, проход посредине — это черта между прошлым и днем нынешним, между тем, что было с людьми и что с ними стало. И все в этом салоне было натуральное, и кресла натуральные, и когда под рев турбин закладывался вираж, один ряд кресел опускался, другой подымался, сцена как бы накренилась. И стюардесса объявляла по радио то же, что объявляют в полете. Правда, когда на самый первый показ спектакля пригласили строителей и авиаторов, строители одобрили все, кроме строительных проблем, и авиаторы похвалили спектакль, но стюардессу не одобрили: она, мол, говорит совсем не то и не так... Не знали они, что на пленку записан голос победительницы конкурса стюардесс.

Загружалась сцена в два приема. Сначала из задних дверей шумно пробегали через зал актеры в солдатском обмундировании: плащ-палатки, каски, шинели... Это — солдаты сорок первого года, те, кого уж нет;

они рассаживались по одну сторону прохода, в полутьму. А затем с почетом входила из ближних дверей комиссия, направляющаяся этим рейсом на стройку, учинять разгром. Прожектор ловил ее и от дверей почетно вел до самых кресел, где белые салфетки на подголовниках, где стюардессы сразу же начинали персонально порхать над ними. Вот эту комиссию, этих актеров срочно отпихивали от дверей, чтобы пропустить вперед высокого гостя, сами не понимали с перепугу, что делают. И Виктор Васильевич Гришин вместе с женой вступил в зал во главе комиссии, как бы возглавив ее. А прожектор осветил их и повел, и повел...

Сначала никто ничего не понял, потом смешок раздался, потом — смех. В театре в этом — на беду — и логи не было, чтобы, скрывшись в глубине, только белые руки выложить на бархат барьера. При всеобщем, как говорится, оживлении зала, ведомые прожектором, сели они на два своих пустовавших места, где ждали по бокам местоблюстители, да сзади, за спиной, двое ли, трое соответствующих товарищей.

После в театре говорили, что все это произошло не случайно, кто-то хотел подвести Любимова и специально так подстроил, даже какое-то расследование учиняли собственными силами. Но я думаю, было проще: слишком уж страху нагнали. Шутка сказать, с часу дня явились товарищи в штатском, движение на площади перекрыто, у телефона дежурят... Когда страх, люди глупеют непредсказуемо.

Имел я случай наблюдать после войны, в Болгарии, в чудном городе Пазарджик, где мы тогда стояли, нечто подобное. Прознало наше командование, что едет с проверкой из армейских верхов, из Софии, генерал. И будто бы генерал этот любит цветы, чтобы повсюду, куда ни проследует он, цветы стояли. В казармах, как известно, никаких цветов не положено. Но раз любит... Приказано было офицерам нашего полка сдать по столько-то левов, навезли цветов видимо-невидимо, повсюду расставили их в горшках. А генерал, как оказалось, цветов не любил и превыше всего чтит устав. Садясь в машину, приказал кратко: «Разминировать!» То-то смеху было, эти цветы не знали потом, куда деть. Но что тот генерал в сравнении!..

И вот сидим мы в кабинете Любимова наверху (самое Юрий Петрович в зале), слушаем спектакль по трансляции. Конечно, так не встречают гостей, не ставят в ложное положение, что уж говорить. Но мысль у нас у всех, кто здесь собрался, не об этом, мысль одна: уйдет со спектакля Гришин или не уйдет? Пьеса, как нарочно, без антракта, два с лишним часа надо высидеть при всеобщем любопытстве. И хоть бы без жены это произошло, жёны, особенно руководящие, весьма чувствительны. Но, с другой стороны, встать, выйти на виду всего зала, так завтра же по Москве разнесется, все будут говорить.

А так трудно проходила эта пьеса, столько было много различных комиссий. Специально для спектакля Владимир Высоцкий написал песню «Шар Земной», и, когда он шел с гитарой через сцену, через зал и пел: «...Поначалу мы Землю вертели назад, было дело сначала, но обратно ее раскрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала...» — у меня — мороз по щекам. Слова, музыка, голос его, сам он! Но в комиссии подбирают людей нечувствительных, ничего на их лицах не мелькнет: ни мысль, ни чувство. Встанут, поблагодарят и направятся к выходу, надевать пальто в гардеробе: им дано задание поприсутствовать и доложить. И мнения своего не высказывать. Не люди — живые микрофоны на ножках. Но микрофон хоть воспроизводит с точностью, а они натренированы предугадать мнение начальства.

И нередко от них начальство и узнавало свое мнение.

Один раз я все же не выдержал. В комиссии был отставной полковник бронетанковых войск, он тоже вот так направился к выходу, ни слова не уронив. И тогда я громко, на все пустое фойе, вслед ему: «Товарищ полковник! Вы — фронтовик! Вы и на фронте были такой застенчивый?». И что-то в нем дрогнуло: повернулся, пошел не в гардероб, а в кабинет Любимова по той широкой лестнице вверх. Комиссия — за ним. Но что они там говорили, чтоб ничего не сказать, так лучше б и не оставались.

А последний раз принимали спектакль под самый Новый год, 31 декабря, когда в квартирах елки наряжают, когда все к празднику готовятся, и людям надо бы не ожесточаться, а простить друг другу грехи года минувшего, да и вступить в Новый год с душой, очистившейся от озлобления, расположенной к добру.

Руководил тогда культурой в Москве, заведовал ею в Моссовете некто Покаржевский. И вот туда, к нему в главк, призвали нас с Любимовым. Мы — двое, а с той стороны видимо-невидимо бойцов, и все — испытанные. Заместителем Покаржевского был Шкодин, известный тем, что однажды, во время такого обсуждения, кто-то из выступавших разволновался и сказал ненароком: «Вот тут товарищ Паскудин говорит...»

В свое время закончил Шкодин то ли факультет, то ли курсы театральных режиссеров, и надо же было так случиться, что прислали его на стажировку именно к Любимову. Тот попробовал его, поглядел: «Не надо вам этим заниматься, режиссер из вас не получится, вам это не дано». И стал Шкодин руководить искусством в точном соответствии с принципом: кто может — делает, кто не способен — учит. Вот он-то вместе с Покаржевским и решал судьбу спектакля.

Во время обсуждения Любимову стало плохо. Объяснили перерыв. В приемной, где все же не так накурено, сидел он в кресле под распахнутой форточкой, дышал. Если б хоть зима легла настоящая, из форточки морозный бы пар осаживался, дышалось бы легче, а то — слякоть за окном, машины сплошным потоком идут по Неглинной, жидкий снег расплескивают. Пощупал я у него пульс: то частый, то выпадает. Принесли стакан воды, первое наше российское лечение. Тут Шкодин вышел из кабинета, глянул, воткнул сигарету в рот, закурил. Стоит и дымит.

Когда вновь началось обсуждение, я предупредил: если Шкодину дадут слово, я выйду. Ему, разумеется, слово дали. Я вышел. Потом послали за мной: надо же продолжать. Вернулся. Опять он встает, начинает говорить. Я опять вышел...

И после всего, что вытерпели, когда спектакль наконец пошел, надо же такому случиться! А по трансляции слышно: идет лихо, весело — может, потому, что многие реплики, помимо воли авторов, словно бы обрели в зале адресата. И каждый раз, как там раздастся смех, администратор хватается за голову: «Закроют!..». А мне какое-то чувство говорит: не должно бы. Ведь это получится вот что: пришел, увидел, запретил... Лучше делать не своими руками, не оставляя зримых следов, так у нас принято.

И ободряет еще одно соображение, которое по прежним временам должно бы напугать: некая уругвайская газета, переврав и название, и содержание, заявила сенсационно, что идет в Москве в Театре на Таганке антисоветская пьеса. Уругвай от нас далеко, можно бы и не внять, хотя мы традиционно чувствительны к тому, что скажет или подумает о нас самый захудалый иностранец. Но вот в Москве председатель ВЦСПС, глава наших профсоюзов, школы коммунизма, и все еще член Политбюро Шелепин повторил то же: мол, сам он не видел, но ему докладывают...

Прозванный «Железным Шуриком», Шелепин, хотя еще и занимал столь высокие и как бы выборные посты, на самом деле доживал последние дни на политической арене, звезда его катилась к закату, и все, кому положено знать, знали: он есть, но его как бы и нет, он уже бывший.

Мир мал, и в этом постоянно убеждаешься. Шелепин — из Воронежа, земляк мой, и даже его младший брат учился в одном классе с моим двоюродным братом Юрой Зелкиным, который на войне стал лейтенантом-пехотинцем и погиб в том бессмысленном, по сталинской воле начатом наступлении на Харьков летом сорок второго года, оно-то и открыло немцам ворота на Сталинград.

Шелепин же благополучно учился в Москве, готовил себя к деяниям великим и уже в студенческие годы (как раз зашел разговор в общежитии, кто, мол, кем хотел бы стать?) заявил твердо: хочу быть членом ЦК и им стану. И стал. А помогла ему в этом, чего она знать не могла, Зоя Космодемьянская: то ли комсомольский билет он ей вручал, то ли напутствовал, когда ее и других таких же девочек отправляли на подвиг и на смерть мученическую.

В длинной офицерской шинели, в звании капитана, нужный родине в тылу, а не на фронте, Шелепин шел за гробом Зои Космодемьянской, сопровождал в последний путь героиню, как бы им воспитанную, есть эта кинохроника, я ее видел. Вот с того он и пошел, и пошел вверх сначала по комсомольской, потом по партийной линии, и все выше, выше, а в пятьдесят восьмом году уже занял пост председателя КГБ. Сдав его потом Семичастному, тоже комсомольскому секретарю, под ним выросшему, участвовал в удалении Хрущева на пенсию, после чего и зашептали, и заговорили, а по «голосам» — так вовсе уверенно, что Брежнев — фигура временная, скоро власть переймет Шелепин, «Железный Шурик», он-то и наведет порядок.

Но в чем, в чем, а в аппаратных играх Леонид Ильич простаком не был и возможных своих соперников расшвыривал умело. Случайно или не случайно был «Железный Шурик» послан с миссией в Англию, там встретили его и проводили с таким позором, что быстрый закат его стал неминуем.

Не берусь решать, прикидывал ли это все в тот момент Гришин или нет, но единение с Шелепиным даже по самому незначительному поводу (запрещение какой-то пьесы, у нас это вообще ни за что не считалось!) славы ему не прибавило бы.

Когда спектакль окончился, я увидел совершенно потерянного человека. Поднялись в кабинет Любимова, шли молча, будто на собственные похороны. Мы думали: сразу уедет. Не уехал. Вошли. Стоим. Пауза.

— Так что же мне теперь в свою машину не садиться? — спросил он голосом тихим и как бы даже болезненным.

Но тут необходимо пояснение, иначе смысла этих слов и всей глубины обиды не понять. Пьеса заканчивается тем, что на обратном пути в столицу самолет едва не потерпел аварию и сел где-то во глубине России. И вот, не вполне еще осознав случившееся, в некоем потрясении, председатель комиссии привычно распоряжается: «Значит, так: за мной машина прибывает. За вами — тоже. А вы тогда возьмете с собой в машину...».

И только когда шепнули ему, что они не в Москве, за всеми должен прийти автобус, он вдруг умнеет: «А? Тогда на общих основаниях. На общих основаниях...».

Вот к этому и относились с тихой обидой сказанные слова: «Так что же мне теперь в свою машину не садиться?». И все услышали бурное дыхание супруги. Да что вы, как можно так понять, совсем не то имелось в виду, дружно заверили его, садитесь, садитесь... Ох!..

Около получаса длился тихий разговор и опять же почему-то стоя. И я старался слушать, момент серьезный, судьба спектакля решалась, но что-то мне мешало вслушаться. Вот как если у человека один глаз живой, свой, а другой стеклянный, и понимаешь — невежливо, нехорошо, а все тебя притягивает в этот мертвый глаз смотреть. И в лице Гришина что-то притягивало меня, какое-то несоответствие. Не сразу я понял — что? Вроде бы и подбородок не тяжелый, но вот эта часть, это расстояние от низа подбородка до носа, проще сказать, жевательная часть была просторней, больше лба. Не того лба, что образовался за счет лысины да жиденьких зачесанных волос, отступающих все дальше, а лба, где что-то наморщивается, когда возникает мысль. И тянуло меня смотреть, как вверх-вниз двигается эта жевательная часть, а слова воспринимал не все, не полностью, что-то, возможно, и пропустил против собственной воли.

Вот я написал это, а человек подойдет к зеркалу, соизмерит и уличит меня, но я же не с линейкой стоял, я говорю о зрительном впечатлении, которое в рассеянность меня ввело и не дает теперь с точностью воспроизвести все сказанное дословно.

— Вот пехота у вас... Теплые слова сказаны про пехоту. Это хорошо: теплые слова. А почему не про летчиков? Летчики — героическое племя. Я в войну с летчиками был, — сказал он скромно и глаза полуприкрыл веками.

Я, правда, знал, что в войну Виктор Васильевич Гришин, как бы это поаккуратней выразиться, не в полной мере «с летчиками был». С 42-го года он на партийной работе: секретарь, второй секретарь, первый секретарь Серпуховского горкома партии, потом выше, выше подымался, до Москвы дошел. И так же, как Шелепин, — а может, это и не совсем уж случайное совпадение биографий, — во время войны был нужен родине в тылу, а потом, на каком-то витке своей карьеры, тоже занял пост председателя ВЦСПС — школы, как было уже сказано, коммунизма. И всего-то у него образования, если не считать партшколы, — Московский техникум паровозного хозяйства. Но мы стоим и слушаем Первого человека Москвы.

Имел я перед самой войной вовсе не большой, четвертый разряд слесаря-лекальщика. Так я и сейчас, лучше ли, хуже, но все же напильник могу держать в руках. Был я во время войны солдатом, командиром взвода управления, задача моя была — корректировать огонь батареи. Так я и сейчас смог бы вывести снаряд на цель, хотя и нет уж тех орудий и, слава Богу, не надо мне этого делать. Или ту же строевую команду подать: «Бат-тар-рея!...» Почти полвека минуло, а приведишь — раскатится по всему строю, и это со мной до гробовой доски, не столь уж дальней. Но росли у меня дети, и, если заболели, я не кидался лечить их, за врачом шел. И чужим детям не давал медицинских советов.

Все же, когда о пехоте речь зашла (слова там из моей повести взяты, самые обычные слова про то, что такое быть пехотинцем на войне, но почему-то десять редакторских рук пытались их вычеркивать уже не раз), я попытался возразить, хотя опыт жизни учил: кивай, а делай по-своему:

— Летчики, конечно, героическое племя, но народу-то больше всего было в пехоте. И погибало там бесчисленно...

Вот тут раздалось:

— Народ и партия во время войны были едины!

Это не он сам, это — супруга за его спиной. И все услышали бурное дыхание. Едины-то едины, это правильно, а все же и тогда один в окопах мерз, а другой по службе рос.

Потом они уехали. И движение на площади восста-

новилось: троллейбусы пошли, машины хлынули сплошным потоком. А мы сидели в кабинете Любимова: опять что-то надо было решать. И пришла простая мысль: бутербродам зачем пропадать? Гости побрезговали, но нам они вполне сгодятся, не беда, что заветрились, подсохли маленько. Нашлось и к закуске. И просветлело перед глазами, вспомнилось со смехом, как директор на среду вставлял спектакль, все на среду — в ожидании милостей. Вот и дождались.

НЕУЖЕЛИ — ОПЯТЬ?

В очередной раз летал над планетой наш космический экипаж, газеты печатали праздничные фотографии: Никита Сергеевич Хрущев, отдыхающий на юге, разговаривает с космонавтами по белому телефону. И Микояну тоже он передал трубку, поговорить. Был заранее известен весь дальнейший ритуал: постелят красную ковровую дорожку и от трапа самолета, держа под козырек, пойдут по ней спустившиеся на Землю космонавты докладывать — задание правительства выполнено. И уже ждут их Золотые Звезды Героев. И отдохнувший, загорелый Хрущев по-отечески будет стоять с ними на трибуне Мавзолея, а внизу — народное ликование. Но взлетели-то они при нем, а возвращаться предстояло при Брежневем, с ним и славу делить, и почет.

Еще летали они (по слухам, даже дольше запланированного промотались в космосе из-за всего, что происходило на Земле), когда позвонил мне утром давний мой приятель Лазарев Лазарь Ильич, в прошлом командир роты под Сталинградом, откуда вернулся он инвалидом войны:

— Можешь зайти ко мне сейчас?

Время раннее, самое рабочее, зря звонить он бы не стал. Но с чего вдруг? И как сердце оборвалось: Хрущева свергли. К тому шло, хотя ясно этого еще не сознавали. Жизнь все парадней и парадней становилась с фасада и все тревожней внутри. Уже Хрущев кулаком стучал на встрече с деятелями искусства, уже сказаны были им где-то слова, что во всем он, мол, ленинец, но в отношении искусства — сталинец. И я чувствовал: приоткрывшаяся нешироко дверь вот-вот захлопнется — и торопился, дописывая роман мой «Июль 41 года». А когда принес его в «Новый мир» и там прочли, Твардовский сказал: «Выньте главы про тридцать седьмой год, иначе напечатать не сможем».

«Как же я выну, когда без тридцать седьмого года не было бы всей трагедии сорок первого? Из жизни этого не выкинешь».

«Новый мир» уже теснили со всех сторон, можно было их понять и не обижаться, но за чужой щекой зуб не болит, я обиделся и даже вернул отработанный аванс, полторы тысячи рублей, очень нужных моей семье в ту пору. И отнес роман в «Знамя», где в свое время искалечили первую мою повесть: податься было некуда. Рассчитал я просто: что Твардовскому не разрешат, вполне могли разрешить Кожевникову. И угадал. Неужели радоваться поспешил?

Я спросил у Лазарева:

— У тебя что-то случилось?

— У меня — нет.

— Тогда я еще часок посижу.

Но какая уж тут работа... За окном — осень золотая, октябрь, листья пожухлые сгребают во дворе в кучи, малыши, как мы когда-то, зарываются в них, а над одной-двумя кучами дымок вьется горьковатый, даже на седьмом этаже ощутим. И сами собой мысли

приходят, что вот как мир хорош, а жизнь наша нескладная. Сколько люди на свете живут, всякий раз, как настанет время что-то терять, делают для себя это изумительное открытие.

А все же малая надежда оставалась, когда я шел к Лазареву, но вошел, и ее не стало. Посидели мы с ним, прикидывая, что и как теперь будет, но думай не думай, от нас ровным счетом ничего не зависит. И тут пришло мне время идти на радио, читать главу из романа.

В многоэтажном здании на улице Качалова стражи в милицмейской форме, как обычно, проверяли пропуска у входа, все выглядело незыблемым. А может, слухи?

Вышел ко мне заведующий редакцией Падалка. Ни в одной комнате не приткнуться, и мы сели в прокуренном коридоре за круглый обеденный стол, вынесенный сюда неизвестно откуда: он, я, еще кто-то, еще кто-то. У нас любят одно дело делать впятером, все стали срочно делиться своими так называемыми творческими соображениями, а мне и грустно, и интересно на них смотреть, я-то уже знаю, что Хрущев снят, а они живут в мире минувшем.

Вдруг из ближайшей комнаты высунулся, огляделся и манит к себе Падалку некий испуганный молодой человек:

— Можно вас на минуточку?

Падалка нахмурился, сработал в нем защитный механизм:

— Ну что там у вас?

А тот, хотя уже от двери отделился, продолжает подманивать:

— Сказать вам надо...

Но и Падалка не давал себя заманить, почуял опасность:

— Говорите, говорите.

— Да это вам лично.

— А вы — при всех. — И отчуждался все более: — Какие могут быть секреты?

Юноша решил:

— Только что звонили из «Правды», говорят, Хрущев снят. Позвоните, узнайте...

Настала тишина. Полнейшая. А по коридору — мимо, мимо — бегут люди с бумажками, огибают круглый стол изящными телодвижениями, многие в этом узком коридоре оббили об него бока.

— Куда я буду звонить? — обрел Падалка дар речи. И, накаляясь: — О чем это я буду спрашивать?

И правда, куда звонить, что спросить? Поставим себя на его место.

Но тут меня позвали в аппаратную. Примерно полчаса длилась запись, а когда я вышел из-за этих мощных дверей, сквозь которые ни один посторонний звук не проникает, вышел в другой мир, где все все уже знали. И несколько человек, сойдясь, возбужденно говорили в сплошном сигаретном дыму. Я понимал, о чем они говорят, подошел. Они взволнованно говорили о том, что, по слухам, Барабаш, заместитель редактора «Литгазеты», перемещается выше, в Отдел культуры ЦК. Всего-то полчаса прошло, а уже пережито главное событие, и умы занимает Барабаш... Мне даже жаль стало Никиту Сергеевича, мог ли он себе такое представить?

Вышел я на улицу — все, как всегда. И лица у людей обычные, никакой тревоги не ощущается. Может, не знают еще? И повлекли меня мои ноги туда, где лежала моя книга: новые времена наступают — прежние обязательства не в счет. Если при Хрущеве она так трудно проходила, на что же надеяться теперь?

Есть старый-старый анекдот, как в Харькове ли, в Киеве остановился селянин, читает вывешенную газету: «От жмуть, от жмуть!» Милиционер тут как тут: «Кто тэбэ жмэ, кто?» — «Та чоботы». — «Яки

чоботы, ты ж — босый». — «Ото ж и босый, шо жмуть...» Вот так и я враз оказался босым. А ведь радовался уже: как на меня ни жали в редакции, ни от чего не отступился. Лучшая редакторша под личным надзором Бориса Леонтьевича Сучкова редактировала мой роман. Не сразу я догадался, почему именно ей поручили: брат ее, знаменитый командарм, был расстрелян в сороковом году. Вот она и отчеркивала, пыталась изъять все главы про тридцать седьмой год: «Поверьте, уж я бы не стала ни в коем случае. Мой брат, как вы знаете... Но то, что у вас в этой главе, это — гиньоль!». Я не спорил, я набирался опыта жизни.

«Так вы же ничего не сделали!» — поражалась она, когда в назначенный день я приходил к ней с невыполненным уроком.

«Я так сразу не могу... Сообразить надо... Я вообще медленно пишу».

А когда добрались мы до конца, я разложил перед ней все, что она предлагала вырезать именем своего расстрелянного брата: «И не стыдно вам?»

Она была хорошая женщина и действительно хороший редактор, но начальство и жизнь требовали от нее. Возможно, я не имел права поступать так жестоко, да только как же иначе было мне защитить мою книгу?

И вот я шел заново узнавать ее судьбу. Мысленно я уже со своей книгой простился. Стыдно признаваться в этом, но я шел и только что не плакал в душе, так она мне дорога была в этот момент. Два с половиной года писал я, и бывали редкостные счастливые дни, когда что-то похожее на озарение снисходило. Но отрезать надо сразу, не томить душу пустыми надеждами. Когда человеку терять нечего, у него ничего и не выманишь.

В общем-то шел я посмотреть, как те самые люди, которые поздравляли меня, будут теперь отступаться от всего сказанного, дело обычное, слово у нас ни к чему не обязывает, а все же любопытно всякий раз. И вот иду я мимо памятника Тимирязеву, что столбом стоит у Никитских ворот, как всегда на плечах, на голове его — белые потоки голубиного помета, а тут еще, помню, голубь на темени сидел, клюв во все стороны поворачивал, и вижу у газетного стенда Василий Васильевич Катин, ответственный секретарь «Знамени», стоит. Меня так и потянуло к нему: вот сейчас увижу самую первую реакцию. А он заметил меня и жестом приглашает повозмущаться газетной статьей, «Советский спорт» там был вывешен:

— Вот, пожалуйста! Мы что, раньше не знали, что спортсменов надо хорошо содержать? До сих пор боялись признать очевидное. И еще хотим рекорды ставить!

«Э-э, — думаю, — да ты еще в неведении пребываешь. И осмелел совсем не ко времени».

И всю дорогу, пока мы шли с ним — а хорош все-таки Тверской бульвар осенью, хорошо идти под его липами, наверное, только тогда и оценишь, когда на душе плохо, — всю дорогу произносил он смелые речи про то, как дела в спорте поставлены у нас и у них. А я думал, на него глядя: что завтра ты скажешь, узнав. Отец его, насколько я знал, был репрессирован, и всю жизнь ощущал он это выжженное на нем тавро.

Дня через два Борис Леонтьевич Сучков, первый заместитель главного редактора, сказал мне голосом печальным, подняв глаза в некоей задумчивости, а взгляд его был светел:

— Знаете, композиционно для романа будет даже лучше, если мы главы о тридцать седьмом годе, ну, там, где у вас все эти аресты... перенесем во вторую половину, в следующем номере напечатаем. А первую сдадим чистой. Поверьте моему опыту, так намного стройней.

— Нет, Борис Леонтьевич, по-моему, вы опережаете события, сами еще не знаете, что требовать.

— Почему мы не знаем? — как бы даже обиделся он. — Мы знаем.

И жестом руки непроизвольно указал на газету «Юманите», она как раз лежала у него слева на столе. И вот этот жест объяснил мне многое: значит, не поступало еще твердых указаний «сверху», иначе бы не на «Юманите» указала рука, а на телефон.

— Нет, Борис Леонтьевич, ничего переносить не надо. Не удержавшись на голове, на хвосте не удержишься.

— Ну, как хотите.

И взгляд его светлых, чуть выпуклых глаз похолодел. Он был человек образованный и умный, но вот мудрости жизнь учит немногих.

Как-то сказал он мне: «Вы там, — и указал на потолок, — никогда не будете своими. А я там — свой». Это была правда, он рано стал своим, путь перед ним открывался широкий. А потом в издательстве, где он был директором, взламывали паркет, искали что-то, Сучкову дали двадцать пять лет сроку, определив его шпионом уж не знаю какой державы, и следом за ним, за проволоку за колючую пошло немало людей. При Хрущеве он был выпущен и снова начал расти. Как же я мог требовать, чтобы ради меня он чем-то рисковал? Но как быстро включается этот механизм, всю страну объявляющий, где каждому определено место, как патронам в пулеметной ленте.

А с другой стороны посмотреть — ведь это всегда было. Кто славил победителей, кто памятники им высекал, бессмертные создания, пережившие века и тысячелетия? Побежденные, покоренные, рабы. Они-то и становились самыми верными слугами.

Опять я брел по Тверскому бульвару, только в этот раз в сторону Никитских ворот, потом свернул на улицу Герцена и оттого, что не знал, куда себя деть, забрел в Дом литераторов. И первым попался мне навстречу Олег Васильевич Волков, дворянин, с прекрасной бородой, приятно грассирующий. Наверное, не одного меня в этот день спрашивал он вот так:

— Как вы думаете, неужели опять начнут сажать?

А в ресторане — как раз мы остановились при входе — было накурено, шумно: эпохи сменяются, а здесь все так же.

— Нет, — сказал я уверенно, — не начнут. Этого не будет.

Разумеется, ни в чем я не был уверен, но я видел его лицо. Этот человек не десять, не семнадцать, а все двадцать семь лет провел в лагерях и ссылках. И маленькой показалась мне моя беда по сравнению с его тревогой, так надо бы сказать. Но нет, своя беда, мала не мала, она своя. Я не знал тогда, что книга моя все же будет напечатана, еще не захлопнулась дверь, а потом целых четырнадцать лет находиться ей под запретом. Но вот это его вопрошающее «Неужели — опять?» не раз мне вспоминалось. Целые поколения под этим выросли и живут, и у самых легковверных нет-нет да и шевельнется в душе: «Неужели — опять?».

«Почта «ЮНОСТИ»

ПИСЬМА ИЗ ЗОНЫ

ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ ГРУППА ОСУЖДЕННЫХ, находящихся в ПКТ (помещение камерного типа) учреждения УЮ-400/7, Тульская область, поселок Социалистический. Мы уже обращались в разные инстанции, но все безрезультатно, кругом глухая стена безразличия и бездействия. Зато мы за свои обращения страдаем вдвойне. За это письмо нам, видимо, тоже придется страдать, теряя при этом здоровье.

Все начинается с этапа. Вновь прибывших сажают в штрафной изолятор (ШИЗО), хотя должно существовать карантинное помещение для новичков. Все вещи у них отбирают и начинают запугивать. На второй день к запуганным этапникам приходит зам. начальника колонии по режимно-оперативной работе Дорошенко и выгоняет их на работу по благоустройству ПКТ, хотя эту «работу» должны выполнять только активисты. Тот, кто отказывается, попадает в ШИЗО, а в конце концов в ПКТ якобы «за отказ от работы». А фактически от нормальной работы они не отказываются.

Вот и сейчас нескольких этапников Дорошенко убрал в ШИЗО, они в знак протеста объявили голодовку. Они еще не знают, чем это кончится, но мы-то прекрасно понимаем — слава Богу, прошли эти муки ада. В отстойник, например, сыпят хлорки, льют водички и кидают туда заключенного, забив ему руки в наручники. Через некоторое время руки немеют, отекают, а глаза опухают... В ШИЗО все стены текут, сыро, и не было случая, чтобы санчасть не дала посадить кого-нибудь по состоянию здоровья. Здесь сидят и больные туберкулезом, а кормят всех из одной посуды и ложек не выдают. Вместо кружек приспособили автопоилки, как на птицефабрике для кур. Баня раз в неделю, на пять человек выдают два полотенца, два станка, лезвие «Нева», времени — всего 15 минут, вот и думай: то ли бриться, то ли мыться.

В рабочих камерах сыро, вентиляции никакой, после выкурной самокрутки дым оседает в камере, через пару часов дышать нечем.

На прогулку из ПКТ выводят в дворик, в которых полностью заварена крыша, так что осужденные в ПКТ месяцами не видят и кусочка неба.

Недавно, когда мы вернулись с работы, увидели, что в камере был шмон (обыск). Мы вызвали контролера, он сказал, что шмонали такие же осужденные, как и мы: бригадир и дневальный ПКТ. Толкая активистов на такие вещи, администрация прекрасно понимает, что при первом удобном случае осужденные накажут этих «активистов» по-своему, а для администрации это прекрасная возможность подвести и нас под статью.

Мы думаем, что пора людям открыть глаза: все эти массовые унижения, оскорбления, издевательства, избиения отражаются на самом обществе. Ведь после всего того, что мы проходим в этих застенках, трудно остаться человеком.

Мы не знаем, хватит ли у вас смелости напечатать наше письмо, но вы — наша последняя надежда на то, что нас услышат.

ХОМЯКОВ И. Н., МАРЬЯШИН А. Д.
и др. (всего 19 подписей)

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПРОИСХОДЯТ СОБЫТИЯ, заставляющие вспомнить о сталинском ГУЛАГе. По крайней мере такие события происходят в нашей зоне УЦ-267/20, г. Артем, пос. Заводской Приморского края. И какая разница — НКВД или МВД, работа одна и та же и одно направление... А может быть, идет извращение законов, указаний и положений?!

Здесь, на зоне, наше бытие полностью зависит от расположения духа администрации. А законов советских здесь нет. Часто стали применять резиновые палки-дубинки без

всяких на то оснований, и в особенности в изоляторе. Сажают в ШИЗО за то, что поднял воротник у курточки или бушлата, за то, что держал руки в карманах, за то, что были опущены клапаны у шапки.

Запретили выдавать из вещкаптерки повседневное белье, такое, как трусы и майки. Умышленно создают тряпочный бум, сознательно создают конфликтные ситуации, чтобы каждый заключенный совершал нарушения. Например, чай разрешено иметь, а когда его варить и на чем? Люди делают самодельные кипятильники, их отбирают и наказывают вплоть до водворения в ШИЗО.

Люди, которые объявляют голодовки в ШИЗО, вообще находятся без всякого присмотра врачей. А врачи получают здесь немалые деньги.

Все, о чем я написал, знает Приморская прокуратура, но на наши жалобы приходят отписки: «Меры приняты». На самом же деле все остается по-прежнему. Людей держат в ШИЗО по 60 суток вместо положенных по закону 15.

Прошу вас проверить то, о чем я написал, и помочь с выполнением советских законов в этой зоне.

Ситников ВИКТОР

ОБРАЩЕНИЕ

Верховному Совету РСФСР,
Председателю Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцину

Мы, заключенные лагеря ЯУ-114/4 города Томска, обращаемся к вам с решительным требованием: пресечь творимый над нами произвол и беззаконие со стороны сотрудников УИД МВД РСФСР!

Почему мы до сих пор являемся рабами органов МВД? Почему МВД терроризирует нас работой, выжимая последние соки?

За счет нашего труда, на крови и поте заключенных МВД оснащает свой аппарат, который использует против мирных демонстраций и народных митингов!

Почему не отменено незаконное постановление бывшего преступного министра Щелокова и его заместителя Чурбанова о введении в местах лишения свободы локальной системы, которая отрицательно влияет на психику человека, приводит к деградации личности, что способствует увеличению рецидивной преступности в стране? УИД не жалеет дефицитных строительных материалов на постройку зверинцев для людей!

Уважаемый Борис Николаевич! Очень просим Вас посетить концлагеря России для встречи с заключенными. Вы будете первым из правителей республики, кто не по рассказам других, а воочию увидит коммунистические концлагеря!

СТЕПАНОВ В. А., ЛЮБЧИК И. А., КАБЫШ О. Н. и др.
(всего 24 подписи)

С просьбой прокомментировать публикуемые в этой подборке письма мы обратились к В. Ф. АБРАМКИНУ.

Валерий Федорович — бывший политзаключенный, был дважды осужден по ст. 190¹ УК РСФСР (ныне исключенной из кодекса) за правозащитную деятельность, провел в заключении в общей сложности 6 лет (с 1979 г. по 1985 г.). В настоящее время является руководителем «Общественного центра содействия гуманизации пенитенциарной системы» (другое название — «Тюрьма и воля») при Международном Фонде за выживание и развитие человечества, а также внештатным консультантом Комитета по правам человека при ВС РСФСР.

Время ли сейчас заниматься тюрьмами? Добиваться гуманного отношения к преступникам? И так от них житья нет — на улицу не выйти. Первоочередных проблем хватает... Я прекрасно понимаю, что обращение заключенных томского лагеря многих читателей покоробит: не стыдно ли виноватому (пусть и страдающему за это) так кричать о своей беде?

В том, что сегодняшние осужденные называют себя по-прежнему зеками, «исправительно-трудовые колонии» — лагерями, а ведомство, занимающееся их «исправлением», ГУЛАГом, нет никакой передержки. «В нашей стране, — подтверждает в своем отказе от Государственной премии Александр Исаевич Солженицын, — болезнь ГУЛАГа и по сегодня не преодолена — ни юридически, ни морально». Наши «колонии» составляют целостный хозяйственно-промышленный комплекс, использующий рабский труд. Жизнь сегодняшнего «говорящего орудия» по-прежнему мало чего стоит, смертность заключенных в 10 раз, а заболеваемость в 17 раз выше, чем на воле. Почти вся прибыль лагерной промышленности поступает в Госбюджет, заключенные

к тому же оплачивают и своих тюремщиков — на содержание системы идет половина скудного заработка осужденного.

Пенитенциарные системы разных стран отличаются друг от друга, они могут быть совсем мягкими по условиям и режиму содержания (Голландия, Швеция, Дания), более жесткими (Англия, США, Канада) или даже жестокими (некоторые страны Африки и Латинской Америки). Нашим тюрьмам и лагерям в этом ряду нет места, потому что система исполнения уголовных наказаний в нашей стране давно уничтожена. ГУЛАГ имеет свои собственные задачи, связаны они прежде всего с организацией материальных и людских потоков, производством и сбытом продукции, проблемами управления огромными массами людей при малой численности персонала. Все это превращает человека в бессловесную тварь, в озлобленное существо. Но «воспитателей» это мало волнует, ведь премии они получают за выполнение производственного плана.

В прошлом году на моего приятеля ночью на улице напали трое грабителей. Дело едва не закончилось трагически — с восемью ножевыми ранениями он оказался в больнице. Началось следствие. Вскоре моего друга пригласили на опознание одного из нападавших. Ни на кого из грабителей «преступник» похож не был. Но следователь долго уговаривал моего друга признать опознаваемого: «Вы просто забыли, все-таки такое потрясение... Мы взяли его на месте преступления, да и на ноже есть отпечатки...» «Слава Богу, — рассказывал мне приятель, — я не терял сознание и хорошо запомнил всех нападающих и нож, которым меня ранили, не то мог бы и согласиться со следователем. С «преступником» я потом случайно встретился на улице, и он в подробностях поведал мне, как его заставили поднять с земли нож, чтобы зафиксировать отпечатки пальцев. На роль «преступника» взяли его не случайно, он недавно освободился из тюрьмы, и вид у него был вполне подходящий...»

«Был бы человек — дело найдется», «милиция ловит не преступников, а тех, кого легче поймать» — эти афоризмы в ходу у заключенных и сейчас...

Пока существует система, построенная на извлечении выгод от использования рабского труда, существует и соблазн решать «первоочередные задачи» дешевым способом.

«Совсем стало невозможно работать, — жаловался мне начальник женской колонии, деловой, хозяйственный мужик, построивший цеха, выпускающие уникальную продукцию, создавший прекрасные (по сравнению с другими заведениями этого рода) условия для своих подопечных и по-своему неплохо относящийся к вверенному «спецконтингенту». — Еще три года назад было у меня две тысячи осужденных, работали в три смены, мощности были загружены на полную катушку. Сейчас осталось всего шестьсот, едва на одну смену хватает. О чем это они там, на воле, думают? Взяли и отменили туньядскую статью, за пропуску никого не сажают. Вон сколько их на воле без толку шляется...»

В России, как мы знаем по нашей классической литературе, к преступнику относились с ветхозаветной жестокостью («око за око»), пойманного конокрада забивали насмерть; но в отношении к каторжнику, то есть к преступнику, уже наказанному государством, открывалась по-детски чистая, христианская душа народа. Пронесшее с человеком было преступлением по земному счету и мирскому суду, по совести же и по Высшему Суду оно оказывалось несчастьем, бедой, которую грех не разделить с узником. Хрестоматийные примеры: в день свадьбы молодожены приходят не к каменным изваяниям, а к живым, страдающим людям, в тюрьму, с корзиной хлеба («Воскресение» Л. Толстого), последнюю копейку девочка отдает острожнику («Записки из Мертвого дома» Ф. Достоевского). Надо думать, делали они это не потому, что гуманное отношение к заключенному оказывает на него положительное воспитательное воздействие, — чтобы в следующий раз ему не захотелось выйти с кистенем на большую дорогу...

Ничто не спасет нас, пока мы не начнем обустривать эту землю, восстанавливать жизненную ткань, разрушенную глобальными проектами гугаговского свойства...

По возникшим у вас вопросам вы можете обратиться по следующим адресам: 121002, Москва, ул. Веснина, 9/5, «Международный Фонд за выживание и развитие человечества», Абрамкину В. Ф. а также: 101000, Москва, Краснопресненская наб., ВС РСФСР, Комитет по правам человека, Хрулеву Юрию Константиновичу (председатель подкомитета по пенитенциарным проблемам).

Для более оперативного решения вопросов просим указывать на отдельном листе сведения о себе (фамилию, имя, отчество, адрес, по которому вы хотели бы получить ответ), а также краткое изложение содержания вашего письма, суть просьбы или предложения. В случае, если вопрос требует срочного вмешательства, на том же листе можно ставить пометку: «Срочно».

В. Славкин
**Взрослая
дочь
молодого
человека**



Сцена из «Взрослой дочери...»: Юрий Гребенщиков — Прокоп (слева) и Эммануил Виторган — Ивченко.

Фото Владимира Абрамова

Виктор СЛАВКИН

«РАССКАЖИ, О ЧЕМ ТОСКУЕТ САКСОФОН...»

Одна фраза

Фраза эта будет часто встречаться в тексте. Начинается она так: «Двадцать лет понадобилось...» Но расскажу по порядку.

В редакции журнала «Юность» кончился рабочий день. И так получилось, что вышли мы из редакции с Василием Аксеновым. И пошли в ЦДЛ, Центральный Дом литераторов. На дворе — начало семидесятых. В воздухе пахло разрядкой. Начинаясь некоторый «детант». Брежнев съездил в Америку, Громыко подписал хорошее соглашение, в Новороссийске строили завод пепси-колы. Журнал «Крокодил» испытывал кризис внешнеполитической темы, карикатуры можно было рисовать только на китайцев и Пиночета, международники завяли... Зато мы, «штатники», как через много лет, уже в эпоху перестройки, окрестит тот же «Крокодил» Аксенова, мы тогда приободрились — налаживались контакты с Западом, Европа становилась ближе, Америка превращалась из «стиляжного» мифа в реальность, кто-то уже туда съездил, кто-то вернулся... Чем черт не шутит, если так пойдет дальше, может быть, мы и заживем нормально, вместе с остальным миром, кончим с этой идеологической дурью и превратимся в достойное государство...

Так мы шли по Садовому кольцу и об этом говорили.

Вдруг Аксенов сказал:

— Знаешь, все вроде ничего, но, даже если и произойдет, как мы хотим, все равно какое-то нехорошее чувство останется. У нашего поколения, я говорю про наше поколение. Обида, что ли... не знаю, как сказать... Ну, пожалуй, так...

Аксенов остановился, под мышкой у него был какой-то пакет, рядом с нами гремел автомобильный поток, пахло шашлыком со стороны кафе «Олень», прохожие обтекали нас с двух сторон, и Василий сказал:

— Двадцать лет им понадобилось, чтобы понять, что кока-кола — это просто лимонад и ничего больше.

И мы стали переходить Садовое кольцо в непопозном месте.

ПРОКОП:

Американцы,
Сталин дал приказ:
Чтоб всю тушенку
вывезти для нас,
Чтоб сотни тысяч матерей
Стояли в очередь за ней...

Как дальше?... Дальше-то как?! Там еще было:

Горит в сердцах у нас
бутылка с керосином...

Нет, никто не помнит!

Заглянем в книжечку!

«Хрущев не то чтобы не любил джаз, но как-то высказал Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу свое неудовольствие по поводу джазовой атаки на слушателей во время одного из итоговых концертов художественной самодеятельности. Шостакович был председателем жюри и пригласил Хрущева в только что открывшийся Кремлевский театр. Концерт начался парадом-алле сразу пяти джазовых оркестров, гремевших так, что едва выдерживали барабанные перепонки. Хрущев досидел до конца, а потом сказал Шостаковичу, что не ожидал от него такой безвкусицы. Шостакович не знал не только о том, что, как всякий старомодный человек, Никита Сергеевич не очень-то большой поклонник джазовых рапсодий, но и о том, что такое начало концерта могло показаться ему своего рода вызовом. Желание немедленно обратить недоразумение в поучительное предупреждение привело к тому, что джазы были изъяты из музыкальной жизни».

А. Аджубей «Те десять лет»

— БЭМС:

— Если вы внимательно посмотрите на шпиль наверху высотного здания Министерства иностранных дел, вы увидите, что его облицовка несколько другого оттенка, чем все остальное. Высотку на Смоленской площади архитекторы Гельфрейх и Минкус проектировали без шпиля. Шпиль пришлось прилепать уже потом.

По легенде ехал товарищ Сталин как-то в машине со стороны Киевского вокзала и, проносясь по Бородинскому

Окончание. Начало см. в № 6

мосту, кинул взгляд на почти готовое здание и сказал кому-то, кто сидел рядом: «А что, шпиля не будет?» Сказал просто так, спросил, поинтересовался... Но, Сталин еще не доехал до Кремля, архитекторов затрясли — давай шпиль! Представляю, как они лепетали, мол, композиция, гармония, равновесие масс. Представляю, что им рывкнули. Что-то вроде: кто зодчий всех времен и народов?! Пришлось дать шпиль.

За легенду не отвечаю, а вот ее продолжение или даже окончание видел и слышал сам.

Работал я в Моспроекте инженером-конструктором с 1961 по 1963-й. Вот тогда и было. В большом зале выставили очередные проскты, что-то связанное с реконструкцией центра Москвы. И приехал Главный архитектор города товарищ Посохин. Смотреть и решать. И вот ходит он по залу от планшета к планшету, а за ним свита — поближе крупное начальство, потом среднее, мелкое, ну а я последний. Какой-то проектик нашей группы тоже висел на стенке... У стенда, имеющего отношение к площади Маяковского, свита остановилась, я не успел вовремя затормозить и вдруг оказался около самого начальства. Тут-то и возник примечательный эпизод. Архитектор, который давал пояснения к своему проекту, завел разговор о здании гостиницы «Пекин» — портит оно облик одной из лучших московских площадей, нельзя ли, мол, с ним что-нибудь сделать, ну, хотя бы снять шпиль, этот рудимент сталинского соцреализма... Посохин выслушал и обернулся к начальнику Моспроекта: «Есть тут Гельфрейх?» Начальник кивнул заместителю, заместитель помощнику, помощник еще кому-то — и тучный Гельфрейх мигом оказался пред светлыми очами Главного. Посохин оглядел всех и начал с Гельфрейхом, как потом выяснилось, показательный диалог.

— Скажите, вы писали наверх по поводу шпиля на вашей высоте?

— Писал, Михаил Васильевич.

— Просили разрешения демонтировать его?

— Просил...

— И что вам ответили?

— «Нельзя менять привычный силуэт Москвы», — печально сказал Гельфрейх.

— Слышали? — Посохин еще раз окинул взором всех, кто его окружал. — Пошли дальше.

И свита двинулась к следующему объекту.

А архитектор Гельфрейх, рыхлый, болезненный старик, остался стоять там, где только что клубился архитектурный ареопак.

Мне хотелось подойти к нему и сказать, что я всегда, глядя на его высотное здание со стороны Бородинского моста, прикрывал большим пальцем злополучный шпиль — и получалось гораздо лучше... Но в это время Посохин подошел к нашему стенду, и я побежал туда.

Монологи вслед

Их, к сожалению, я услышал тогда, когда мы уже отыграли свою «Взрослую дочь».

Первый монолог был произнесен 4 января 1987 года в подвале дома № 20 по улице Воровского, где состоялось обмытие стен театра Васильева, которому он дал имя «Школа драматического искусства». В этом подвале был склад Московского управления культуры. Теперь проведена реконструкция по проекту Игоря Попова, сделан ремонт, стены покрашены в белый цвет... Вот эти чистые стены мы и собрались обмывать. В самый разгар антиалкогольной кампании. Пришли близкие люди — Кожухова, Петренко, Козлов... И вот тут, за столом, Алексей Козлов и произнес монолог о стилягах, и я пожалел, что поздно услышал эти слова.

В свое время мы пригласили Лешу Козлова быть композитором «Взрослой дочери». В программке было написано: «Музыкальный руководитель». На самом же деле его роль в создании спектакля была намного значительней. Алексей буквально читал нам лекции по истории стиляжничества. Он рассказывал артистам, как это было, напевал им песенки, учил манере исполнения («Петь надо довольно противно, чуть в нос: «Папаша спит, по нем керная муха ходит...»), демонстрировал сохранившиеся на антресолях свои стильные шмотки — пиджак с истлевшей подкладкой, корочки на белом каучуке!.. Короче, профессор! Он не только мог проиллюстрировать неведомую эпоху, но и по-профессорски обобщить, найти философский и политический смысл. Монолог Ивченко о послевоенных годах: «Ведь что получилось... Кончилась война в сорок пятом, приехали наши солдаты,

офицеры домой, Европу повидали, с американцами на Эльбе встречались и вообще встречались. К нам товары американские пошли — «виллисы», помните, «студебекеры»... Американские картины пускать стали, трофейные... Ну вот, мы все это тогда и увидели. Потом — бац! — речь Черчилля в Фултоне, «холодная война», контакты — пшик... И дальше мы эту западную жизнь дорисовывали своими доморощенными красками,» — написан со слов Козлова.

И вот 1987 год. Леша произносит еще один монолог старого стилиста, который уже поздно включать в текст пьесы, но в книжку еще можно успеть...

«Я заметил, что брейк-дансер едет в свое кафе «Молоко» в обычной одежде московского парня. У него чемоданчик, он потом заходит в туалет, переодевается: очки, перчатки... Потом, после вечера, опять облачается в обычные шмотки и едет домой в троллейбусе, ничем не отличаясь от остальных пассажиров. Мы, стилисты, мы все надевали на себя дома! Я на Новослободской жил, и до Брода надо было пройти, рискуя быть избитым. На улице Горького мы уже никого не боялись, нас там было больше, но в других районах... Вообще если логично рассмотреть три поколения хипстеров — стилисты, хиппи, панки, — то получается такая картина: стилисты не переодевались; хиппи оделись, потом переоделись, стали чиновниками; панки не одевались и не переодевались...

У стилист было такое отработанное бессмысленное выражение глаз не потому, что мы придурки. Просто если бы мы обнажили свой взгляд, если бы смотрели, как мы чувствуем, — все бы увидели, как мы их ненавидим. За этот взгляд можно было поплатиться. Вот мы и придуривались».

Монолог второй. Его я услышал на пятидесятилетии моей знакомой. Там был один крупный ученый, член-корр., директор большой научной фирмы. В данном случае этот монолог пригодился бы Ивченко.

«Когда мы учились в институте, у нас одного студента выгоняли за частушки. Он их спел на факультетском вечере:

Ой, цветет калина в поле у ручья,
Клику Ли Сыи Мана ненавижу я,
Северокорейцев обожаю я...
Ой, цветет калина в поле у ручья.

Вроде бы правильная частушка, однако парня прорабатывали за насмешку над внешней политикой нашей страны. И я тогда поднял руку за его исключение из института. А мой друг не поднял. И у него тоже начались неприятности. Он был тот, который не стрелял... Сейчас работает у меня в фирме. Доктор наук. Я его опекаю. Колей зовут».

БЭМС

(на мотив «Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун...»):

Кокани и вино
Нас погубили,
Никогда никого
Мы не любили.
Нет, не вино,

а только секс

И похоть злая
Тянет женщин лобзать,
В душе стгорая.

Мы проходим с тобой
В дыму нечистом,
Говорят, нет любви
У нас, артистов.
Так лучше сразу

пулю в лоб,

И жизни крышка,
Ведь не зря говорят:
Жизнь — передышка.

Так проходит вся жизнь
В сплошном тумане.
Счастье только в вине
И в ресторане.
Так плачь же, сакс,

рыдай, труба,

И смейтесь, губы, —
Жизнь тогда хороша,
Когда нас любят...

ЛЮСЯ:

— Когда я в «Орионе» пела, была у меня сменщица. Тоже Люся. День она работала, день я. Вернее, вечер. Хорошая девка была. Фанатичка джаза. Пение в кинотеатре — это ее работа, а для души она играла при каком-то клубе. На фоне

рубил. Все джазмены, нынешние знаменитости, ее знали, и она — всех. Когда какой-нибудь гастролер приезжал, она тут как тут. Эллингтона, старика, они у нее дома чествовали. У нее квартира хорошая от отца осталась... Потом я ее статьи стала встречать о джазе в разных журналах и газетах. Верный человек, джаз — всю жизнь. Тем более для женщины такая постоянность почетна. Я тоже все это любила и люблю, но жизнь, конечно, текла по-разному. А у нее все вокруг этого. И первый муж, и второй оттуда... Потом пропала, нигде не вижу, фамилию не встречаю. Исчезла. Мы тогда привыкли к тому, что люди исчезают, и относились к этому спокойно. Потому что раньше, если исчез — значит, умер или посадили, а у нас исчез — ну, уехал. Так, может, там ему лучше... И я думала, что моя джазменша уехала. Это даже как-то нормально с ее стороны. Но нет. Не уехала. Просто плохо жила и не хотела перед людьми появляться. Целая серия несчастий... Близкие умерли, сама тяжело болела, из профессии выпала, бедность, депрессия, с жильем запутанная история, бывший муж отобрал квартиру, сейчас живет в коммуналке... Случайно встретила ее на автобусной остановке, не узнала, так изменилась. «А джаз?» — говорю я, чтобы как-то разговор оживить, подбодрить ее и себя, у меня тоже жизнь не сахар. «А джаз? — говорю. — Помнишь, мы с тобой пели?» «Я джаз давно слушать не могу. А если поставлю пластинку, сразу выключаю». Кто-то не поймет, а я поняла ее сразу. Как все перевернулось в нашей жизни! Казалось, музыка твоей юности, которая хранит наши тогдашние мечты о будущей жизни, какая она у нас будет, казалось, все это теперь должно быть приятно и мило; а все наоборот: воспоминания вызывают глухую тоску, чувство горечи по поводу бесполезности мечтаний и твоего бессилия. Эти тугие сверкающие звуки, радостная эта музыка так не соответствует нынешней ее жизни, что она не хочет ничего слышать. Раньше звуки джаза обещали ей счастье, теперь они напоминают, как все не сбылось. Чеховские герои тосковали, глядя на природу: «Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!» Мы уже и глядеть не хотим, и слушать боимся. Лучше не надо, лучше не надо...

Бэмс. Явление второе.

И вот Бэмс пришел ко мне еще раз. Через год. И я убедился, насколько живая жизнь разнообразнее наших представлений о ней.

— Я к тебе из-за города.

— Что ты там делал?

— Ходил. Я занимаюсь правильной ходьбой и правильным дыханием. Каждый день с утра до всех дел хожу час. Правильно дышу. Но когда чувствую, что это недостаточно, уезжаю за город и там добираю часа три на свежем воздухе.

— Так ты что же, интересуешься здоровьем?

— Не пью, не курю, ем питательные биологические смеси. Очень рекомендую.

Достал из портфеля и показал баночку с чем-то белым.

— Что ты читаешь? — В портфеле я увидел книгу.

— Вот. — Он вынул книгу из портфеля.

Я взглянул на обложку: Л. И. Брежнев. «Возрождение».

— Ну, ты, Бэмс, даешь!..

— А чего, очень удобно изучать язык. Я купил на русском и на английском — быстро перевели! — читаю и сверяю. Хочу язык подогнать. Время свободное появилось для занятий, мне врачи посоветовали оставить работу.

— Ты ушел с работы?!

— Врачи посоветовали. Лет пять тому назад у меня было обострение язвенной болезни, очень сильное, до того, что в больницу уложили. И когда я лежал в больнице, я себя перестроил, дал себе четкие установки: не пить, не курить, не есть ничего острого, соленого, жирного, копченого и много других запретов... У меня масса питательных смесей. Масса! Одних югославских штук тридцать. Соки, пользуюсь соковыжималкой... Раньше я о здоровье не думал. Вот почему я полысел, к примеру? Бриолином злоупотреблял, когда он был моден...

— А на что же ты живешь?

— У меня стаж двадцать восемь лет. До пенсии не хватает. Я по пять лет работал в разных организациях. В последнее время специалистом по НОТ в Министерстве нефтехимии. Врачи сказали, что надо что-то поспокойнее... Мой друг устроил меня на полставки в одну строительную контору. Квартиру сдаю, у меня есть свободная квартира. Больших потребностей я не имею, я решил жизнь строить только для

себя. У меня много знакомых, сейчас появилось свободное время, я с ними встречаюсь. Хожу в кино. Только что кончилась неделя румынского фильма, там было два-три хороших детектива... У меня как фестиваль или выставка — все прекращается. Вот от тебя иду в Сокольники, там выставка медицинского оборудования.

— Ну и чего там?

— Как чего! Там мои люди. Там по-английски говорят. Я английский язык могу часами слушать. И сам практикуюсь, экскурсоводам вопросы задаю, получаю ответы... Кроме того, там массу фильмов показывают не только по медицине — видовые, развлекательные. Даже одно ревю есть, правда, не знаешь, когда его покажут, но я там целый день. — И обратился к моему коллеге, заглянувшему в кабинет: — Идите на выставку, там можно узнать массу интересного. Что вы здесь сидите, идите на выставку!

Сказать честно, я позавидовал Бэмсу. Давно меня посещала мысль: все бросить, черт с ним, стать свободным, ленивым, делать только то, что хочется, не гнаться ни за чем... Свободы можно достичь двумя путями: или стать богатым, или бедным. Богатым не получается... «Витя, стань бедным!» — сказала мне однажды актриса Галя Соколова. Она права. Разгони от себя всех, отмени все цели, погаси амбиции. Я просто живущий человек, и все! Встал утром, почитал, иди в кино, на выставку, погулял, дождь пошел — прослушай его весь, от капли до капли, птица летит — проследи весь полет от начала до конца...

— Бэмс, я хочу с тобой сфотографироваться. У Полевого есть фотография с Маресьевым, а у меня будет с тобой.

— Давай. Только не сегодня, — сказал Бэмс.

Назначили на среду.

В среду Бэмс явился с пухатым портфелем (не с ним ли я видел его тогда на улице Горького?). Позвали нашего редакционного фотографа, пошли в зал сниматься. На Бэмсе были полосатый штатский пиджак и широкополая коричневая шляпа. Щелкнули раз, два, три...

— Подождите, я сейчас приду, — сказал Бэмс. — Дай мне ключ от твоего кабинета.

Я дал. Он ушел.

Через три минуты приходит. В белом джинсовом костюме, белая шляпа на голове. Принес с собой второй наряд в портфеле.

Отдает ключ.

— Вот. Сделаем еще один снимок.

Съемка окончена. Фото вы видели в прошлом номере журнала.

Полистаем журнальчик!

«В наши дни почти на всех языках мира есть специальные слова или выражения, обозначающие подростков, поведение и вкусы которых настолько отклоняются от нормы, что возбуждают подозрение, если не тревогу. Это «тедди бойз» в Англии, «позем» в Нидерландах, «раггары» в Швеции. Французы называют их «блуждущий пуар», южноафриканцы — «цоци», австралийцы — «боджи». В Австрии и ФРГ это «хальбштаркер», на Тайване — «тау пау», в Японии — «мамбо бойз» или «тайодзуку», в Югославии — «танкароши», в Италии — «дисколи», в Польше — «хулиганы» или «бикиняши», в Советском Союзе — «стиляги».

Однако нельзя полагать, что каждый «тедди бойз» или «блуждущий пуар» действительно является несовершеннолетним правонарушителем. Эти названия часто вводят в заблуждение. Было бы несправедливо думать, что всякий подросток, которому нравится рок-н-ролл или эксцентричная манера одеваться, находится на пути к тому, чтобы стать преступником или уже является таковым. Взрослые слишком часто прибегают к слову «правонарушители» для того, чтобы выразить возмущение вкусами и склонностями молодежи.

Уильям Квараццус «На опасной тропе».

«Курьер ЮНЕСКО», май 1964 г.

«Жевательный эффект»

Речь пойдет о жевательной резинке.

Как и кока-кола, она была для нашей пропаганды символом американского образа жизни. «Посмотрите, они беспрестанно жуют эту гадость. Как коровы. Тыфу!..» Чтобы изобразить плохого американца на экране или на сцене, актеру достаточно было появиться жующим резинку. Чуингам! Несколько поколений мальчишек гипнотизировались этим словом. Мы, ребята сороковых, слова этого еще не знали, но жвачка у нас была — мы жевали жмых, вар. Думаю, это не было подражание американ-

цам, просто детская повадка — чего-то жевать. Черный вар крепко схватывал зубы, и разомкнуть их стоило большого труда, но мы истово жевали...

И вот, как всегда: за что боролись, на то и напоролись. Вернее, «против чего боролись»...

Не будем здесь следовать по всем извивам темы, заглянем лишь в пару-тройку газет 1977 года — и перед нами возникнет типичная производственная история, достойная стать основой (запомните это слово!) остросоциальной пьесы бурных времен застоя.

Итак,

АКТ ПЕРВЫЙ.

«Комсомольская правда». Рубрика «Из досье «АП» («АП» — «Алый парус»). Статья «Вокруг резинки»:

«Вопросы «АП». В 1974 году — начальнику Главного управления кондитерской и крахмально-паточной промышленности Министерства пищевой промышленности СССР А. И. Гусанову:

— Алексей Иванович, когда появится отечественная резинка?

— Думаю, не раньше 1976 года. Сейчас она проходит самые различные испытания. Добавлю только, что Министерство здравоохранения ее выпуск уже одобрило...

В 1977 году — начальнику производственного отдела «Росглавкондитера» Р. П. Гусаковой:

— Когда в РСФСР появится своя жевательная резинка, Римма Петровна?

— В конце этого года на московском комбинате «Рот-фронт» пускаем одну автоматическую линию. Оборудование импортное.

Главному инженеру «Рот-фронта» В. И. Ратникову:

— Владимир Иванович, говорят, к концу года вы выпустите первую в Москве жевательную резинку?

— Не знаю. Мне, во всяком случае, пока ничего не известно... Есть одни разговоры.

А в это время, как сообщили в Пролетарском РК ВЛКСМ Москвы, комсомольский оперотряд регулярно задерживает у гостиниц школьников из числа выпрашивающих жевательную резинку».

Занавес

АКТ ВТОРОЙ.

«Вечерняя Москва», 31 января 1977 года, репортаж «Лимонная», «Апельсиновая», «Мятная».

«На кондитерском комбинате «Рот-фронт» в корпусах, что стоят в Большом Маратовском переулке, ждут новоселы... Думы заместителя главного инженера комбината Михаила Ивановича Никитина не об уходящем в прошлое драже, а о недалеком будущем, когда тут от стены до стены вытянется новая линия, когда первые яркие пачки «Лимонной», «Апельсиновой», «Мятной» поплывут по транспортеру бесконечным потоком. «Лимонная», «Апельсиновая», «Мятная» — так будет называться жевательная резинка, сработанная в Замоскворечье, в Большом Маратовском переулке... М. И. Никитин разворачивает чертеж и объясняет, с чего начинается резинка, состоящая, оказывается, из патоки — 50 процентов, сахарной пудры — 25 процентов, натуральных ароматизирующих добавок — около 1,5 процента, остальное — так называемая основа (вот оно, это слово!), дающая «жевательный эффект». Рецепт основы каждая фирма держит в строгом секрете. Известно лишь, что для приготовления ее, основы, берут растения, подобные когда-то известному у нас кок-сагызу, каучуконосу, который выращивался во множестве, пока не был вытеснен всемогущей синтетикой. Наши ученые взялись за создание своего рецепта, а пока намечено о с н о в у (ее, ее), как и само оборудование, получить из-за рубежа.

Когда я вошел к директору комбината Валентину Васильевичу Виноградову, он говорил по телефону. На столе перед ним лежали разноцветные пачки — жевательная резинка почти со всех концов света. Наша, как и любая другая продукция «Рот-фронта», считает Валентин Васильевич, должна быть по крайней мере не хуже того, что известно миру. Даже лучше».

Занавес

И финал: мы снова видим советских школьников, выпрашивающих жвачку у иностранцев. Да, «Лимонная», «Апельсиновая», «Мятная» к Олимпиаде-80 появились, потом наши кондитеры выдавили еще два-три сорта — и стоп! До советской, к примеру, «бэбл гам» дело так и не дошло. Видимо, приобрести за рубежом основу, дающую «жевательный эффект», валюты уже не хватило...

Чтобы закончить тему, приведем под занавес (на этот раз последний) еще одну цитату.

Газета «Советская Россия». Из заметки «Сто лет жевательной резинке»:

«В 1886 году американец Уильям Уатт получил первую жевательную резинку с ароматом мяты. Сегодня только в Японии существует около 150 ее разновидностей».

Теперь все.

ПРОКОП:

— Так о чем это я?... Ах да, о том, как проморгали чешскую молодежь. Так вот, в 1965 году у нас в стройуправлении организовали поездку молодых строителей в три социалистические страны: Польша — Чехословакия — Венгрия. По линии «Спутника». Я в эту поездку с трудом, но попал. Представляете, что это для нас было! Варшава, Прага, Будапешт — тогда они были для нас настоящая заграница. Заграманица — как мы тогда говорили. Европа! И в смысле посмотреть, и в смысле прибахлиться. Это сейчас чешский пиджачок слинял перед финским блейзером... А тогда, что ты — шик! Особенно если небрежно на одну пуговку застегнуть, а в верхний кармашек так косенько платочек сунуть... В те годы мы не знали, что значит «одеваться от Кардена». Мы одевались от «Зарницы» — БНР, швейная фабрика, город Пловдив — и были счастливы. В Польше я купил тогда, в шестьдесят пятом, зонт-трость, в Чехословакии — клетчатые брюки, в Венгрии — вельветовые туфли. Равных мне в Челябинске не было. За мной ходили наши местные фарцовщики: «Продай вельветы, продай вельветы» — да ни за что! Джентльмен с себя ничего не продает! Джентльмен сам бы что-нибудь прикупил. Когда еще джентльмена в Европу выпустят!.. Но если на то пошло, то не эти вельветовые зеленые туфли я сейчас вспоминаю, тем более что наша челябинская фабрика их сейчас навалом производит... Вспоминаю я одно мероприятие, которое запланировали для нас наши чешские хозяева в городе Праге.

В один из вечеров пошли мы в молодежный клуб, где должен был состояться концерт бит-ансамбля «Мефисто». Слово «группа» тогда еще не существовало, про «бит» мы немного слышали, а «ансамбль» понимали хорошо — у самих есть и «Березка», и Моисеева, и Александрова... Привели нас в подвал. Похоже на наш клуб челябинский при жэке. Но и не похоже... Там, в этом подвале, я впервые увидел живьем ребят с длинными волосами. Помню невысокого парня в сером свитере, долго ресчесывающего свои кудри перед зеркалом в мужском туалете.

В зале мы заняли целый ряд — советские товарищи. Концерт начался для нас несколько раньше, чем для чехов. То, что мы увидели на сцене, само по себе было представлением. Всю сцену заполняли какие-то приборы — вольтметры, осциллографы, реостаты. Мигали сигнальные лампочки, шипели и время от времени похрипывали динамики, все опутывали разной толщины и цветов провода... И вот вышли несколько ребят с гитарами и ударник, подключили свои инструменты к электроприборам и ударили по струнам. С этого момента до конца наша делегация просидела не шелохнувшись. Кругом раскачивались, вскакивали с мест, хлопали в ладоши, подпевали... Мы сидели окаменев. Для меня все полтора часа воспринимались как один непрерываемый музыкальный номер, даже не номер, а сеанс неведомого мне нового состояния. Это была не музыка, а раствор музыкального вещества, бассейн, заполненный звуками, в котором я плавал, плавал... И растворялся сам. Мигали лампочки, извивались провода, дрожали динамики, дергались стрелки на приборах, и вдруг — «ба-ба-бам!» — все кончилось. Тишина с силой рванулась в уши. Между последним аккордом и взрывом ликования зала образовалась маленькая пауза, зазор, и в этой паузе, в этом зазоре прозвучал голос секретаря комсомольской организации 3-го участка челябинской объединенной ремстройконторы: «Проморгали чешскую молодежь». Вот каким классовым чутьем обладал наш комсомольский вожак! Еще тогда! Представляю, как он гордился этой своей фразой 21 августа 1968 года, когда прочитал в «Правде» на первой странице сообщение о вводе войск в Чехословакию. К тому времени он уже работал в райкоме, а потом в хорошем темпе пошел еще выше. И еще раз, совсем недавно, я вспомнил об этом далеком пражском бит-концерте, прочитав в той же «Правде», теперь уже на второй странице: «Руководители Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза, собравшиеся на встрече в Москве 4 декабря 1989 года, заявили, что предпринятый в 1968 году ввод войск их государств в ЧССР явился вмешательством во внутренние дела суверенной Чехословакии и должен быть осужден».

Елки-палки, двадцать один год три месяца и тридцать дней — я точно подсчитал — понадобилось для того, чтобы они поняли, что ввод войск — это просто

вмешательство во внутренние дела суверенного государства. И ничего больше!

ЛЮСЯ:

Однажды блоха на стене танцевала,
Сияла луна, хор невидимый пел,
В эфире мелодия джаза звучала,
Рыдал саксофон, и ударник гремел.
Сказала блоха, обратясь к саксофону:
«Скажи, милый сакс, что играешь для нас?
Мне эта мелодия очень знакома...»
«Да это же буги!» —
«Сыграй еще раз!»

БЭМС:

— А вот баллада об одном трубаче. Я знал его еще по тем временам. Я тогда вообще всех джазменов в Москве знал. Они на Неглинной собирались каждый день, у них там биржа была. Я туда приходил и к середине дня уже знал, где в каком институте вечер будет и какой состав там играет. Чаще всего мы ходили на те вечера, где играл этот наш трубач. Звали его Волдя. Вот так, с пропуском одного «о» — Волдя. Синкопа такая. Коронный его номер был «Цветущий май», тот самый, на который мы пели наши русские слова:

Я помню, было нам шестнадцать лет,
Душа не знала жизни тень.
Поцеловались мы тогда с тобой
В весенний день.

И вот там, в начале этого куплета, труба затягивала ноту, тянула ее до упора, ну, насколько дыхания хватало.

Я помню, было на-а-а-а-а-а-а-а-а-ам...

Тянуть надо было сколько можешь. Не слова, а ноту, просто на словах я показываю, в каком месте:

Я помню, было на-а-а-а-а-а-а-а-а-ам... —

и сколько можно. Мы мерили мастерство трубача длиной этой ноты. А наш Волдя и тянул ее дольше всех и еще в конце такой смачный «чмок!» прибавлял. У него сил еще на «чмок» оставалось. Как будто он в конце ноты свою трубу целует. За то, что вытянула, не подвела.

Я помню, было на-а-а-а-а-а-а-а-а-ам — чмок! —
шестнадцать лет...

А мы, танцующие, на это «а-а-а-а» застывали, застывали и потом — чмок! — снова срывались в танец. Эта затяжка, я потом понял, была для меня, ну как клиническая смерть. Душа на время покидала тело, куда она летала, я не знаю, потом — чмок! — и жизнь снова возвращалась... Я кончил институт, на танцы ходить перестал, и Волдя исчез с моего горизонта.

Прошло много лет, и вдруг вижу я своего Волдю по телевизору. В передаче «Кабачок 13 стульев». Волдя! Наш! Со своей трубой. Уже потом я узнал его историю.

В какой-то момент перестал Волдя играть на танцах, решил податься в серьезный джаз. Стал по подвалам играть, по загородным клубам ездить... Тут все неприятности у него и начались. Афишные джазовые концерты не разрешались, а неафишные запрещались... Помыкался так наш Волдя со своей золотой трубой, заработки кончились — что делать? Тут ему друг один, еще по танцам, халтуру откинул. На телевидении. Там как раз этот «Кабачок 13 стульев» начался, у них оркестр, джаз, под него артисты поют. Но пели-то там, как известно, под фонограммы, а наши только рот открывали. То есть наш пан Спортсмен вместе с ихним Томом Джонсом исполняет популярную песню «Лайла», а оркестр сидит с настоящими инструментами в руках и делает вид, что играет. Потому что у Тома Джонса свои музыканты в Англии были, когда он эту «Лайлу» записывал... И вот Волде предложили в телевизионном кабачковом оркестре партию трубы. И он согласился. А что — труба у него есть, приставлять к губам он ее умеет... Выгодная халтура. Ни звука не издаешь, а платят как за полноценное соло... Он так хорошо «не сыграл» в первой своей передаче, что его и в следующий раз пригласили, потом еще и еще... В общем, заторчал он там. Стал постоянным участником этой знаменитой передачи. Операторы только его и показывали — так вдохновенно он со своей трубой выглядел. Тут-то к нему пришла настоящая известность. Даже, я бы сказал, слава. На улицах узнают, девушки на телевидение письма пишут, домой каждый

день с букетами возвращается... И получает приглашение Волдя от Лундстрема идти трубачем в его прославленный джаз. Все его поздравляют: старик, если бить в одну точку, наверняка добьешься... Но Волдя Лундстрему отказал. Не пошел к нему. У Лундстрема надо попку рвать, а тут попку рвет за тебя какой-нибудь суперстар по фонограмме, а ты сиди, щеки надувай. Он, Волдя, так наловчился, что ел во время съемок. Кусок колбасы за кадром откусит — и снова в кадр. Трубу к губам приставит, щеки надуваются и опадают, телезрители думают, что от напряжения, а это он пищу принимает. Все-таки талант есть талант!..

Потом передачу закрыли. Где Волдя сейчас, никто не знает...

Прощание

25 июня 1980 года я ездил в Переделкино прощаться с Василием Аксеновым, который уезжал в Америку. Насовсем. Тогда провожали друзей насовсем... Говоря о своих планах жизни за рубежом, Аксенов вдруг сказал: «А что, если организовать там журнал «Стиляга»? Все эмигранты основывают серьезные журналы, а этот будет такой... секс, сплетни, треп... Ну и серьез, конечно, тоже».

БЭМС:

— Когда-то, в те годы, когда мы еще выпивали и куролесили, пришел я после одной вечеринки домой. Вернее, приполз — так набрался. И свалился на свой диван-кровать. Просыпаюсь утром, голова трещит, во рту сухо, открыл глаза — надо мной бумажка к стене прикинута, и моей рукой написано: «Меня обидели». Это значит, я вчера перед сном написал, чтобы не забыть, что мне чего-то кто-то сказал неприятное на той вечеринке. Но что? И кто? Я так и не вспомнил. Но бумажка висеть осталась.

Шли годы. Я иногда бросал взгляд на бумажку над диваном, а иногда не смотрел десятилетиями. Но в последнее время эта выцветшая уже записочка стала особенно часто попадаться мне на глаза. Но по-прежнему я не могу сформулировать, на что же я обижен?.. Да скорее всего на себя. А за что?... Тоже не ясно. Я скажу так — наверное, за то, что я до сих пор не снял со стены этот листочек с дурацкими словами. За то, что висит он над тем же диваном-кроватью или над той же кроватью-диваном, которые я раскладываю каждый вечер и складываю каждое утро. За то, что я вообще мало что менял в своей жизни. «Жизнь меняется, мы меняемся», — сказал мне Ивченко, — так и идет». Жизнь менялась, а я стоял на месте. У меня был тот же джаз, тот же или та же диван-кровать и та же записочка на стене: «Меня обидели».

Да, Ивченко прав — так жить нельзя. В каждое отдельное время надо быть таким, какое это время. И любить, то что есть в наличии. Дают в твоём магазине колбасу — люби ее. Не дают — не люби. Люби сыр. Потому что его как раз выкинули. Усложним пример. Есть в наличии «Гимн демократической молодежи», «Одинокая гармонь» и «Севастопольский вальс» — люби это. Нет джаза — не думай о нем, не трать на него силы. Вот появится — люби от всей души! Но не бесконечно. Появился рок — давай его. Поп — поп, диско — диско, панк — панк... Пока на горизонте не замаячит твоя последняя любовь — «Похоронный марш» польского композитора Ф.Шопена.

А что же делать тому, кто однолюб? Я скажу про себя так: подвижимый чувством обиды, я решил и в дальнейшем стоять на месте. Или сидеть. Вернее, лежать. Под той самой записочкой. Там вы меня и найдете.

ПРОКОП:

— Я чего подумал: прозорливые-то частушечки на мотив «Сан-Луи» оказались, наши стильные, «Москва — Калуга». Перестроечные! Во, посмотрите сами:

Москва — Калуга — Лос-Анджелос
Объединились в один колхоз.
Стиляги трактор там завели,
Колхоз назвали «О, Сан-Луи».

Что это? Совместное предприятие!

Имба-читальня, сто второй этаж,
Там русский бальный лабает джаз.

А это? Наши на гастролях в Америке!

Колхозный сторож Иван Лукич,
Хлебушки виски, толкает спич.

Народная дипломатия!

О, Сан-Луи, о, Сан-Луи,
В кармане денег... нет совсем.

А уж это наша родная рыночная экономика.

ЛЮСЯ:

— На старой квартире у нас бабка жила Куриндиха. Всем была недовольна, круглый день бубнила себе под нос проклятия. Особенно ненавидела молодое поколение. У нас часто перегорала лампочка в подъезде. Или ее разбивали, и вот я слышала, как поднимается наша бабка по темной лестнице и бурчит: «Хиппи, стилиги, сволочи, комсомольцы...» Долго жила Куриндиха на свете, и все у нее перепуталось. Если бы персонажи этого изысканного проклятия знали, что уже давно и мирно живут рядом в сознании старого человека, может быть, и в жизни они были бы ближе и терпимее друг к другу.

Заглянем в книжечку:

«Теперь пояса вновь затянуты, и, оглядываясь на нашу растраченную юность, мы, естественно, испытываем ужас. Но случается, что вновь вдруг издают приглушенную дробь умолкшие барабаны и вновь, точно задыхаясь от астмы, что-то едва слышно поют тромбоны, и тогда я переносусь назад, к началу 20-х годов, когда мы пили настоящий спирт и с «каждым днем становились все умнее и умнее», когда впервые несмело стали подкорачивать юбки, и девочки, облаченные в свитера, выглядели все одинаково, и повсюду распевали «Да, бананов больше нет», и казалось, что пройдет всего год-другой — и старики уйдут, наконец, на покой, предоставив вершить судьбы мира тем, кто видел вещи в их истинном свете, и нам, кто тогда был молод, все это теперь видится в розовом, романтическом свете, потому что никогда нам уже не вернуть былую напряженность восприятия жизни, которая нас окружает».

Ф. Скотт Фицджеральд
«Отзвуки века джаза», 1931 г.

Бэмс, явление третье.

Прошло несколько лет. Мы уже отыграли «Взрослую дочь». Я давно не видел Бэмса. И вот в конце восьмидесят девятого встретил его в Доме кино. Его, как обычно, провел какой-то знакомый на просмотр нового фильма. «А, привет,— бодро сказал Бэмс.— Читаю, слышу, у тебя — «Серсо», новый спектакль, гастролировали по Европе... Ездишь, старик?» «Да вот... А ты где-нибудь был?» — и тут же испугался бестактности своего вопроса. «А как же! — восклицает Бэмс.— В Англии, в ФРГ, сейчас в Америку собираюсь месяца на три...» «Ни фига! Вот это Бэмс! Стилига прорвался!»

На следующий день я пришел к нему со своим диктофоном и записал рассказ нового Бэмса.

«В настоящую границу первый раз я попал в октябре восьмидесят восьмого. У меня было приглашение. Это была Англия. В Лондоне я не вылезал из этого района Сохо, потому что я решил этот район вообще изучить. У меня было всегда кредо — это развлечения, а тут самый такой сгусток развлечений. И я набрался нахальства, имея маленькую сумму денег, заходить в подвалы, которые, как выяснилось, являются местами отсоса капитала. Вижу, написано, «Любовь в натуре», 3 фунта стоит — почему не посмотреть? Просто интересно. Ну, я спускаюсь в этот подвал, сажусь, какие-то женщины ходят полуобнаженные, у них закуток, что ли, они там сидят, варят... Одна из них подходит ко мне и говорит: «Что вы будете пить?» Я говорю: «Ну, что пить... кока-колу». Я же не пью ничего крепкого... 5 фунтов! Пять! Для меня это много, а для них гроши. Но приходится пить, я же заказал, не отказываться же... Ну, ладно, больше уже не попадусь на такую удочку. Сижусь. Стоит передо мной кровать двуспальная, готовая, так сказать, как сцена, для показа. Ничего на ней нет, кровать пустая. Подходит женщина, другая уже, и говорит: «Вы знаете, мы не начнем показ, пока вы еще сколько-то не дадите». Я говорю: «А сколько, чего?» Уже прикидываю... Говорит: «Сколько вы имеете?» У меня была мелочь, пенсы, я набрал побольше, чтобы звенело, и кинул. Она не стала считать, отстала. Пошла рядом араба какого-то обрабатывать. Потом девица, совсем другая, входит на эту кровать и начинает по ней елозить. Без раздевания, без никаких дел... И смотрит на нас. Елозит и смотрит. Я так понял: чтобы дойти до акта, надо еще что-то платить, понял, что ничего у меня тут не выйдет, ничего я не посмотрю... Я говорю: «Спасибо за показ...фо ю шоу, ай маст гоу, я хэв нот тайм», — и с гордым видом стал

подниматься по лестнице. Они не возражали. Во номер! Я вышел, плюнул, какого черта я туда полез? Как обманчива бывает вывеска: они говорят 3 фунта, но когда спускаешься туда вниз... Да, иду дальше. Ну, ладно, думаю, ладно... А девочки зовут полуголые: «Иди ко мне!» — а я в шляпе... Смотрю, написано: «Стриптиз». Я думаю, ну, это же не трахаются, тут подешевле. Стоит 2 фунта. У меня 5 — захожу. Говорю: «Вы знаете, я хочу только стриптиз, я больше ничего не хочу, я не претендую ни на какой секс, не буду ни пить, ничего. Я плачу вам эти 2 фунта и — пожалуйста!» Она говорит: «Хорошо». Берет меня под руку, спускаюсь я, значит, опять в подвал... Она меня ведет: «Вы знаете, я буду показывать стриптиз...» Я говорю: «У меня денег больше нет». Она: «Хорошо, хорошо». Сажает меня за столик и говорит: «Что вы будете пить?» — «Я же сказал!» — «А я живу в Париже, я приехала из Франции...» Я говорю: «Очень приятно». Она одна и я один. Она садится ко мне за столик: «Я,— говорит,— из Франции приехала, живу в Париже»... Я говорю: «Очень приятно». — «Я вам нравлюсь?» — «Конечно, нравитесь». — «А что мы будем пить?» Я говорю: «Я же все объяснил!» — «Да, но у нас так не принято». Я говорю: «У меня просто нет денег, я бы с удовольствием с вами выпил, вы мне нравитесь, но я просто... согласно вашему объявлению...» Выходит мужчина какой-то, говорит: «Вы ничего не будете пить?» Уже в конфликте. Он говорит: «Знаете, вы извините, но так у нас себя не ведут...» Я говорю: «Извините, но я не знал, я первый раз... Вообще я из другого мира,— говорю,— доунт ноу...» «Хорошо,— говорит,— идите». Я выскочил оттуда. Опять не солоно хлебавши. Два фунта отдал, ничего не посмотрел... Там — 3, кока-кола — 5 и здесь — 2. Ну, думаю, все-таки чего-нибудь посмотрю у вас... Это не про один вечер, это несколько вечеров. Я ходил в Сохо каждый день, меня уже там приметили, где-то на пятый раз. Девочки, которые зазывают, такие интересные, притягательные, уже узнавали: а, это тот... Чувствовал я там себя нормально! Ко мне подходили англичане: пойдем выпьем со мной. «Я не пью», — говорю. Ну, я действительно не пью!.. Причем я не говорю, что я из Советского Союза, вообще ничего никому не говорил откуда. Они не понимали просто, кто я. Теперь, значит, «пип-шоу», у них есть такое. Стоимость — 1 фунт. Это два стакана чая. Хорошо, иду туда. Плачу, дают мне такой тикет, захожу в кабинку, глазок, там женщина. Говорит: «Что вам показать? Если грудь — 3 фунта, если другое — 5. Я говорю: «Вы знаете, покажите мне на фунт... онли уан фунт, пожалуйста». Она смеется, показала мне язык. Я быстро оттуда выскочил. Я не думал, что и тут подвох опять. Уже, значит, 11 фунтов! Причем ничего! Англичане жуткие хитрецы. Жуткие! Интересно, что я с собой из Москвы привез полный чемодан своего барахла. Полный! Костюм, белый костюм, белая шляпа... И ни разу не надел. Чемодан не открыл ни разу! Потому что некуда было идти. В этом белом костюме куда-нибудь. В Сохо — смешно в белом костюме. В ресторан — надо иметь что-то за пазухой. Когда я видел, как подъезжают в рестораны, я как наблюдатель только был. Я даже не мог попасть, пройти — мне было стыдно. Такие дамы выходили, мужчины в смокингах, сытые, довольные, шли потоком... Я посмотрел, думаю: мама миа! Я не мог при всем желании. Даже если бы были деньги! Даже деньги! Потому что я не имел такого лоска, какого-то статуса, уровня... Зря я таскал этот чемодан со шмотками. Я просто не переодевался, ходил в пальто, и редко когда приходилось раздеваться... Я питался в «Макдональдах», там не раздеваются... Вообще что я увидел там такого, что я знал, и что такого, чего не знал? В принципе, как выяснилось, я ничего не знал. Я только представлял, воображал... Я считал, что, когда я приеду туда, я буду в раю каком-то, ну, не в раю, конечно, но я считал, что буду своим человеком, — вот как я считал. Язык, я думал, у меня какой-то есть, всегда смогу договориться, с толпой, думал, как только я окажусь на Западе, я не буду резко диссонировать... Так я считал с самого начала. Там такие же люди, как я, радушные, гостеприимные, цены такие, что я могу поесть почти бесплатно, какие-то места, где дешево все... Я буду там жить, ну, не припеваючи, но без проблем. Так я думал. Но когда я увидел на улицах массу нищих. Массу! Причем англичане. Когда я понял, что меньше, чем за 40 пенсов, я чаю не попью... Я-то думал, что на 1 фунт я и поем, и стриптиз посмотрю. Как я пытался. Но не тут-то было! Когда я столкнулся с проблемой ночевки... Гостиниц там полно, но они страшно дорогие. Я, конечно, находил дешевые, но приходилось для этого прикладывать массу усилий, договариваться, нравиться, знакомиться... Ну,

например, такие были моменты. В Лондоне я нашел гостиницу, которую содержали два араба из Алжира. Я сказал: «Ребята, я из Москвы (им я сказал, что я из Москвы), у меня мало денег... у меня получилось недоразумение с теми, от кого у меня было приглашение... мне негде жить... Я у вас не буду завтракать...» — «У нас без завтрака нельзя». — «... не буду мыться, постель мне не нужна...» Они меня пустили за 10 фунтов в сутки. Комната без окна, кровать, правда, была и стул — и больше ничего. Но я герой — я все-таки жил в отеле! Вещей я себе покупал очень мало, очень мало. Не то что жалко денег, просто не очень мне нравились. Я хотел купить костюм, ну, там, рубашки. Но было все дорого или не в моем стиле. Один раз я все же нашел костюм, и мне понравился, и стоил недорого — там на витрине было написано «80». Я захожу: «Я хочу купить у вас костюм». Они говорят: «Вы знаете, 80 фунтов это цена второго костюма. Вот если вы купите у нас один костюм за 150 фунтов, мы второй вам продадим за 80». То есть я опять накалываюсь. Поэтому я решил — еще оставались небольшие возможности — купить двухкассетник. За 40 фунтов. Оказалось, китайский. Ну, не важно... В общем, я понял, что здесь, у нас, я буду чувствовать себя гораздо лучше во всех отношениях, что там я оказался просто каким-то чужим человеком, никому не нужным, человеком со стороны. Первое время у меня вроде все представления о Западе совпали: я — свой. Но потом оказалось, что я со своими амбициями, со своими мелкими представлениями, со своим образом жизни, со своей натурой, со своей фигурой просто не представляю там никакого интереса. Не зная языка, как следует, не зная привычек, не имея влиятельных знакомых, я просто пигмей, который совершенно ничего не значит. Когда я потом был в ФРГ, я так же себя чувствовал, но внешне у меня это не выражалось, я уже себя ограничивал в своих амбициях. Можно приезжать скромно, жить скромно... Но для человека без денег там ничего не приготовлено. У нас на вокзалах хоть какие-то скамейки есть, где можно спать, у нас все-таки столовые есть, где можно за рубль (1989 год! — В. С.) пообедать... Кстати, в Дюссельдорфе я проводил ночь на вокзале. Очень весело было на этом вокзале! Там театр был вообще целый! Подходили какие-то люди, шумели, орали, пели... Девушки какие-то подсаживались, комната такая, метров сорок, и поют, шумят — люди, девушки...

ЛЮСЯ (на мотив песни А. Айвазяна «Родина»):

Соловей — старорежимный бред,
Ты не слушай соловья.
Лучше джаза в мире звуков нет,
Стильная любовь моя.

Поведу тебя я в ресторан,
Встретим там рассвет хмельной,
Обниму рукой твой нежный стан,
Будешь танцевать со мной.

Снова джаз играет «Родину»,
Вышли пары танцевать.
Сколько верст фокстротом пройдено,
Милая, еще до нас!..

У тебя на шее нитка бус,
Клипсы модные в ушах,
И выходят пары в томный блюз,
Стильно удлиняя шаг.

Два признания

А теперь я сделаю два стыдных признания.

Первое. Я никогда не был стилигой.

И второе. Я стоял у гроба Сталина в почетном карауле.

Ни о том, ни о другом я не любил распространяться. Особенно о втором. Почему? Действительно, почему?.. Нипочему! Что-то тормозило... И только сейчас, когда сел об этом писать, я нащупываю подводные мотивы. Наверное, так: боялся заданной интонации рассказа. Надо было бы постоянно подчеркивать комизм ситуации, педалировать на абсурде происходящего, остроумно комментировать эпизод. При этом я бы пережимал, боясь, чтобы не знающий меня человек ни на секунду не усомнился в моем активном антисталинизме, чтобы было видно мое несерьезное отношение к этому факту. Я действительно серьезно не отношусь, но вдруг он подумает... Я бы старался, я себя знаю. И я не затевал этого рассказа.

А дело было так. В пятьдесят третьем году я учился в десятом классе. Моя общественная работа была — пионервожатый в третьем классе. Я считался одним из лучших

пионервожатых в школе. Какие-то затевал сборы, выпускал газеты, организовывал экскурсии с моими третьеклассниками. Хотя внутренне сильно комплексовал: мало того, что я сам был инфантильным и, глядя на меня, трудно было предположить, что я кончаю школу, так и общественная работа у меня была какая-то детская... 5 марта умер Сталин. В ночь перед тем, как его тело выставили в Колонном зале, мы, одноклассники, собрались у метро «Красносельская», чтобы идти проститься с вождем. Мы дошли до кинотеатра «Колизей» (ныне театр «Современник»), чуть дальше. Тут сказали, что впереди все перегорожено грузовиками, солдатами. Кто-то решил прорываться, а я с кем-то решили идти домой. Утром мне позвонили из школы и велели срочно явиться к завучу. Я побежал. Оказалось, что от нашей школы выделяются несколько школьников в колонну из двухсот пионеров, которые организованно пройдут мимо гроба Иосифа Виссарионовича. А наша школа к тому же единственная в Москве, академическая, нам выделено мест побольше, чем остальным, и нужен старший, вот и решили тебя, Витя, ты хоть и комсомолец, но пионервожатый, будешь старшим в этой группе и в качестве поощрения за твою образцовую работу... И вот мы едем в горком партии. Приезжаем, выстраивают всех в длинном горкомовском коридоре, все двести человек, шеренгой. И я, естественно, вместе с пионерами стою. От них, кстати, ничем не отличаясь, — через три месяца я получу аттестат зрелости, а выгляжу пятиклассником... Смотрю, из кабинета со свитой выходит Фурцева, она тогда была секретарем Московского комитета партии. Медленно движется вдоль шеренги, смотрит на мальчиков и девочек и время от времени говорит: «Ты... ты... ты... ты...» И на кого показывает, тот делает шаг из строя. Уже человек десять — двенадцать стоят... И вдруг: «Ты...» — это мне. Я делаю шаг вперед. И еще: «Ты... ты... и ты». Нас, шестнадцать человек, выводят на улицу, сажают в четыре легковые машины и везут, никто из нас не знает, зачем, в горком, на этот раз комсомола. Там заводят в какую-то кладовку и выдают каждому, согласно его размеру и полу, пионерскую форму. А я комсомолец. Но уже молчу. Не та ситуация, чтобы встречаться... Тут нам объясняют, что мы будем стоять в почетном карауле у гроба. Единственный на похоронах пионерский почетный караул. Шестнадцать человек. От Всесоюзной пионерской организации. А я комсомолец... Но теперь уже совсем поздно. Тем более что форма мне годится, даже не самый большой размер. Опять в легковых машинах, по четыре человека, нас везут через все кордоны, провозят в Колонный зал. Вводят с заднего хода. И вот я уже как во сне в комнате президиума. Вижу живые портреты: Буденный, Василевский, Жуков... Маршалы. Снова появляется Фурцева. Осматривает нас — белый верх, темный низ, пионерские галстуки. Собственноручно прикрепляет каждому пионеру траурную повязку на рукав. И мне. Хотя я комсомолец... Нам объясняют, как мы должны выйти в зал и стать там: четыре у головы справа, четыре слева, четыре в ногах — справа, четыре — слева. Мы входим. Каждая четверка пристраивается в затылок той, которая уже стоит. Какое-то время стоим вместе. Я за Буденным. Из-за серой щеки вижу знаменитый маршалский ус. Маршалы уходят, мы делаем шаг вперед. И вот начались пять минут почетного караула у гроба Сталина. Что помню? Тоже ус. Синий ус генералиссимуса, торчащий из гроба. Я стоял третьим у левой ноги. Справа от меня стояла Ира Мельникова, девочка, которая в последние годы на парадах и демонстрациях взбегала на Мавзолей и преподносила вождю цветы. Пять минут проходят. И все повторяется в обратном порядке. Сдаем повязки, машины, горком комсомола, снимаем формы, выходим на улицу — и я снова настоящий комсомолец.

Кстати (я сразу перехожу ко второму признанию), и стилигой я не был из-за моего инфантильного вида. Когда мы уже десять лет как окончили институт, на том самом традиционном сборе в ресторане гостиницы «Украина» одна моя сокурсница рассказала, что девочки думали обо мне в институте на первом курсе, что это младший брат, школьник, приносит завтрак старшему, студенту, и остается посидеть на лекциях... Я понимал, что если я надену зеленую велюровую шляпу, отпущу усики, подварю «манную кашу» на свои туфли тридцать седьмого размера, то буду выглядеть посмешищем, карикатурой. Причем в глазах самих же стилигов. Нет, нет и нет! Кроме того, чтобы быть стилигой, извините, требовались кое-какие средства. Наварить каучук, достать соответствующий пиджак, стричься в «Гранд-отеле», сузить брюки... Не говоря уже о проигрывателе и пластинках. Семья наша жила на одну папину зарплату, он работал

мастером, потом завучем в ремесленном училище — я не мог себе позволить быть стилигой. Но я все это любил! Джаз, новые танцы, набриолиненные волосы... Мне нравился стиль одежды, манера поведения, слэнг. Я увлекался Ремарком, Хемингуэем, Пикассо. Я переписывал слова модных песен... «Я помню, было нам шестнадцать лет...» — это я нашел в своей черной клеенчатой записной книжке 1956 года. Где и заметки по выставке Пикассо. Я завидовал нашим миитовским стилигам: Надеждину, Павловичу, Черному, Повереннову... Я участвовал в факультетской самодеятельности, писал вместе с Борей Цетлиным под руководством Вити Бураковского капустники, играл в них. Но выйти и выдать «Чучу» на вечере я не мог. Мальчик, поющий джаз? Пионер-стиляга? Нет!

Итак, что я хотел здесь сказать.

Первое. Что я никогда не был стилигой.

Второе. Что я стоял в почетном карауле у гроба Сталина.

ПРОКОП:

И вот когда настанет наше время
И выйдет из подполья стилия племя —
Повсюду будут слышны буги-вуги
И будут веселиться чуваки...

А дальше-то как?.. Дальше! Как дальше-то?!

Пора кончать!

Западные люди хотят все знать о Советском Союзе. «Расскажите, расскажите нам об этом, мы все придем, мы заплатим, мы будем слушать час, два, три...» У нас таких аудиторий уже не соберешь, во всяком случае, под эту тему. А их хлебом не корми — расскажи «эбаут перестройка»! Наши прорабы уже съездили туда не по одному разу, сказали все, что могли, прокрутили свои лучшие пассажи, а они, эти западные люди, так и не удовлетворили свое любопытство. Теперь они стали приглашать наших из другого лагеря — антиперестройщиков. Мы возмущаемся: они что, не понимают, с кем имеют дело?! Понимают. Но им интересно. За свои деньги они могут позволить себе, чтобы им было интересно. И антиперестройщики довольны: наконец их стоеросовые взгляды стали приносить им какой-то доход. А на подходе новый виток: на Запад станут приглашать отцов застоя, динозавров коммунистической партии, рыцарей холодной войны. На месте таких ископаемых, как Гришин, Кунаев, Медунов, Соломенцев, Романов, я бы занялся, наконец, делом. Здесь они не нужны, а там будут собирать большие залы. И неплохие доллары, марки, фунты и лиры... Все придут посмотреть на выездное заседание бывших членов Политбюро. При хорошем режиссере можно такое шоу организовать!.. Майкла Джексона забывают. А уж Каганович Лазарь Моисеевич может заработать сейчас больше, чем за все сталинские годы. Где вы видели железного наркома?! Железная леди уже никого не удивляет... Я слышал, что Шелест недавно съездил в Израиль и хорошо там проходил с рассказами о тайнах Кремлевского дворца. Кстати, удивляюсь, как до сих пор никому не пришла в голову идея организовать государственный кооператив, такое совместное предприятие по гастролям наших бывших руководителей за рубежом. Что-то вроде АНТа. Нацепили свои звезды — и поехали! Валюта, заработанная гастролерами, могла бы пойти на восстановление разрушенного ими народного хозяйства. Назвать эту акцию: «Застой — перестройке» — и вперед! Не умеем мы зарабатывать деньги, ох, не умеем...

Однако все не так просто. Выступающих, читающих лекции на Западе ждет много неожиданностей. Аудитория там тоже кое-что знает о Советском Союзе, и порой эти знания отличаются от ваших. Отсюда конфузы и конфликты.

В Стокгольме Королевский театр устроил мой творческий вечер. В первом отделении актеры по ролям читали отрывки из пьесы «Место для курения», во втором — я при помощи своего старого друга, шведского слависта и драматурга Ларса Клеберга, беседовал о жизни в нашей стране. Среди прочего я рассказал о том, как в пятидесятые травили стилига, резали им узкие брюки, остригали в милиции длинные волосы... Я даже спел старую частушку: «Сегодня парень в бороде, а завтра где? — в НКВДе! Свобода, бля, свобода, бля, свобода...» И вдруг откуда-то из задних рядов раздался женский голос: «Неправда! Вы говорите неправду!» На ломаном

русском языке, между прочим. Я опешил. Я рассказываю о жизни, которую не изучал, а которую жил свои пятьдесят с лишним лет, а мне говорят, что я вру... Как объяснить? Я объясняю: быть может, за бороду и не забирали в НКВД или КГБ, но это юмор, фольклор, здесь зафиксирована модель, а не инструкция. На самом деле же все это близко к тому, как было: борода, кроме как на лицах Маркса, Энгельса, Ленина, считалась у нас вызовом обществу, крамоллой, так же, как длинные волосы впоследствии, когда... Внезапно я замечаю, как голос мой сам по себе затухает, мысль распадается, полемический задор сникает... Мне становится смертельно скучно. Всю дальнейшую программу я проворачиваю, что называется, на автопилоте. К счастью, аудитория этого, кажется, не заметила и все кончилось вполне благополучно.

Что мы им со своими бедами и биографиями... И что они нам со своим уровнем жизни и культурой...

Так почему я перестал доказывать шведской любительнице советского образа жизни, что я говорю правду? Потому что почувствовал — это безвкусно. Пошло! Убеждать, что ты гораздо более несчастлив, чем про тебя думают окружающие, — пошлость. Сейчас никто без боя не уступит свое право на несчастье. «Старик, что твои беды по сравнению с моими! Вот послушай...» А когда речь идет о стране, о политике, тут еще пикантней. Зарабатывать деньги и популярность рассказами о том, как ты плохо живешь... Оставим их в покое с нашими болячками! Скука. Такую же скуку читал я и в их глазах, когда начинал восхищаться западной жизнью, благополучием и культурой. Они тоже могли бы рассказать вам, как это все непросто, как напряженно надо работать, не расслабляясь ни на секунду, сколько подводных камней на пути к этому самому благополучию, какие за вежливыми улыбками их соотечественников скрываются акулы челюсти... Но — скучно! Зачем вам все это знать? Да вы все равно не поверите, вы видите только роскошные витрины и вежливые улыбки... Кроме того, не будут они вам рассказывать о своих неудачах, потому что западный человек должен лепить образ благополучного и преуспевающего. А нашего хлебом не корми — дай выглядеть бедным и несчастным.

Кстати, в этом смысле меня очень беспокоит моя книга. Не будет ли она представлять из себя пространную литературную жалобу, не станет ли длинным, в сотню-другую страниц, доказательством своего неблагополучия? Да, будет! Да, станет! Но я ничего не могу с собой поделать. Я такой же, как все наши. Единственное, на что я надеюсь, я постараюсь, чтобы это было в последний раз — пора кончать! Все вспомнить, все рассказать — и забыть навсегда! Освободить память, как говорят компьютерщики. И загрузить новую программу. Какую?..

БЭМС, ПРОКОП, ЛЮСЯ:

— У нас есть предложение — поставить памятник неизвестному стилиге. В Америке. В Нью-Йорке. На Бродвее! Сейчас в моде американо-советские инициативы. Так вот, мы предлагаем поставить памятник советскому стилиге пятидесятих годов в Америке, на самом настоящем Бродвее. Многие из тех, кто еще тогда, в мрачное сталинское время, любил Америку, знали о ней все, поклонялись ей, натерпелись за свои любовь, знание и поклонение неприятностей, а то и вовсе получили за это волчий билет, — так и не прошвырнулись по этому самому Бродвею. Пусть хотя бы постоят там. В виде изваяния.

Мало кто из американцев знает, что в годы холодной войны происходило с нашей молодежью. И какую роль для нас играла Америка. Страна джаза, страна небоскребов, страна Мэрилин Монро и Элвиса Пресли, архитектора Райта и кибернетики... Тогда все это обливалось грязью, называлось музыкой толстых, лженаукой или порнографией. А те, кто думал тогда не так, были в глазах советской общественности ублюдками, отщепенцами, шизофрениками, моральными уродами, предателями, обезьянами — короче, стилигами. Но как ни старались печатать, милиция, учителя, родители, комсомол, нас уже нельзя было отвернуть от Америки. «Америка России подарила пароход...»

Когда началась кампания против «низкопоклонства перед Западом», против «безродных космополитов, этих скрытых агентов иностранных разведок», взялись за стилига. Лес рубят — щепки летят. Мы были щепками в этой всесоюзной рубке.

Тогда мы пели на мотив "Sentimental Journey":

У нас в России нету мюзик-холла,
А если есть, то не для нас.
Все чуваки давно уже в подполье,
И там для них играет джаз.

И дальше:

Пускай на нас катают фельетоны
И в ресторанах ловят нас,
Но наши дуды, пиджаки и коры
Вновь станут модою для вас.

Какие слова! Вот и пришло это время, когда бывшие наши гонители надели на себя модные фирменные дуды брюки, пиджаки (пиджаки) и коры (туфли), повернулись в сторону Запада, стали бороться за компьютеризацию нашей науки, американизацию нашего быта, модернизацию нашего искусства, причем с той же самой увлеченностью и самоотдачей, с которой совсем недавно боролись против. Они с симпатией рассуждают о плюрализме и конвергенции, добиваются консенсуса и инвестиций, спокойно относятся к сексуальной революции и даже против борьбы кетч ничего не имеют.

Приказано быть смелыми.

Разрешено стать терпимыми.

Есть инструкция не давать установок.

А что они все делали до этого? Как что — боролись с низкопоклонством. А мы скажем так: не низкопоклонство, а низкий поклон Западу за то, что не таит обиды на нас за те десятилетия, когда в его, Запада, сторону неслись проклятия и поношения из страны, которую он, Запад, называет Востоком. Когда в «Правде» рисовали Рейгана с Гитлером на плече, мы думали: что ж американцы молчат? Когда по телевизору наш международник рассказывал, какая ужасная страна Америка, мы возмущались: зачем американцы пускают его к себе? Когда наш бровастый генсек испуганно озирался на зеленой лужайке перед Белым домом, нас трясло: неужели они не видят, с кем имеют дело?..

И вот все это кончилось. Хотелось бы, чтобы там, за океаном, знали, кто мы такие, и умели отличать нас от тех, кто сейчас, украв нашу биографию, старается перед вами быть похожим на нас, таких, какими мы были уже в наши пятидесятые.

Ах, если бы они тогда, в эти самые пятидесятые, прислушались к нам... Ну, не к нам, а к тем, кто поумнее нас, ведь были тогда люди поумнее нас, но которые думали тогда, как мы, — к физикам, к философам, к биологам, к писателям... Может быть, не были бы мы сейчас в таком дерьме. Может быть, пропасть между нами и остальным миром не была бы сейчас так безнадежно широка. А может быть, пропасти вообще бы не было... Так же, как в пятьдесят шестом на первой выставке Пикассо в Москве один из нас ждал фразы: «А этот парень прав!» — ждали и стилиги, что в один прекрасный момент с них снимут клеймо придурков. Дождались! Калеки джаза, инвалиды стиля, уроды модерна, страна приветствует вас и награждает памятником! Поздно... Калеки, инвалиды и уроды не могут даже сделать двух шагов из общего строя для принятия награды. А уж крикнуть «Служу Советскому Союзу!» им совсем не под силу...

Проклятое слово — поздно! Но не надо думать, что оно только наше. И ваше, дорогие товарищи! Потому что, если бы вместо того, чтобы расходовать свои небогатые силы на доказательства того, что слова «генетика», «кибернетика», «плюрализм» не наши, вы бы употребили их на усвоение этих понятий, быть может, и не было бы сейчас так невозвратно поздно. Вы потратили свои силы на борьбу с нами, а мы... Фу, какая глупая история!

Съедена жизнь. Лучшие наши годы употреблены в пищу любителями полакомиться чужими судьбами. В роскошном блюде, вокруг которого заседали наши едоки, маленьким кусочком, эдакой маслинкой, веточкой зелени, волоконцем белого куриного мяса, прилепившимся сбоку облитой майонезом салатной горы, была вкраплена молодая жизнь стилига. Едоки проглотили этот кусочек, так и не заметив его и им не насытившись...

«Кинем брэк по Броду» — так говорили мы, прошвыриваясь по мрачной улице Горького времен холодной войны. Пусть же сейчас, во время перестройки, возвышается на том — настоящем — Броде памятник стилиге. И пусть проходящие мимо американцы улыбаются, глядя на этого нелепого чувака в узких брюках, с коком на голове. А советские туристы и визитеры пусть отстегнут от своей тощей валюты

несколько центов, и скинутся на дешевенький букетик, и положат его у подножия этого памятника. Потому что неизвестно: если бы не этот чертов стилига, кинули бы они свой брэк по их Броду...

У нас все.

ЛЮСЯ:

О Сан-Лун, город стильных дам,
Крашенные губы он целует там.
Девушка хохочет,
Полная любви огня,
С ней мой любимый хочет
Позабыть меня!..

Последнее слово автора

Когда далекие потомки наши, те из них, кто не потеряет исторического любопытства и сохранит склонность к фундаментальным исследованиям, когда они будут рыхлить тему для диссертации «Почему у них тогда ничего не получилось» («У них» — это «у нас»), пусть они вместе с многочисленными материалами тех лет («тех» — для них, для нас — «этих») засунут в компьютер и мою маленькую книжечку. Может быть, она поможет им понять наши проблемы и беды (для нас — «наши», для них — «их»), которые мы («мы» — это мы, для них — «они») во время, отпущенное нам («нам» — это для нас, для них — «им»... тьфу ты, черт! — хватит, все понятно). Так вот я, автор, отсюда, из наших дней, хочу сказать им, туда: не особенно обращайтесь внимание на авторские рассуждения и догадки по поводу того или другого, пятого или десятого, а дайте задание вашему компьютеру выковырять из текста лишь то, что относится к стойкому народному жанру «случаи из жизни». Собственно, автор и старался строить свой труд на этих «случаях», но нет-нет да и пускался в философские рассуждения и словесные экзерцисы, растворяя крупицу факта, растирая, размешивая и взбивая получившуюся при этом литературную массу до пенного состояния. Передайте вашему компьютеру, чтобы проделал обратную работу: отжал, отсеял и уплотнил. Впрочем, я уверен, он и сам знает, что надо делать, без моего предупреждения и вашего напоминания... И вот когда весь мой труд он собьет в одну маленькую кругленькую пилюльку, возьмите ее и положите на язык, подержите так секунду-другую — и вы почувствуете легкую горечь.

Знайте: это мы.



Татьяна
МАКСИМЕНКО

☆☆☆

Эта оттепель жестока: кроны гнет, афиши рвет,
Старой жестью водостока протекает небосвод.

Ссорит крыс у скользких свалок,
будит ненависть у псов,
Добавляя в крики галок дрожь гнусавых голосов.

Крутит косточки старухам, мнет младенцам животы,
А пророкам, твердым духом, сводит судорогой рты.

В эту оттепель вернутся жены к ветреным мужьям,
Доски ящиков коснутся дна прямоугольных ям.

И за кладбищем торговки, сбив гремящие венки
И в прозрачной упаковке неживые стебельки,

Бутерброд за бутербродом будут жадно поглощать
И таинственным народом трезвых спутников страшать.

☆☆☆

И пока будет ветер белье полоскать на веревке,
И пока будут сосны ресницами часто моргать,
Я пойду на поклон к гастрономовской лучшей воровке,
И, краснея в ответ от старанья ее и споровки,
Буду грабить себя помогать.
Я завишу от этой дрянной костяной вермишели
И от манной крупы, что с небесною схожа крупой,
Но представлю своих сыновей дистрофичные,

тонкие шеи,
На их душу просчитанные килограммы, бушели, —
И готова сполна расплатиться с державой скупой.
Но держава не держит меня — только в спину толкает:
— На ублюдков твоих напасешься ли мяса и ржи!
И концы оголенного провода снова смыкает,
И глядит ошарашенно... Но ко всему привыкает —
К тем, кто мечет деньгу, к тем, кто точит ножи.
И всегда между нею и мной возникает преграда:
Для любви нет пространства, нет воздуха, веры, огня!
Есть тропинка в трущобах и траурный ход снегопада —
Снег засыплет мой след — и как не было в мире меня.

☆☆☆

Много времени утекло... Лето забыли оба.
Осень, светлая, как стекло, жаркая — до озноба,
Смуглая — рожа обнажена — хрустнут во тьме ключицы,
Словно будущая жена властно в окно стучится.
Милая, кто тебя пустит в дом?

Здесь — потолок, там — небо!
Очень мечется за углом, просит воды и хлеба.
Жар, смущенье, встречи наив, запах рогожей укрытых
Яблок, их румяный налив в ящиках и в корытах.
Но не зря сквозит холодок,
Колется взгляд с прищуром.
Год пролетит... И еще годок...
Так нам и надо, дурам!
Жить любовью и петь вздохом могут лишь единицы,
У остальных в морщинах лоб,

В пальцах проворных спицы.
Невыносимо видеть тогда глупых соперниц счастье,
Смех в наступающие холода, солнечный луч в ненастье.

☆☆☆

Рождается великий стыд,
Сравнимый лишь со жгучим снегом.
Он вдаль, зажмурившись, летит,
Случайным брезгуя почлегом.

Там рук воздетых белизна, там чернота углов ночная
И непролазная стена между тобой и мною. Знаю,

Что стыд не бабочкой летит, а ястребом подстерегает,
По насту снежному скользит,
Тела, как льдины, раздвигает.

Так помню, в детстве ангелок
Глядел сквозь утренние щели,
В руке сжимая шерсти клок, а рядом ангелы свистели,

Крылом в электропроводах запутываясь, прорицали,
Что нас разбудят стыд и страх
И толпы нищих на вокзале!

Но лжи устойчивый наркоз нас отравляет постепенно,
Во сне крепчая, как мороз и запоздалый вой сирены.

Проснувшись, мы идем туда, где ветер флаги развевает
И краску прочную стыда на наши лица проливает.

☆☆☆

Им было трудно говорить, ведь столько лет молчать
Пришлось, посмевающим отворить дверь и сорвать печать!

И я смотрела, как в лучах, на утреннем холме,
Они забыли долгий страх, твердя о Колыме.

А кто был бледен и устал, те на губах своих,
Морозный чувствуя металл, молчали за двоих.

И мне хотелось им помочь, как ветер или клен,
Шепча молитву день и ночь у плачущих колонн.

☆☆☆

В ночной степи кончается гроза,
увяло древо молний над курганом,
И утро, вновь открывшее глаза,
ребенком, ввысь подброшенным, румяным,
Летит к земле...
Ее тугая грудь уже готова брызнуть свежим млеком,
А лето тихо трогается в путь,
неся туманы от варягов грекам.

Неслышно осыпается роса,
а с нею и малина с плодоножек,
И лебеда крахмальная краса
шуршит на небе, а в овраге — ежик.
Стал звук длиннее, золотистей луч...
Земное счастье кажется небесным,
Внезапно пропадая между туч,
пересыхая ручейком безвестным.

☆☆☆

В доме моем часы с кукушкой и детские голоса
и елка со сломанной верхушкой, покинувшая леса.

Пламя свечек оберегая, дети в полночь не спят.
Кроток, щель в небесах раздвигая,
ангел — крылья до пят.

Зачем он листает во тьме гравюры?
А Бог его знает зачем.
На столик облокотились фигуры —
слушают про Вифлеем —

город на холме, про Марию, про младенца Христа...
Жажда чуда, как малярия, детские жжет уста.

Милая жизнь! Но у жизни — я знаю —
начало есть и конец...
И тает зима очередная,
как во рту леденец.

г. Жуковский, Московская обл.

Алексей ПЬЯНОВ

РАССКАЗЫ об Ираклии Андроникове



Рождение книги

Работая над этими рассказами, мне не пришлось ничего придумывать. В них все — правда. В сущности, это и не рассказы даже, ибо я лишь расшифровал да перебелил записи, которые вел почти все двадцать лет моей дружбы с Ираклием Луарсабовичем Андрониковым. В заметках этих не было строгой хронологической последовательности. Нет ее и в рассказах. Да и писались они не все разом и в большей своей части еще не написаны. Здесь перед вами лишь малая толика того, что хранят мои дневники, ждущие своего часа.

Рад, что некоторые рассказы Ираклий Луарсабович успел прочитать в «огоньковской» книжке. Знаю от Вивианы Абелевны, вдовы его, что «Еду в Переделкино» и «Телеграмма Чаковскому» ему понравились. И не потому, что это — о нем. Нет, тут другое. Должно быть, они напомнили Андроникову, уже прикованному к дому тяжким недугом, как много лет назад колесили мы дорогами Верхневолжья, навещая столь любимые им места.

И эти рассказы, предложенные мной журналу, в историю которого навсегда вписано и имя Андроникова, — не прощание с мастером, а новая встреча с ним.

Он лежит у меня на столе — маленький, карманного формата фюмик. На светлом коленкоревом переплете оттиснуто: «Ираклий Андроников. К музыке». Такой знакомый. Читанный-перечитанный, побывавший со мной в разных городах и весях. Когда же много лет назад я увидел эту книжку впервые, она занимала большой обеденный стол в гостиной старой андрониковской дачи в Переделкине. Потому что была еще и не книгой, а только что полученной от машинистки рукописью, которую Андроников аккуратно складывал в стопки по периметру деревянной столешницы.

Он делал это так сосредоточенно и увлеченно, что не заметил моего появления. А я не спешил обнаруживать себя. Стоял у дверей и смотрел, как вдохновенно колдует седой кудесник, раскладывая лишь ему одному ведомый пасьянс, бормоча что-то и насвистывая.

На террасе открыли дверь, потянуло сквозняком, страницы, лежавшие на столе, зашелестели под вестерком, проникшим из сада. Андроников поднял голову, невидяще посмотрел на меня, должно быть, не понимая, как я тут очутился. Потом сказал, как мне показалось, с легкой досадой:

— Признаться, я ждал вас несколько позже. Ну проходите, проходите. Только закройте дверь, иначе моя работа будет погублена.

Прикрыв поплотнее дверь, я подошел к нему, пожал сильную теплую руку, извинился, что помешал столь важному занятию.

Он запротестовал:

— Ничему решительно вы не помешали, дорогой Алексей Степанович. Совсем наоборот. Дело, как видите, завершено, и мне просто не терпится показать все это кому-нибудь. Домашние — не в счет, ибо им я уже надоел. Первого встречного с улицы не позовешь, поскольку встречные здесь крайне редки в этот час. Из чего следует, что вы появились весьма своевременно.

Это было произнесено с таким энтузиазмом, что мои подозрения насчет его досады развеялись. Я видел, что он действительно рад мне. Скованность моя прошла, и я довольно нахально выпалил:

— В таком случае позвольте продегустировать!

— Извольте! Наслаждайтесь! Тем более что вы найдете здесь кое-что знакомое, виденное и слышанное вами. Только, ради Бога, не меняйте порядка. А за сим я вас на время оставляю.

Сказав это, он открыл дверь, ведущую в кабинет, и вышел. Подойдя поближе к столу, я взял одну из стопок. На первой странице было напечатано: «Ираклий Андроников. К музыке». В правом верхнем углу листа карандашная пометка знакомым почерком — «1-й экземпляр».

Я держал в руках будущую книгу Андроникова.

В тот вечер в мотеле «Тверь» мы втроем — Ираклий Луарсабович, Вивиана Абелевна и я — обсуждали, говоря языком официальным, программу их пребывания в Калинин. В ней значилась целая дюжина объектов, которые радушные хозяева хотели показать своим гостям.

— К сожалению, это невозможно, — резюмировал наше бдение Андроников. — Тут наготовлено на целую неделю, а ведь у нас еще Торжок, Старица, Берново, Малинники... Пожалуйста, Алексей Степанович, согласуйте радикальное

На снимке: Ираклий Андроников и Алексей Пьянов
на озере Селигер, 1974 г.

Фото Ю. Крылова

сокращение этого документа. Иначе мы рискуем навсегда остаться в Твери в качестве экскурсантов.

Я обещал, но не очень уверенно, ибо знал, что сделать это непросто: программу составляли на самом «верху», поскольку Андрониковы были приглашены первым секретарем обкома партии Н. Г. Корытковым.

В конце концов мы сошлись на Музее тверского быта, перенеся остальное на обратную дорогу.

Сейчас этот дом в Твери знает каждый. А прежде даже старожилы не слыхали о нем. Мало ли здесь старых домов, ветшающих, рушащихся от времени и полного к ним равнодушия! Но оказалось, что именно таких, как этот, спрятавшийся среди унылых силикатных пятиэтажек, мало. Да что там — один он такой во всей Твери! И не только по возрасту, но и по истории своей. Сооруженный в XVIII веке, кого только не повидал он за два столетия. Говорят, что самым знаменитым постояльцем был государь император Петр Алексеевич. Якобы в честь выдающегося события изготовили изразец с портретом Петра Великого. И пошел он вместе с другими знатно исполненными керамическими плитками на облицовку печи-голландки. И сохранился до сего дня, являя нам не только образ монарха, но и талант безвестного мастера...

Мы неспешно ходили по вечным половицам купеческого особняка, ставшего музеем, и восторгам Андроникова не было конца.

— Ай да молодцы! — то и дело восклицал он. — Как замечательно все придумали! Как талантливо!

Внизу, в последней, кажется, комнате, задержались надолго. Здесь среди всяческой сбруи, хомутов и супоней висела гирлянда поддужных колокольчиков.

Ираклий Луарсабович внимательно осмотрел каждый, потом тронул вдруг бронзовые их язычки. И комната наполнилась музыкой. Радостно, звонко, голосисто запели валдайские, тверские, новгородские...

Разговоры замолкли. Мы стояли и слушали забытую музыку России.

А он все звонил и звонил, словно перед ним была хорошо знакомая партитура дорожной песни, под которую неслись некогда по пыльным большакам удалые тройки.

Я смотрел на него. Восторг и удивление! Может, в эти минуты казалось ему, что стоит он на сцене огромного зала перед сотнями слушателей, ловящих каждый звук, каждый жест его. А ведь здесь и была-то всего дюжина старых колокольчиков.

Когда умолкли последние звуки, раздались такие дружные аплодисменты, что маэстро, всегда уверенный в себе, растерялся, смутился. Потом, картинно раскланявшись, закричал:

— Гениально! Ай да тверяки! Многие вам лета!

Ранним утром следующего дня покинули мы Калинин.

В дороге Андроников задремал. Но когда проезжали Медное, вдруг открыл глаза и спросил:

— Что это?

— Медное, — ответил я. — Тверцу переехали.

— Боже мой, Вива! — воскликнул он. — Что за дорога сказочная! Медное, Тверца! Это же — Радищев.

— Ну что ты так громко, Ираклий! — укоризненно сказала Вивiana Абелевна. — Ты всех пугаешь. Вот, возьмите-ка конфеты.

Она протянула нам коробку, купленную два дня назад в Елисеевском, когда уезжали мы из Москвы.

— Ну какие могут быть конфеты, когда по обе стороны — Медное! Фантастика! Невероятно! И я чуть было не отказался от этой поездки! Варвар!

Выпалив все это, он умолк и, улыбаясь, смотрел на нас. Потом сказал:

— Только колокольчика и не хватает, а? Кстати, Алексей Степанович, вы специально выбрали этот музей? Ах, нет? И про колокольчики ничего не знали? Ах, не знали? Вива, он, оказывается, ничего не знал. Он не желает раскрывать нам свои секреты. Ну и не раскрывайте. Ну и храните на здоровье свои тайны. Все равно это большая удача — поглядеть настоящие колокольчики. А звук-то какой! «И колокольчик, дар Валдая...»

— Федор Глинка, — перебил я его монолог и, желая блеснуть эрудицией, продекламировал:

**Вот мчится тройка почтовая
Вдоль по дороге столбовой,
И колокольчик, дар Валдая
Гремит уныло под дугой...**

— Нет, нет! — остановил меня Андроников. — У Глинки не так. Вернее, не совсем так.

Пудобнее устроившись на сиденье летящей по асфальту обкомовской «Волги», он вдруг запел:

**Вот мчится тройка удалая
В Казань дорогой столбовой,
И колокольчик, дар Валдая
Гудет уныло под дугой...**

Закончив песню, которой сильно смутил нашего шофера Володю, должно быть, впервые видевшего, чтобы обкомовские гости пели в машине, сказал:

— Вот как у Глинки. Заметили разницу? К этому необходимо добавить, что Федор Николаевич Глинка был поэтом-декабристом и песен не сочинял. Прозвучавшие в вашем и моем скромном исполнении строки являются частью в свое время широко известного стихотворения «Сон русского на чужбине», впервые напечатанного в газете «Северная пчела» в 1824 году...

Я внимательно слушал, понимая, что это не случайная импровизация и не лекция. Мне и прежде доводилось быть свидетелем рождения некоторых его вещей, обкатки их на публике.

Он же между тем продолжал:

— Прочитанные вами строки — лишь один из вариантов знаменитой «Тройки». Ее иногда называют «Колокольчик». Слова, которые разнятся с теми, что прочитаны мною, написаны не Глинкой, а кем-то другим. Но мы никогда не узнаем, кем именно, потому что их сочинил народ. Что же касается музыки... Вы знаете, кто ее автор? Не знаете? Не смущайтесь, ничего стыдного даже для человека с университетским образованием в этом нет. Далеко не каждый ответит на этот вопрос верно. Было время, и я считал «Тройку» народной песней. А между тем музыку к ней сочинил Алексей Николаевич Верстовский, автор знаменитых в свое время опер «Аскольдова могила», «Пан Твардовский», «Громобой». «Тройка» написана им в 1828 году. Стихи и музыка соединились столь естественно, что вскоре песня стала народной, пребывая в этом качестве и по сей день. Вы, я вижу, удивлены моими познаниями в этом, на ваш взгляд, далеком от моих интересов предмете?

Я не стал этого отрицать, ибо удивление было естественным моим состоянием во все время общения с Андрониковым.

— Думая так, — продолжал он, — вы допускаете сразу несколько ошибок, дорогой Алексей Степанович. — Во-первых, ссй предмет — музыка — занимает меня давно, как вам, должно быть, известно из некоторых моих сочинений. Во-вторых, мне пришлось проделать весьма значительную работу, занимаясь песнями о русских тройках по договоренности с журналом «Кругозор». Вы не можете себе представить, сколь интересна, сколь увлекательна, но и трудна эта тема! У многих «Троек», считавшихся народными, отыскивались авторы. Но каких усилий это потребовало! Теперь изыскания мои близки к завершению, и вскоре вы сможете познакомиться с ними...

Тут я счел, что пора и мне вступить в разговор, дабы подтвердить свой титул «тверского краеведа», не без гордости носимый с некоторых пор, и сказал, что давно уже интересуюсь жизнью и творчеством Федора Глинки. Что было правдой. Интерес мой к этому человеку возник в ту пору, когда я жил в районе Желтикова поля. Место это получило название от некогда бывшего здесь Желтикова монастыря. Энтузиасты атеизма и борьбы с «мракобесием» не оставили от него и следов. А ведь на монастырском кладбище нашли последний приют многие славные тверяки. В том числе и Федор Николаевич Глинка. Он был похоронен здесь с воинскими почестями как бывший офицер и владелец золотого оружия, полученного за храбрость в сражениях Отечественной войны 1812 года.

Многим обязана Тверь этому человеку. До старости сохранил он силу духа, ясный ум, достоинство, любовь к общению. Мне доводилось читать у его современников о том, что редкое событие в городе обходилось без Глинки. И всегда, на всякий торжественный случай готова была у него ода...

Выслушав мой рассказ, Андроников сказал:

— Это замечательно, что вы интересуетесь жизнью Федора Глинки. Незаурядный, достойнейший и несправедливо забытый человек. О нем наговорено много всякой чепухи. И будет благородно с вашей стороны напомнить об этой личности. Кстати, вы говорили об его одах на случай. Кажется, у меня кое-что для вас есть по этой части. Напомните,

когда возвратимся в Москву. А сейчас я хотел бы вернуться к нашей прежней теме — тройкам. В русскую поэзию ввел ее Пушкин своей «Зимней дорогой»...

Слушать Андроникова было наслаждением. Блистательный рассказчик, великолепный актер, он захватывал увлекательностью сюжета, яркостью красок, темпераментом, я бы даже сказал — страстью, с которой все это обрушивалось на тебя. Его эрудиция поражала, изумляла, приводила в недоумение. И при всем этом в любой истории или рассказе — предельная отточенность формы, словно вещи эти, прежде чем быть преподнесенными слушателю, тщательно отделялись за столом. Между тем многое из того, что довелось слышать мне из его уст, было экспромтом, рождалось на моих глазах. Согласитесь, такое выпадает не часто. Ибо писатель творит в одиночестве, даже самых близких на версту не подпуская к своей «кухне». Но в том-то и дело, что Андроников был и писателем, и человеком необычным. Он — явление уникальное. Что было признано давно и единодушно.

Его стихией были импровизация, лицедейство. А потому даже случайный слушатель, собеседник, попутчик не только не мешали, но помогали ему творить. Андроникову была необходима аудитория. Хотя бы из одного человека. Это как бы замыкало цепь, в которой и рождался тот волшебный ток высокого творческого напряжения, который передавался вам, радуя, волнуя, потрясая.

Понимание всего этого пришло ко мне позже. А тогда — в машине, в гостинице, во время прогулок — я был, признаться, смущен тем, что таскаю человека из города в город, отрывая от дел, мешаю ему. Оказалось — помогал. Чему радуюсь и чем горжусь, хоть и знаю, что это наивно. Но, как я заметил, наивности не был лишен и Ираклий Луарсабович. Наблюдал я ее и у Бориса Николаевича Полевого... Нет, нет, не зачисляю себя в этот ряд, упаси Боже! Просто хочу сказать, что не надо бояться не только казаться, но и быть наивным. Наивность омывает душу светлой водой детства, не дает ей зачерстветь.

Итак, я стоял в столовой переделкинской дачи Андроникова и держал в руках его будущую книгу.

За титульной страницей, которую я аккуратно положил на стол, следовало обращение к читателю — «От автора». Всего два небольших абзаца:

«Здесь собраны записи моих устных рассказов, в которых идет речь о музыке, воспоминания о музыкантах, сценарии телевизионных фильмов о музыке, сообщения о музыкальных находках, статьи...

По существу, все это не требует никаких предварительных пояснений. Из самого текста книги читателю будет ясно, как неудачно сложилась музыкальная судьба автора и как он все-таки никогда не забывал музыку, которую любит больше всего на свете. Как предан ей».

Листая рукопись дальше, я нашел «виденное и слышанное» мною. Оно называлось «О русских «Тройках». Сел в кресло у стены, начал читать и сразу же натолкнулся на знакомые фразы...

Дверь, ведущая в кабинет, отворилась, вышел Ираклий Луарсабович, одетый в уже знакомый мне темно-синий костюм, сказал:

— Я вижу, что вас утомило это занятие. А посему кладите рукопись на место и пошли завтракать. Нам уже накрыли на террасе. Сегодня хороший день.

«Уступите Гоголя!»

В «Юности» решили провести анкету: опросить маститых писателей относительно их смен. Составили список мэтров.

Мне достался Андроников.

— Только не тяните, старик, — сказал Борис Николаевич Полевой, напутствуя, — поезжайте сегодня же, сейчас же! А то упорхнет куда-нибудь. Знаю я Ираклия. Да не забудьте передать привет.

Звоню в московскую квартиру Андрониковых. Не отвечают. Набираю номер переделкинской дачи. Трубку берет Вивиана Абелевна. От нее узнаю, что Ираклий Луарсабович нездоров: простудился. Температура, страшно болит зуб.

Я уже собирался извиниться и попрощаться, когда она сказала:

— Подождите минутку, Алексей Степанович, я сейчас поговорю с Ираклием. У него там доктор.

Ругаю себя за то, что так не вовремя позвонил, и вдруг слышу:

— Приезжайте, дорогой, Ираклий ждет вас.

— А может, отложим? — мямлю я. — Ему сейчас не до меня. Да и зубная боль может сказаться на качестве беседы. Она смеется моей плоской шутке и повторяет:

— Приезжайте обязательно, он хочет видеть вас. Вы нашу новую дачу знаете? Это угловой дом в самом начале улицы Павленко. В первом этаже. Приезжайте, мы ждем.

Делать нечего — придется ехать, коли уж напросился.

Надо сказать, что до этого звонка я довольно долго не виделся и не говорил с Андрониковыми. Ираклий Луарсабович был занят новой книгой, делами на телевидении, поездками. Да и чувствовал он себя не совсем хорошо, о чем свидетельствовали его праздничные открытки. Тем более хотелось мне повидать его, поговорить о новой книжке, которую я затеял по совету Андроникова. Лет за пять до этого, на одном из Пушкинских праздников в Верхневолжье, где был он почетным гостем, Ираклий Луарсабович спросил меня:

— Вы о Николае Александровиче Львове слышали?

Я не успел ответить, как он воскликнул:

— Боже мой, вот эфиоп! Спрашиваю у тверяка — слышал ли он о Львове?! Надеюсь, вы не обиделись? Нет? Ну и правильно, ибо я меньше всего желал обидеть вас невольно вырвавшимся и безусловно дурацким вопросом.

Я тогда не привык еще к манере поведения Андроникова, его неожиданным «поворотам», нещадным ругательствам в свой (его) адрес, очаровательной и такой естественной самоиронии и, признаться, был смущен. А потому в ответ на его тираду стал бормотать что-то о Торжке и Никольском, где сохранились творения великого зодчего.

Выслушав меня, Ираклий Луарсабович сказал:

— Сообщенные вами сведения делают честь вашей эрудиции. Но это — не весь Львов! Это даже не половина Львова, а лишь часть его. Вы должны знать, что он был прекрасным инженером, художником, музыкантом, литератором. Это фигура колоссального масштаба. Это — гений. Но гений забытый, или почти забытый. Настоятельно рекомендую вам заинтересоваться им. Ведь тут у вас все под рукой, все рядом — и Никольское, и Прутья, и Торжок...

Я завел специальную папку и стал складывать в нее все, что удалось найти о Львове в областной библиотеке, в местном архиве. Сведения эти были скудны. Рукопись моя продвигалась медленно, и дальше небольшого очерка дело не пошло.

Очерк этот я решил показать Андроникову, собираясь в Переделкино.

День выдался дождливый. Машины в редакции не оказалось. Я изрядно промок, пока искал нужную мне дачу. Она даже внешне показалась не такой уютной, как та, старая — в самом конце улицы Павленко, которую до пожара Андрониковы делили с Леонидом Ленчем.

В доме было тихо. Я потоптался на крыльце, вытирая измазанные глиной башмаки, и постучал. Дверь открыла Вивиана Абелевна, укутанная в теплый платок.

— Заходите, — приветливо, как всегда, пригласила она. — Ираклий ждет вас. Он рад, что вы решили навестить нас. Он так мучается от этой ужасной боли.

Я прошел в небольшую комнату с окном в сад, где на кровати, укрытый одеялом до подбородка, лежал Андроников. Он улыбался широко и радостно, словно мое появление гарантировало ему избавление от зубной боли.

— Ага! — воскликнул он. — Вы все-таки приехали! Замечательно! А я уже подумал, что дождь и слякоть помешают вашему визиту к несчастному страждущему мизераблю. Но вы приехали. Вива, дай ему стул и возьми для просушки его пиджак, иначе и он схватит простуду. А нам достаточно и одного пациента.

Глядя на него, трудно было поверить, что еще час назад здесь был доктор, оставивший кучу всяких порошков и таблеток, лежавших на тумбочке у кровати. Впрочем, таблеток было явно меньше, чем книг, газет, журналов, на которые пациент уповал, вероятно, больше, чем на лекарства.

Вивиана Абелевна ушла с моим пиджаком, а я стал извиняться за то, что вломился к больному человеку.

— Перестаньте, дорогой Алексей Степанович, разводить политесы, — сказал негромко Андроников. — Я не настолько плох, чтобы отказать себе в удовольствии видеть вас. К тому же у вас должно быть дело ко мне, коли вы решились на визит в такую погоду.

— Дело терпит, Ираклий Луарсабович...

Он перебил меня:

— Да, да, дело терпит, но жизнь идет. Жизнь не терпит.

Вам еще можно ждать и откладывать, а у меня уже на это мало времени. Вот отложил поездку в Австрию из-за этого проклятого зуба... А у вас болят зубы?

Я неожиданно для себя раскрыл рот и показал ему свои обильно оснащенные металлом челюсти.

— Ага! — воскликнул Андроников так громко, что в дверях появилась Вивиана Абелевна.

— Что случилось, Ираклий? — тревожно спросила она.

— Ничего! Ничего не случилось. Успокойся. Просто мы со Степановым говорили о зубах, и я рад был убедиться в том, что он — мой коллега.

Она ушла, а Ираклий Луарсабович сказал:

— Давайте говорить потише, иначе они (он кивнул в сторону двери) подумают, что я симулянт. И будут недалеко от истины, ибо зуб у меня с вашим приходом почти успокоился, и мы можем вести полноценную беседу... Так что там у вас?

Периодически поглядывая на дверь, я рассказал ему о нашей анкете. Он слушал серьезно, не перебивал традиционными для него репликами, а потом спросил:

— У вас есть карандаш и бумага? Тогда пишите. Литература — это редкая удача. Записали? Теперь зачеркните написанное, ибо начинать беседу со столь сомнительного афоризма может только идиот. Зачеркнули?

Я кивнул. Он приподнялся на постели, положил повыше подушки и спросил:

— А кого вы сами любите? Кого читаете? Кому верите?

Я назвал несколько имен.

— Это хорошие писатели, — согласился Ираклий Луарсабович, — но они слишком серьезны. Они хотят быть серьезными, мудрыми. А помните у Пушкина: поэзия должна быть глуповатой? Многие понимают это буквально и пеняют Александру Сергеевичу, а ведь он тысячу раз прав. Просто-душие, естественность — это не приправы к блюду, а само блюдо! Впрочем, про блюдо зачеркните, а то получается гастрономично. Или ничего? Может, оставим про блюдо? А?

— Давайте оставим, — соглашаюсь я, — тем более что у Пушкина что-то на этот счет, кажется, есть.

— Вы уверены? — серьезно спрашивает Андроников и садится на постели. — Впрочем, у Пушкина все есть.

— И у Гоголя, — говорю я.

— Что у Гоголя? — настораживается Ираклий Луарсабович.

Я вижу, что беседа заинтересовала его.

— Так что у Гоголя?

— Ну такое явно ироническое отношение к напыщенности, ложной мудрости, — довольно косноязычно формулирую я, жалея, что ляпнул про Гоголя. — Помните: «Он изобразил на лице своем мыслящую физиономию». Это — из «Мертвых душ»...

И тут Андроников захохотал. Да так, что в заплаканном дождем окне зазвенели стекла. Из глаз его покатались слезы.

Вошла Вивиана Абелевна. Лицо ее было испуганным.

Андроников хохотал, откинувшись на подушки. Я же не знал, куда деваться и что говорить. А потому встал со стула и молчал.

Наконец он умолк, вытер глаза платком и сказал:

— Вива! У меня уже не болит этот проклятый зуб! Я здоров! Степанов исцелил меня Гоголем. Ну что ты стоишь? Кланяйся ему!

Она покачала головой, сказала с укоризной:

— Ну разве можно так, Ираклий. Ты всех напугал. Алексей Степанович, ну скажите хоть вы ему...

— Да он уже сказал! — перебил ее Андроников. — И ты за нас не беспокойся. Лучше приготовь чай. А мы еще поговорим. Обещаю, что впредь будем вести себя более достойно.

Когда она ушла, Андроников подозвал меня поближе к кровати и, наклонившись, попросил:

— Уступите! А?

Я дурачки улыбнулся, не понимая, о чем это он.

— Уступите мне эту гениальную фразу! Заклинаю!

— Не могу, — ответил я, принимая игру. — Во-первых, это фраза не моя, а во-вторых, не могу ручаться, что процитировал точно. Лучше я вам ее подарю.

— А теперь уж я скажу вам — нет! Слишком дорог подарок. Я вам сейчас за него заплачу... Слушайте. «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блещит эта улица — красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта... Едва только выйдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем...»

Он умолк. В комнате стало так тихо, что было слышно, как за стеной, в мокром вечернем саду шелестит в листьях дождь. Сумерки окутали предметы таинственной дымкой. Неразличимы стали названия книг, лежащих на тумбочке у кровати. Перед моим мысленным взором вольной широкой рекой струился Невский с его каретами, чиновниками, дамами, чьи рукава похожи на воздухоплавательные шары, будто бы несущие эти прелестные существа по воздуху...

Никогда потом не доводилось мне видеть и слышать такого Андроникова, как в тот час, в той комнате. Я благодарил судьбу за то, что она послала мне этот день, этого человека, этот дождь за синим от сумерек окном...

Его молчание было долгим. Потом Андроников сказал:

— Всю жизнь я пишу о Лермонтове и всю жизнь люблю Гоголя...

Я вышел в сад. Дождя уже не было. За близким лесом сипло перекликались встречные электрички. Небо над Переделкином совсем очистилось от туч и еще не погасло. В моих ушах продолжал звучать негромкий голос:

«Но как только сумерки упадут на дома и улицы, и будошник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет».

Я шел к платформе в этом чудесном свете, не различая предметов. И только упершись в кладбищенскую ограду, понял, что сбился с дороги.

Дома, перечитывая записи, сделанные в Переделкине, нашел то, ради чего я туда и ездил. Самыми интересными для него писателями Андроников назвал Викторину Токареву и Бориса Васильева.

АБИТУРИЕНТУ' 92

**Московский ордена Дружбы народов
кооперативный институт
Центросоюза СССР
объявляет прием**

**на годовичные платные ВЕЧЕР-
НИЕ и ЗАОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ. На экономический и това-
роведный факультеты ведется подготовка
по географии, математике, русскому языку
и литературе.**

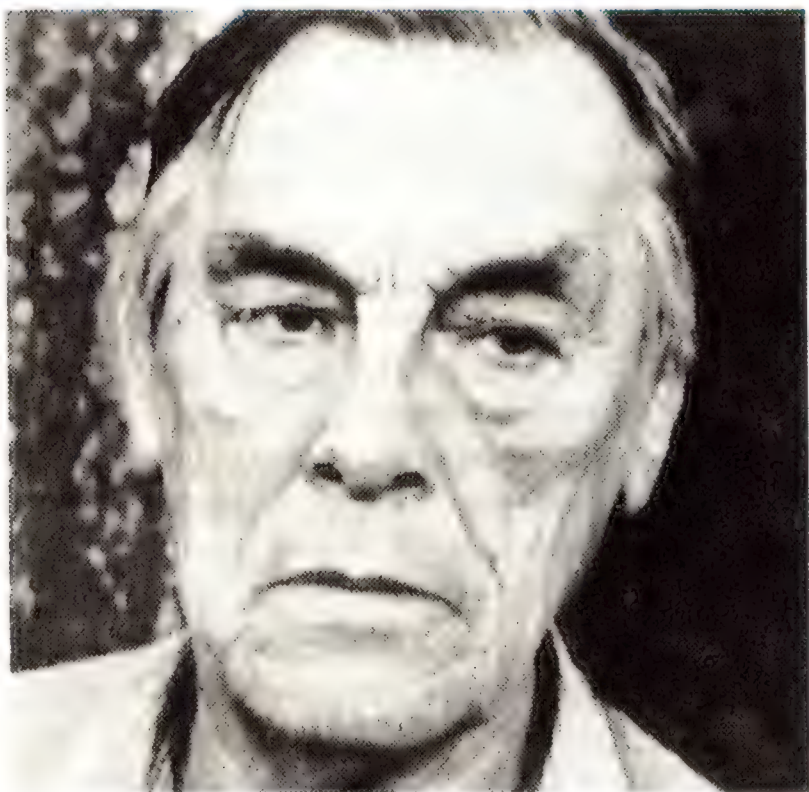
**ВЕЧЕРНИЕ курсы работают
с 1 октября. Стоимость обучения по одно-
му предмету — от 100 до 160 рублей.**

**ЗАОЧНЫЕ — с 1 сентября.
Слушателям высылаются методические
указания, контрольные задания, примеры
конкурсных задач, даются письменные кон-
сультации. 150 рублей (стоимость курса)
пересылаются почтовым переводом по
адресу: 141008, Московская обл., г. Мыти-
щи, отделение Жилсоцбанка, р/с № 460103.**

**Для зачисления необходимо выс-
лать заявление, где указать:
ф. и. о., домашний адрес, факуль-
тет; квитанцию почтового перевода,
справку с места работы (учебы) по
адресу: 141000, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. В. Волошиной, 12,
МКИ (проезд до платформы «Пер-
ловская» с Ярославского вокзала).
Справки по телефону: 582-95-38.**

Евгения ТАРАТУТА

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА...



На фото: А. А. Тарковский в последние годы жизни

Поэт, ты любил эти звезды
Свободных и чистых небес.
Под звездным сияньем ты умер,
Но в песнях о звездах воскрес.
А. Л. Чижевский.

Я люблю стихи Арсения Тарковского. Я любила его самого. С отчаянием я узнала, что 27 мая 1989 года Арсений Александрович скончался. Я знала, что он долго болел. Постоянно возле моей постели лежали сборники его стихов. Иногда днем, устав от всяческих бед, я раскрывала томик на любой странице и, как воздух, как свет небесный, ловила губами его строки. Иногда ночью, проснувшись в тревоге, листала эти страницы.

В субботу двадцать седьмого мая его не стало... А со стихами его я не расstaюсь. Читаю на книгах его ласковые надписи: «...На добрую память о Переделкинских встречах», «...с уважением и преданностью», «...с пожеланием счастья, в надежде добра», «Дорогому моему другу Жене Таратута с нежностью, любовью и преданностью...»

Восемь книжек и пластинка, где он сам читает свои стихи...

Книжки лежат у моей постели. Я читаю и перечитываю. Суестьные дела отвлекают меня, но я снова и снова возвращаюсь к этим дорогим книжкам.

В воскресенье четвертого июня не расstaюсь с книжечкой «От юности до старости», на которой он написал: «Еще ребенком я оплакал эту высокую мне родственную тень. Милой Женечке Таратута. А. Тарковский». Писать ему было трудно, и дату — 28 января 1988 — я поставила сама. А на обложке его портрет... И я читаю, читаю его стихи. И вдруг мне показалось, что я слышу его голос. Он сам читает мне стихи. Так близко, так явственно...

Через несколько дней я рассказала об этом подруге. Она задумалась, что-то посчитала на пальцах:

— Четвертого июня был девятый день его кончины. Он приходил прощаться с тобой... — сказала мне подруга.

Я вспомнила стихи Блока:

И тень моя пройдет перед тобою,
В девятый день и в день сороковой...

На книге, которую я держала в руках, он написал две строчки из своего стихотворения «Анжело Секки», посвященного трагической судьбе известного итальянского астронома Анжело Секки.

Я знала, что с детских лет Арсений Александрович увлекался астрономией. Я тоже с детства увлекалась астрономией. И ту трогательную историю про Анжело Секки, которой посвятил свои стихи Арсений Александрович, я помнила из книги Клейна «Астрономические вечера», вышедшей еще в конце прошлого века. Это была моя любимейшая книга,

и хотя почти все мои книги пропадали не раз, эта — сохранилась!

Я с волнением встречала упоминания об этой книге в мемуарах известного ученого А. Л. Чижевского, в воспоминаниях замечательного художника Н. Кузьмина, которые увлекались этой книгой. С восторгом рассказывал мне о ней академик Иван Михайлович Майский. Оказалось, что «Астрономические вечера» Клейна были любимой книгой и Арсения Александровича!

Конечно, она безнадежно устарела, но историческая ее часть волнует читателя и сейчас. Клейн рассказывает о людях астрономии, и это делает науку о далеких светилах близкой и понятной. Эта книга сильно повлияла на Арсения Александровича, на его мировоззрение, на его творчество и как-то сблизила нас...

Звезды, трава и птицы — то, что чаще всего я встречала в его стихах...

Мимо всей вселенной
Я пойду, смиренный...
...За благословенной
Утренней звездой.

На многих страницах я находила звездное кредо поэта:

...За то, что в родимую душную землю сойду,
В траву перельюсь,
За то, что мой путь — от земли до высокой звезды,
Спасибо скажу...

И еще:

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала, как флейта, звучать...
Но зато не унижил ни близких, ни трав...
Надо мною стояло бездонное небо.
Звезды падали мне на рукав.

И еще:

...А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды...

...И молодости клясть не буду
За росчерк звезд над головой,
За глупое пристрастие к чуду
И за карман дырявый свой...

...Все на земле живет порукой круговой:
Созвездье, и земля, и человек, и птица,
А кто служил добру, летит вниз головой
В их омут царственный и смерти не боится.
Он выплывает еще и сразу, как пловец,
С такою влагою навеки породнится,
Что он и сам сказать не сможет, наконец,
Звезда он, иль земля, иль человек, иль птица.

Есть у поэта стихи, целиком посвященные звездам. Название одного стихотворения состоит из названий любимых созвездий: «Телец, Орион, Большой Пес», одно называется просто «Звездный каталог».

Звезды живут и в других его стихах. И там, где он повествует о художнике Ван Гоге или о музыканте Комитасе...

И просто, и точно утверждает поэт:

Струнам счет ведут на лире
Наши древние права,
И всего дороже в мире
Птицы, звезды и трава.

Познакомились мы с Тарковским в начале шестидесятых годов, в Доме творчества в Переделкине. В те баснословные года Дом творчества был не гостиницей, а подлинным Домом Творчества. Еженедельно, на втором этаже главного корпуса собирались все его обитатели, приходили жители ближних дач. Читали стихи, новые рассказы, новые переводы. Помню, читал свои прекрасные рассказы и стихи Александр Яшин, Елена Ржевская рассказывала о войне, о Берлине в мае 1945 года, Павел Нилин рассказывал об академике Бурденко, Григорий Александрович Медынский рассказывал о закрытом суде над убийцей «из Мосгаза».

Рукописи обсуждали, спорили.

Читал свои стихи и Арсений Александрович Тарковский. Ему уже шел шестой десяток, но только что вышел первый сборник его стихов...

Тогда же я узнала о скорбной судьбе книги его стихов,

которая должна была выйти в 1946 году в издательстве «Советский писатель».

Книга уже была набрана, сверстана, но в это время состоялось Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Решили книгу заново отрецензировать. Прочитав верстку книги, Е. Ф. Книпович написала заключение о нецелесообразности ее издания...

Верстка рассыпанной книги осталась у поэта и у неутомимого собирателя русской поэзии XX века — Анатолия Тарасенкова.

А первая книга Тарковского вышла... в 1962 году...

Протез для ампутированной на фронте ноги был сделан хорошо, Арсений Александрович гулял по окрестным лугам и лесам, работал, по вечерам читал стихи, рассказывал всякие истории, любил смеяться, в хорошую погоду разглядывал небо в подзорную трубу, а в плохую погоду разбирал свою коллекцию почтовых марок.

Отец Арсения Александровича был народовольцем, ссылку отбывал в Восточной Сибири, в селе Тунка. В этом селе было много ссыльных польских революционеров. Я знала, что там был в ссылке Михаил Войнич, будущий муж автора «Овода». Были там и братья Пилсудские — Бронислав, по делу Александра Ульянова, и Иосиф.

После революции, когда Александр Карлович Тарковский вернулся на родину, в Елисаветград, однажды он получил из Варшавы посылку и письмо. Правитель Польши Иосиф Пилсудский, рассказывал Арсений Александрович, вспомнил о своем товарище по ссылке и приглашал его к себе, обещая всякие блага...

Письмо и посылка, конечно, были задержаны, как вспоминал Арсений Александрович, в Первом отделе Армии, куда незамедлительно вызвали отца, и все кончилось бы весьма трагически, если бы Александр Карлович не предъявил письма Ленина, адресованного ему. Ленин расспрашивал его о деятельности «Народной Воли» последних лет. Это письмо Ленина, рассказывал Арсений Александрович, спасло отца жизнь...

Любил Арсений Александрович рассказывать разные любопытные истории о своем детстве времен гражданской войны, когда власть в городе несколько раз переходила от красных к белым и от белых к красным. Вспоминал, как он был доставлен к легендарной Марусе Никифоровой, занявшей город, и как она подарила ему длинный леденец, обвитый бумажной лентой...

Потом мы постоянно встречались в Переделкине. К сожалению, из многих рассказов Арсения Александровича и Татьяны Алексеевны я запомнила далеко не все...

Рассказывала Татьяна Алексеевна о знакомстве мужа с Ахматовой. Анна Андреевна читала сборник сочинений Кемине в переводе Тарковского. Ей переводы очень понравились, и она просила друзей в один из приездов из Ленинграда познакомить ее с Тарковским. Встреча эта состоялась на квартире у поэта Георгия Шенгели, где остановилась Ахматова.

Познакомились, беседовали. Анна Андреевна сидела в кресле. Арсений Александрович вертел в руках маленькую игрушечную шпагу.

Ахматова сказала:

— Кажется, мне что-то угрожает...

Арсений Александрович ответил:

— Я же не Дантес!

Ахматова смутилась и сказала:

— Ну, даже и не знаю, что и ответить. Я так растеряна... Такой комплимент...

Арсений Александрович написал целый цикл стихов, посвященный Ахматовой, а последний раз, когда Татьяна Алексеевна рассказывала мне что-то об Ахматовой, он горько заплакал...

Помню его рассказ о Мариэтте Шагинян, которая, узнав, что Тарковские едут в Калининград, бывший Кенигсберг, попросила его привезти ей камень с могилы Иммануила Канта. Он взял такой камень и привез его в Москву. Случилось так, что Шагинян опубликовала в это время хвалебную статью о писателе П., которого, надо сказать, Тарковский и за писателя не считал.

При встрече с Мариэттой Сергеевной на ее вопрос о камне Арсений Александрович ответил:

— Этот камень я привез, но хочу подарить вам камень с могилы П...

Запомнился мне и такой эпизод.

Однажды в Грузии, где Тарковский был как делегат какого-то совещания, хозяйка дома, где он жил, пригласила его в свой

сад на праздник. Среди ее гостей были официанты и горничные близлежащего отеля. Праздник был очень веселый. Возвращаясь на заседание, Арсений Александрович встретил одного своего знакомого, видного писателя Т., и, полный приятных впечатлений, рассказал ему об этом празднике.

Т. возмущенно его перебил и сказал:

— Зачем ты туда ходил? Писатель не может себя равнять с лакеями и простым народом. Ты не должен был соглашаться на такую встречу.

— После этих слов мы теперь будем на «вы», — ответил Тарковский.

Здоровье Арсения Александровича становилось все хуже и хуже. Протез причинял ему бесконечные страдания. Стала отказывать память. Татьяна Алексеевна тоже часто болела. Они поселились в Доме ветеранов кино, на окраине Москвы, где, кроме постоянных жителей, бывали и приезжающие по путевкам как бы в Дом творчества. Я несколько раз жила в этом уютном и комфортабельном доме. Тарковские хлопотали, чтобы их приняли туда на постоянное жительство. Ведь Дома ветеранов литературы у Союза писателей нет.

После кончины Андрея в Париже Арсений Александрович совсем ослабел. Союз кинематографистов решил принять его с женой в свой Дом ветеранов.

Когда я получала путевки в этот Дом, то почти постоянно была с Арсением Александровичем, гуляла с ним. Он многое забывал, даже меня называл разными именами, но, когда мы сидели и читали друг другу стихи, он помнил их лучше меня. Читал на память Тютчева, Ахматову, Марию Петровых, Цветаеву и много других...

Я ловила его улыбку, как драгоценности. Руки у него дрожали, но в них было прежнее изящество.

К ним часто приходили друзья, приезжали из разных стран, присылали книги, приезжали ленинградцы. Все сетовали на малое количество его книг.

Как-то Татьяна Алексеевна дала мне прочитать страничку, перепечатанную из старой любопытной книги под названием «Замечательные чудачки и оригиналы», написанной М. Пыляевым и изданной Сувориным в 1898 году.

Я переписала себе эту страничку:

«В николаевское время на улицах столицы встречалось много азиатских народностей, поражавших петербуржцев своими костюмами. Так, посреди таких выделялись хан Нахичеванский, хан Карабагский и шамхал Тарковский... Что же касается до шамхала Тарковского, то он был генерал-лейтенант российской службы, видом он был очень толст и возраста весьма почтенного. Он был типичный образец полудикого кавказского властелина. Его сопровождала всегда многочисленная толпа слуг, которыми он распоряжался по-своему, отрезая уши и носы за небольшие проступки. Благодаря таким расправам он умер в плотно закрытой карете в сильную июньскую жару... Нелюбившие его служители устроили ему такую кончину от апоплексии по дороге во время его следования в Дагестан».

Арсений Александрович рассказывал, что, когда он был в Дагестане, местные жители вспоминали здешних князей Тарковских и считали их предками поэта.

Арсений Александрович любил радоваться и любил радовать других, хотя тяжелое ранение на фронте нередко гасило радости. Последнее время он уже не мог обходиться без костылей, часто болела голова, но он терпел и старался не доставлять забот жене.

Я любила Арсения Александровича. Я люблю стихи Тарковского и повторяю про себя его «Звездный каталог». Он справедливо говорил о себе:

Я-то знаю, как зовут звезду,
Я и телефон ее найду...

А в стихотворении «Телец, Орион, Большой Пес» он говорил:

Я терпелив,

Я подождать могу,
Пока взойдет за жертвенным Тельцом
Немыслимое чудо Ориона...
И что бы люди там ни говорили,
Я доживу, переберу позвездно,
Пересчитаю их по каталогу,
Перечитаю их по книге ночи.

Я перечитываю его стихи и пересчитываю звезды чудесной поэзии.



Наш обозреватель доктор филологических наук Н. А. Анастасьев знакомит читателей с мастерами, определившими развитие всей западной литературы XX века.

В наше смутное, вывихнутое время полно всяческих парадоксов, но редко сталкиваешься с приятными. Тем не менее — бывают. В издательском мире слышен стон, отовсюду доносятся жалобы на дефицит бумаги и изношенность полиграфии, сокращаются планы. При этом книг выходит много, что же касается зарубежной литературы, о которой и пойдет далее речь, наблюдается даже нечто вроде издательского бума.

Вчера нас пугали Кафкой, как малых детей пугают Бармалеем.

Вчера нас всячески оберегали от встречи с набоковской «Лолитой» или «Любовником леди Чэттерли» Д. Х. Лоуренса, опасаясь, надо полагать, потревожить наше невинное по части секса сознание.

А пуще всего блюли, конечно, невинность идеологическую.

Сегодня все преграды с грохотом рухнули, все заложники вышли на волю, и никаких больше запретов нет, остались только такие понятия, как вкус, интеллигентность, культура. Со всем этим дело, правда, обстоит не лучшим образом. Книжный рынок нередко превращается в толкучку, а издатели — в ярмарочных зазывал. Суeta какая-то вокруг — все пытаются обогнать друг друга, перехватывая громкие имена и названия, печатая в разных местах одни и те же книги одних и тех же авторов. Зачем? Право, в мире литературы остается еще много неизведанного, и работы всем хватит.

Но это, я верю, пройдет. Издавать научимся, суетиться перестанем, поймем, что книжный рынок действует несколько отлично от рынка продовольственного или товарного.

А пока порадуемся тому, что обретенная свобода дала плоды и мы все увереннее входим в мировое культурное пространство, так что нет уж нужды, как прежде, хвастать миллионными тиражами Марка Твена.

Но радость оказывается все-таки сильно омраченной.

На протяжении последних трех-четырех лет опубликованы вещи поистине эпохальные, то есть книги-вехи в литературе нынешнего столетия: «Улисс» Джеймса Джойса, «Тошнота» Жана Поля Сартра, «Золотой храм» Юкио Мисимы, «Тропик Рака» Генри Миллера, «Стыд» Салмана Рушди, «Смерть Вергилия» Германа Броха. Ну и, конечно, упомянутые уже Кафка и Набоков.

И что же?

Не хочу сказать, что книг этих не заметили.

Заметили. Прочитали. Откликнулись.

Но совершенно очевидно, что потрясения умов и душ они не произвели, не стали таким событием в жизни, каким — по уровню своему, по месту, занятому в литературе, — могли бы, должны были стать. Да что там говорить! Даже «Имя Розы» Умберто Эко, многолетний мировой бестселлер, остался где-то на краю внимания.

Отчего так произошло?

По-моему, есть три причины.

Во-первых, просто стали, как ни обидно в этом признаваться, меньше читать. Я имею в виду, конечно, художественную литературу. Ее явно потеснила журнальная и газетная публицистика.

Во-вторых, если уж и читают романы и повести, то по преимуществу те, что непосредственно связаны с нашей собственной жизнью, с нашей собственной историей. Потому в кругу зарубежных книг, написанных давно, но пришедших лишь в эти годы, наиболее живой отклик вызвали «1984» Дж. Оруэлла и «Слепая тьма» А. Кестлера. В них, по существу, не увидели литературы — скорее взгляделись как в неложное отражение драм и преступлений, случившихся на этой земле, в этой стране.

Все это, повторяю, огорчительно, однако понять — как и недостаток цивилизованности в книгоиздательском деле — можно. Слишком все накалилось, беда стучит в каждый дом, и в такой духовной ситуации газетная строка, митинг, стенографический отчет всегда выиграют соревнование с литературой, тем более с зарубежной.

Но есть и еще одна причина, совершенно не связанная ни с пустыми прилавками, ни с Чернобылем, ни с волнениями вокруг Союзного договора. То есть дело не в конъюнктуре, а в самой литературе.

Мне кажется, что Джойса и Сартра не прочитали по-настоящему, иначе говоря — не пережили, не потому лишь, что момент для знакомства получился не самый удачный, не потому, грубо говоря, что сейчас не до умствований Стивена Дедалуса («Улисс») и не до душевно-физиологических спазмов Антуана Рокантена («Тошнота»).

Дело в том, что это другая литература, она так же относится к литературе прежней, классической, как физика Эйнштейна к физике Ньютона или философия Ницше к философии Канта.

Не о темах или конфликтах идет речь, в конце концов настоящая литература всех времен занята, как говорил Фолкнер, только одним: тяжбою человеческого сердца с самим собой. И, разумеется, не о школах, хоть было их в XX веке, как никогда, много (футуризм, сюрреализм, экспрессионизм и т. д.).

Литература XX века — это прежде всего новая оптика, новый художественный язык и соответственно иной тип взаимоотношений между читателем и автором, читателем и текстом.

Прустом, Гамсуном, Джойсом, Томасом Манном, Гессе, Набоковым и другими не зачитаешься, над таким вымыслом слезами не обольешься.

Ибо разыгрываются, как правило, не драмы людей, а драмы идей. А кто, по словам Камю, шел на эшафот во имя онтологического аргумента?

Ибо из рассказа о приключениях литература превращается в приключения самого письма (так говорил Жак Рикарду, один из видных французских «новых романистов» — была и такая школа в 60 — 70-е годы).

Мы привыкли к более или менее последовательному развитию сюжета, выдержанному композиционному строю, более или менее прозрачной стилистике, более или менее ясной авторской оценке происходящего.

И вот на наших глазах это стройное здание литературы, над которым трудились веками и даже тысячелетиями, закачалось.

Любой без труда набросает (хотя бы в общих чертах) портрет, скажем, Эжена Растиньяка или Пьера Безухова. Каждый с удовольствием вспомнит тургеневские пейзажи. Вполне можно изложить сюжет «Робинзона Крузо», «Красного и черного», «Мертвых душ».

Но попробуйте описать Свана (М. Пруст «В поисках утраченного времени»). Или миссис Дэллоуэй из одноименного романа В. Вулф? Все плывет, все размыто, ни на момент не попадают лица в четкий фокус.

Кто восстановит сюжетную нить «Улисса»?

Почему Кафка не дает своим героям полного имени?

Хемингуэй всю жизнь писал о войне, но где у него война изображается так, как изображали ее Стендаль и Толстой?

Остались только фрагменты, детали, ощущения, правда, с замечательной точностью написанные.

Вот несколько слов из давней рецензии Сартра на роман Фолкнера «Шум и ярость»: «Когда читаешь «Шум и ярость», прежде всего поражает странность повествования. Почему Фолкнер разломал на куски время рассказываемой им истории и перемешал их? Почему первое окно, которое открывается в мир, — сознание идиота? У читателя возникает искушение найти ориентиры и восстановить хронологию: «У Джейсона и Кэролайн Компсон было три сына и одна дочь. Дочь, Кэдди, отдалась Дэлтону Эймсу и забеременела от него; вынужденная выйти замуж...» Тут читатель останавливается, замечая, что он рассказывает совсем другую историю. Фолкнер отнюдь не задумал сначала упорядочить интригу, чтобы потом перетасовать ее на части, словно колоду карт: он рассказал то, что хотел рассказать, единственно возможным для себя способом».

Действительно, другую. «У Джейсона и Кэролайн Компсон было три сына и дочь» — так начал бы и пошел далее разматывать историю любой сочинитель традиционной выучки. А «модернисты» пишут иначе — хронология у них вызывающе сбита, фраза обрывается посередине, повествовательная речь темна и невнятна. Лица героев не попадают в фокус, сказали мы. Добро бы хоть так — ведь иногда они вовсе исчезают. «Я не существую. Это хорошо известный факт», — говорит персонаж одного из романов французского писателя, ирландца по происхождению, Сэмюэла Беккета. А герои самой знаменитой из его пьес пребывают в ожидании несуществующего Годю. В романе Фолкнера «Авессалом, Авессалом!» рассказывается история человека по имени Сатпен, только главного героя увидеть так и не удастся: фигура складывается из мнений и версий, часто друг друга исключаящих.

«Романист знает все», — говорил Теккерей, и так оно и было, автор мнений своих не скрывал и вполне заслуживал доверия. Даже Достоевский, при всем своем полифонизме, не избегал определенности в оценках. А читая современные книги, все время ловишь себя на мысли, что автор, наоборот, ничего не знает или, во всяком случае, постоянно хочет отойти в сторону, предоставляя высказываться другим. Фолкнер, используя метафору своего соотечественника поэта Уоллеса Стивенса, назвал такую повествовательную технику «тринадцатую точками зрения черного дрозда»: «Истина, я думаю, обнаруживается, когда читатель, уловив все эти тринадцать способов видения черного дрозда, выработает еще одно, собственное, четырнадцатое представление об этом дрозде, которое и есть истина».

Иными словами, с нашей стороны предполагается особенная активность.

Читать новую литературу нелегко, точно так же, как нелегко после Моцарта слушать Шнитке, а после Рафаэля смотреть на полотна Пикассо.

Конечно, всегда можно просто захлопнуть книгу, примерно выругав автора за то, что не умеет по-человечески писать. Так, между прочим, поступали люди далеко не самые глупые. В очерке «Я бывалый газетчик» Синклер Льюис вспоминает, как читал Генри Джеймса Джек Лондон: «Взяв у кого-то из соседей «Крылья голубки» и стоя у окна, великий Мастер, плотный, приземистый, в простой ненакрашенной рубашке и черном галстуке, с непрерывно возрастающим изумлением читал вслух легкие, сверкающие строки Джеймса. Потом отшвырнул книгу и взвыл: «Да кто же мне скажет в конце концов, что это за белиберда?»

Надо признать, однако же, что в целом литература XX века пошла не за Лондоном, а за Джеймсом. Дело тут не в том, разумеется, что один был более одарен, другой — менее. Оба редкостно талантливы. Просто автор «Послов» и других романов (не переведенных еще, кстати, на русский) с немалой пронизательностью уловил надвигающиеся духовные катастрофы нашего века.

В этом суть дела.

Язык новой литературы не обязательно принимать, то есть он может не нравиться, но его надо понять, иначе ускользнут важнейшие грани пережитого.

В ближайших номерах «Юности» я намерен предложить читателю несколько писательских портретов. Они далеки от полноты, лишь самыми общими штрихами намечены. Но пунктир имеет и некоторые преимущества: уходя от полноты, можно при удаче осветить главное — путь литературы, ее внутренний смысл. Выбор отчасти субъективен, но, надеюсь, не вполне произволен. Ибо в творчестве Джойса, Фолкнера, Набокова и некоторых других писателей этот смысл, по моему убеждению, как раз и осуществился.



Спорт

А ЕСЛИ ВПЛАВЬ...

То — вслед за незабвенным «полпредом стиха» — бросали яростный вызов «штатишкам» и посылали доллар «к чертям свинячьим», теперь же усердствуем в зависти. Слетать в Америку — как побывать в раю. Билеты в этот рай, однако, отчаянно вздорожали, как, впрочем, применительно к рублю и злополучный доллар.

А если вплавь...

Без комплексов и какой-либо корысти. На равных — приплыла же к нам американка Линн Кокс. Так почему бы не совершить, как принято у добрых друзей, ответный визит? Ведь не более шести километров отделяют в Беринговом проливе наш остров Ратманова от американского острова Малый Диомид. Плыть, правда, предстоит в воде, температура которой даже в разгар лета не превышает семи градусов. Но у нас есть закаленные люди, да и прежде, уверен, были — прежде, однако, не разглашалось, что Америка так близка — всего в шести километрах.

И в последних числах июля или в начале августа — когда выпадет тихий, безветренный день — такой заплыв намечается. Он украсит праздник «Русская Америка», который будет посвящен 250-летию открытия Аляски Витусом Берингом и Алексеем Чириковым.

Всесоюзный клуб закалывания и зимнего плавания подготовил для этого заплыва целую команду, в которую вошли самые титулованные многоопытные «моржи». Но главная ставка, представьте, делается на 20-летию Лены Гусеву. В отличие от знаменитой — почти квадратной — американки Линн Кокс, которую не проберет никакой холод, Лена высока и стройна. И уже третий год, едва появившись в кругу «моржей», легко побеждает на марафонских соревнованиях всех мужчин. Так, поздней осенью на Иссык-Куле она проплыла, например, шесть километров за 2 часа 40 минут. «Вода Иссык-Куля, — рассказывает, — чуть солоноватая, как минеральная. Глотнешь, и сил прибавляется».

Говорит, что увлеклась зимним плаванием, стремясь уйти от повседневности: «И оказалась среди людей, которые занимаются тем, чем обычному человеку вроде бы заниматься не следует». Надеюсь, что наши уважаемые «моржи», которые неустанно пропагандируют зимнее плавание как отменнейший стимулятор жизненной активности, долголетия, избавления от простуд, не огорчатся, что, представляя Лену Гусеву нашему читателю, я не буду касаться целебности холода.

Лена искала себя во многих видах спорта и даже в институт физкультуры поступила, но после первого курса ушла. Поработала два года крановщицей у себя в Березниках на титано-магнелиевом комбинате, где работают и ее родители, и тоже ушла. Теперь уборщица на лыжной базе. Зарплата скромная, зато остается время, чтобы заняться... Я не вправе, впрочем, злоупотреблять доверием Лены. Скажу лишь, что она готовится поступать в МГУ — стать психологом: «Знаю пока лишь себя. И никого больше. Да и себя-то знаю ли?» Твердо знает лишь, что страшится стать роботом и смириться с этим — жить, как все. Она в ладу с собой, когда плыть — даже в очень холодной воде — или идет по лесной тропе. Говорит, что вокруг так много злости скопилось не только потому, что все измучены очередями, но и потому, что человек сегодня все более отдаляется от природы.

Когда вы раскроете этот номер журнала, быть может, Лена вместе со своими друзьями уже приплывет в Америку.

Ю. ЗЕРЧАНИНОВ

Фото Леонида Шимоновича



Александр ХОРТ

ЗОНА ВЕЧНОЙ ТЕПЛОТЫ

Рисунок Виктора Коваля

Это произошло за несколько дней до конца XXIII века. В конференц-холле Блямсбурга — просторном помещении, отделанном искусственной древесиной и натуральной платиной, — собрались сотни активистов города. Здесь проходил очередной ежеквартальный ареопаг, на котором обсуждались животрепещущие проблемы блямсбуржцев. Касались любых материй, начиная от установления цен на зубочистки и кончая выбором оптимальных размеров новых мартеновских печей.

Вдруг, прервав монотонные разговоры, председатель ареопага сообщил, что экстренное слово просит изобретатель седьмой категории Эдинос. Присутствующие разом навестили уши — раньше этот молодой шестидесятилетний человек сидел набрав в рот воды, все думал о чем-то. А чем меньше говорит активист, тем больше толкового от него можно услышать.

— Сograждане мои! — сказал Эдинос. — У меня имеется для вас прият-



ное сообщение — я изобрел регулятор погоды... — Его прервали фонограммы с записью шумных, одобрительных аплодисментов. Когда установилась тишина, он продолжил: — Испытания регулятора в разных климатических зонах прошли успешно. Теперь мы с вами в любой момент можем устанавливать хорошую погоду. Скоро начинается январь. Давайте обсудим, какую погоду сделаем в городе. Наши возможности тут поистине безграничны.

Все желающие выступить в прениях тут же сообщили об этом через электронный крикограф на табло президиума. Первым в списке оказалась фамилия поэта Ярея, который опередил ближайшего конкурента Пультора на 0,007 секунды. Он и получил слово.

— Это прекрасно! Что может быть лучше! Мы по утрам, поднимаясь с родимых постелей, знаем заранее, что нас за окном ожидает — именно то, что мы с вечера видеть хотели. Выюги привычны всегда в январе и морозы, кутаться в шубы из норки приходится людям озябшим. Тщетно буксуют электромобили всех марок среди наметенных за время ночное сугробов. Нет овощей в магазинах просторных и фруктов. Холод такой, что хозяин приличный обычно вряд ли собаке своей выйти из дома позволит... Это уже, землячки, нам порядком обрыдло. Я предлагаю для города нечто иное — пусть в январе мы увидим чистейшее небо, жаркое солнце и ласковый ветер почуем. Пусть расцветают тюльпаны на улицах наших широких. Пусть все прилавки ломятся от помидоров и слив, только что снятых с кустов и деревьев плодовых. Пусть пред глазами порхают девушки в блузках воздушных. Пусть выходные январские дни мы проведем, как и прежде, на лыжах, но только — на водных.

Эдинос внимал служителю муз и едва заметными кивками головы выражал согласие с его словами. Именно мечта о вечном лете маячила перед ним, когда он корпел над регулятором погоды.

Следующее слово предоставили старейшине блямсбургских модельеров Пультору. Все дружно повернули головы направо. Поскольку зал очень большой, каждый выступал со своего места, чтобы не тратить драгоценное время на транспортировку к трибуне.

— Лично я горой стою за то, чтобы в январе была теплая солнечная погода без осадков. Однако нам необходимо учесть и тот непреложный факт, что по установившейся традиции подавляющее большинство наших земляков имеет хорошую зимнюю одежду. Раз есть одежда — грех ее не носить. Иначе кто будет покупать новые, постоянно разрабатываемые модели сезона?! Поэтому лично я против потепления в январе.

Затем с речью к собравшимся обратился начальник благоустройства города. Он, в частности, сказал:

— К идее теплого января я отношусь неоднозначно. В принципе она мне по душе. И в то же время вряд ли для кого-нибудь из присутствующих

является секретом, что зимой улицы Блямсбурга завалены снегом, из-за чего буксуют тысячи электромобилей. Подобное обстоятельство очень способствует техническому прогрессу. Об аналогичном случае писал живший четыре века назад способный английский ученый Дарвин — происхождение видов путем естественного, я подчеркиваю это слово, отбора. Те марки электромобилей, с которыми зимой больше мороки, вырождаются — сперва их перестают покупать, затем — производить. А проверить функционирование по-настоящему можно лишь в естественных условиях — зимой. Ее нам и нужно оставить.

Председатель даже удивился:

— Зачем же такие снегоходы, если у нас всегда будет тепло?!

— На экспорт, — лапидарно объяснил хозяин городских трасс.

Социолог Кепурес, сто сорок пятый микрофон, говоря о проблематике своей научной деятельности, заметил:

— Практически, можно считать, сбылись мечты наших дедов и прадедов о зоне вечной теплоты. Однако у социологического института на начало будущего года запланирована животрепещущая тема о сторонниках и противниках домашних животных. Для этого нам необходимо установить процент хозяев, которые в плохую погоду выпустят собаку из дома. Сами понимаете, при жарких погодных условиях...

Чем дольше слушал Эдинос, тем бледнее и мрачнее становилось его лицо. Вернувшись после ареопага домой, он сразу прошел на задний двор. Там стоял припорошенный снежком регулятор погоды — ракетообразное сооружение с массой циферблатов, накладных панелей, клавишей и ручкояткой. Подняв с земли ванадиевую трубу размером с оглоблю, изобретатель начал методично дубасить ею новый аппарат. Сыпалось стекло, со свистом разлетались в стороны куски эбонита, лопались провода и цепи...

На шум прибежали жена и сын Эдиноса. Начали его утихомиривать. Он — ни в какую. Наконец, сын с большим трудом отобрал трубу.

— Не отчаивайся. Сегодня отказались, завтра согласятся. Ты станешь популярным, как Микки Маус, — успокаивала его жена.

— Меня обвиняют в подрыве основ снегопадения, небрежении историческим прошлым вечной мерзлоты и забвении заветов предков. Такие ярлыки...

— Завидуют, — объяснила жена. — Ты просто опередил свое время. Ты — продукт будущего. Когда-нибудь этот регулятор погоды обязательно пригодится людям. Им начнут пользоваться...

Эдинос вздохнул:

— Это-то меня и беспокоит. Последним выступал один погонщик оленей. Оказывается, ему, как и другим погонщикам, для работы куда как удобнее холода. Поэтому группа кадровых оленеводов внесла на рассмотрение проект о том, чтобы установить зимнюю погоду в июле.

И он опять попытался выхватить у сына трубу.

Игорь ИРТЕНЬЕВ

* * *

Отпусти меня, тятя, на волю,
Не держи ты меня под замком,
По весеннему минному полю
Хорошо побродить босиком.

Ветерок обдувает мне плечи,
Тихо дремлет загадочный лес...
Чу! Взорвалась АЭС недалеко,
Не беда, проживем без АЭС.

Гулко ухает высь из болота,
За оврагом строчит пулемет,
Кто-то режет в потемках кого-то,
Всей округе заснуть не дает.

Страшно девице в поле гуляти,
Вся дрожу ни жива ни мертва,
Привяжи меня, тятя, к кровати
Да потуже стяни рукава!

* * *

Я шел к Смоленской по Арбату,
По стороне его по правой
И вдруг увидел там Булата,
Он оказался Окуджавой.

Хотя он выглядел нестаро,
Была в глазах его усталость,
Была в руках его гитара,
Что мне излишним показалось.

Акын арбатского асфальта
Шел в направлении заката,
На мостовой крутили сальто
Два полупьяных акробата.

Долговолосые пинты
Слагали платные сонеты,
В одеждах диких кришнаиты
Конец предсказывали света,

И женщины, чей род занятий
Не оставлял сомнений тени,
Раскрыв бесстыдные объятия,
Сулили гражданам забвенье.

— Ужель о том звенели струны
Моей подруги либеральной?!—
Воскликнул скальд, мечя перуны
В картины адрес аморальной.

Был смех толпы ему ответом,
Ему, обласканному небом.
...Я был, товарищи, при этом,
Но лучше б я при этом не был.

НАСЧЕТ ГЛАЗКОВА

Кругом кричат: «Глазков! Глазкова!..
Он гениальный был поэт!»
А что в нем, собственно, такого?
А ничего такого нет.
За исключением того,
Что лучше не было его,
Верней, у Бога под рукой
Всего один он был такой.

* * *

Вчера явился мне во сне мужик,
Его был странен и причудлив лик —
Глаза огнем горели, а из уст
Торчал сухой смородиновый куст.

Внезапный ужас члены мне сковал,
Видением сраженный наповал,
Не в силах удержать в коленях

дрошь,

Я прошептал: «Ну ты, мужик, даешь.

Видал я разных мужиков во сне,
Порой и адекватных не вполне,
Но ни один из них, клянусь крестом,
Не посещал меня в устах с кустом».

Мужик воскликнул: «Что за ерунда!
Попал я, вероятно, не туда.
Вы плюньте через левое плечо,
А я приспосю кому-нибудь еще».

И он исчез, как был,

в устах с кустом,

А я лежал один во сне пустом,
Пока забвенья черная река
Не поглотила на фиг мужика.

* * *

Кончался век, двадцатый век,
Мело, мело во все пределы...
Что характерно, падал снег,
Причем, что интересно, белый.

Среди заснеженных равнин,
Как клякса на листе тетради,
Чернел какой-то гражданин,
Включенный в текст лишь
рифмы ради.

Он был беспомощен и мал
На фоне мощного пейзажа,
Как он на фон его попал,
Я сам не представляю даже.

Простой советский имярек,
Каких в стране у нас немало...
Увы, забвению обреч
Мой мозг его инициалы.

Лишенный плоти аноним,
Больной фантазии причуда,
Диктатор авторским гоим,
Брел в никуда из ниоткуда.

Вот так и мы — бредем, бредем,
А после раз — и умираем,
Ловя бесстрастный окоем
Сознания гаснущего краем,

И тот, кто вознесен над всеми
И отмеряет наше время,
На этом месте ставит крест
И за другой садится текст.

* * *

Как на площади Таганской,
Возле станции метро,
Ветеран войны афганской
Мне в живот вогнал перо.

Захлестнула, вероятно,
Парня жгучая тоска,
Мне тоска его понятна
И печаль его близка.

Жалко бедного афганца —
Пропадет за ерунду,
И себя мне жаль, поганца,
К превеликому стыду.

СЛУЧАЙ НА ВОДЕ

«Мощным взмахом поднимает...»
(Из песни)

Степан Тимофеевич Разин,
Известный донской атаман,
Немало творил безобразий,
Особенно будучи пьян.

Однажды с крутой похмелюги
С ватагой он плыл по реке
На белом ушкунничьем струге,
С персидской княжностью в руке.

Страшась атаманского гнева,
От ужаса бледная вся,
Дрожала несчастная дева,
Монистами робко трясся.

Плескалась медовая брага
Во фряжских черненых ковшах,
Лежала вповалку ватага,
Густым перегаром дыша.

Макая усы в «ерофеич»,
Расшитый измявши кафтан,
Все слабже Степан Тимофеич
Фиксировал девичий стан.

Со старта рванувшись столь рьяно,
Сгорел на дистанции он,
И вот уже очи Степана
Смежает эпический сон.

Почувяв нехватку контроля,
Разжалась злодейка-рука,
Печальна невольницы доля,
Не быть ей женой казака.

Напрасно вопила бедняга,
В надежде внимание привлечь,
С оттягом храпела ватага
В ответ на шиитскую речь.

Агония длилась недолго,
Не больше минуты одной...
И воды холодные Волги
Сомкнулись над бывшей княжностью.

ПРОГУЛКА НА ДВА ОБОРОТА

«Я не был никогда в Австралии,
где молоко дают бесплатно...»
(Ю. Арабов «Прогулка наобо-
рот»)

Я не был никогда в Монголии,
Где от кумыса нету спасу,
Где круглый год цветут магнолии
Согласно сообщениям ТАССа.

Там что ни житель, то монгол,
А что ни лошадь, то Пржевальского,
Там все играют в халхинбол,
Но из ключа не пьют кастальского.

Я не был никогда в Венеции —
Шамбале кинематографин,
Где драматургов нету секции,
Что в переводе значит — мафини.

Там время сжато, как пропан,
И вечность кажется минутой,
Там чуть не помер Томас Манн,
А может, Генрих — я их путаю.

Я не бывал в стране Муравин,
Где ям не меньше, чем ухабов.
Я также не бывал в Аравии,
Ну что ж, тем хуже для арабов.

Но я бывал в Голопобоево,
Чьи жители клянут Арабова,
Раскаты дикой лиры коего
Лишают их рассудка слабого.

Там низок уровень культуры
И редко слышен детский смех...
Ты лучше их не трогай, Юра.
Убогих, Юра, трогать грех.

Альбом. Лист 4

ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ

Не говорите мне, что в нашей стране человеку восторженному трудно дышится. Что воздух сурового прагматизма и шелест подсчитываемых банкнот рассеивает все романтически-сентиментальные порывы. Нет, поскитайтесь по нашей провинции, взгляните окрест себя — и вы почувствуете, что живете в стране неисправимых романтиков. Романтизм занесло к нам с тлетворного Запада на исходе XVIII столетия. В помещичьих усадьбах стали воздвигать навевавшие элегически-возвышенные чувства — руины. Прошло двести лет, и эти архитектурные ростки расцвели у нас так пышно, как и не снилось романтикам века Просвещения.

Поезжайте из Москвы на юго-запад — и в сорока верстах вы обнаружите Петровское-Алабино, усадьбу мецената екатерининской эпохи Н. А. Демидова, заброшенную в лесную Россию итальянскую виллу в палладианском стиле, выстроенную самим М. Ф. Казаковым. Когда-то встречали здесь гостей величественные колоннады, статуя Екатерины II на куполе. После революции усадьба, конечно, осталась без хозяев, в 1930-х годах рухнули купол и деревянные стропила крыши. И застыло мгновение. Погибли интерьеры, дом тает на глазах. И весьма все это романтично.

Поезжайте дальше на юго-запад — попадете в калужский райцентр Перемышль, гордившийся своим Успенским собором 1562 года. Не так уж и много в этой стране зданий XVI века. И вот в прекрасном 1971 году случается в Перемышле событие — свод собора рушится, глава падает внутрь храма, вываливается наружу восточная стена! И на следующий же день... ничего не происходит, и не происходит ничего в следующие двадцать лет. Романтикам, мы же знаем, милы руины.

Поезжайте из Москвы на север — доехав до Рыбинска, загляните в село Александровская пустынь, познакомьтесь с Троицкой церковью XVII столетия. Шатровым церквям счет у нас на десятки, трехшатровые (а здесь именно такая) можно по пальцам перечесать. Троицкую церковь как разорили в 1930-х, так и оставили распространять романтические и душистые (в храме сушат сено) флюиды на безрадостные окрестности.

Продолжив путь на север, доберетесь до Соловков. Стоит карабкаться на крутую гору Голгофу, что на острове Анзере, чтобы повидать необычайно красивый Распятский скит. Автору этих строк довелось там ночевать. Найдя комнату, где не зияли дыры в потолке и не выпадали сами из стен кирпичи, он темной октябрьской ночью то пытался уснуть, то любовался видами русской Северной Фиваиды, но все время думал: отчего же сто лет назад нашел бы здесь теплый кров и сытный стол, а сегодня лишь ветер свистит в щелях? Ну что за романтика?

Да и не надо уезжать из столицы. Вот в самом центре, слева от «Метрополя», единственная из сохранившихся башен Китайгородской стены XVI века — посадской крепости, снесенной в 1934-м по инициативе ЦК и МК ВКП(б). (Может быть, еще пожалеют о том коммунисты — за крепостной стеной на Старой площади сейчас спокойнее бы сиделось.) Кто объяснит, почему из всех возможных вариантов использования этой башни (кафе «Старая башня», магазинчик, киоск, туристский объект и т.д.) наша действительность предлагает самый романтический — большой и древний кирпичный мусорный бак?

Почему мы так легко отказываемся от наследства? Почему живем среди руин? Понятно, что сопредельные страны, наживающие миллионы за счет демонстрации туристам своей старины, нам не указ. Понятно, что любовь к отеческим гробам мы когда-то сдали в архив вместе с понятием Отечества. Но наследство для нас еще ничего и не стоит. Старые здания оцениваются по остаточной стоимости — копейками. Памятники старины, приносящие все же некий доход во благо нашего слаборазвитого туризма, денег этих не видят. Реальная экономика охраны памятников во младенчестве. Между тем подсчеты специалистов говорят, что реконструкция старых зданий (на деле, не по накручиваемым сметам) обходится в полтора-два раза дешевле, чем строительство новых аналогичного назначения. Сколько стоит дух времени? Патина истории? Притягательность прошлого? Дело не движется далее статей в узкоспециальных сборниках. Несчастно наше наследство — даже оценить его не можем.

Константин МИХАЙЛОВ

На снимках:

- 1) Петровское-Алабино — руина исчезнувшей цивилизации.
- 2) Успенский собор в Перемышле до 1971 года. После — лучше не смотреть.
- 3) Троицкая церковь-сеновал под Рыбинском
- 4) Распятский скит на Соловках. Издали еще красив.
- 5) Москва. Башня Китай-города — мусорный бак.

20 КОМНАТА

Журнал в журнале
№ 3 (42)



1. Чего не делать?

Д. Б. Мне кажется, что наше поколение имеет две особенности. Первая — склонность искать причины наших проблем вне себя и соответственно вторая — искать опору вне себя. Легче всего человеку жить, когда он к чему-либо прислонен. Либо к религии, либо к боевому искусству Шао-Линя, либо к Гребенщикову. Но скомпрометировано все, кроме того, что можно пощупать. А пощупать можно только человека. Если опора внутри себя будет найдена — хорошо.

А. А. Основная проблема поколения 90-х — утеря духовных ориентиров. Были ориентиры бездуховные, безнравственные. И соответственно появлялись какие-то формы нонконформизма по отношению к этой бездуховности. А сейчас, когда шоры спали, на поверхность выплывают совершенно удивительные явления — безнравственная пропаганда порнографии и т. п. И это почему-то называют свободой.

Д. Б. Вы говорите, были ориентиры. Помилуй Бог, какие? Что ж, вы верили, что Брежнев с Малой Земли Сталину советы давал?

**Раскопки
поколения**

Времена, как известно, не выбирают, в них живут и умирают. Поколение 90-х умирать пока не собирается. Вот только живет ли? Есть ли оно вообще, или каждый строит счастливую жизнь в рамках отдельно взятой судьбы? И если живет оно, то чем?

Раскопки поколения производят:
Илья АЛЕКСЕЕВ, студент факультета журналистики МГУ

Артем АРТЕМОВ, секретарь Думы Российского Христианского Демократического Движения

Дмитрий БЫКОВ, поэт, корреспондент «Собеседника»

Виталий ПУХАНОВ, студент Литературного института

Николай ШЕПТУЛИН, студент факультета журналистики МГУ

Рустам РАХМАТУЛЛИН, «20-я комната»

А. А. Это были ориентиры небытия! У сатаны тоже есть определенные цели. Это были антиориентиры, антицели. Задача состоит в том, чтобы давать духовные ориентиры. Иначе на место одних утопий будут приходиться лишь другие утопии. На место коммунистической — колбасническая: материальное процветание любой ценой. Ни одно общество не добилося материальных благ, тем более не создало ценностей, ставя это в качестве национальной цели. Америка формулировала целью свободу, Германия — воссоединение, Япония — возрождение и т. д.

И. А. Я думаю, люди, стремящиеся к материальному благополучию, не заслуживают столь сурового к себе отношения. Почему-то русские всегда относились к богатству как к чему-то неприличному. Это, кстати, одна из существенных черт «шестидесятников», отличающая их от нас.

А. А. И я считаю частную собственность священным понятием, но это не должно зашоривать, превращаться в самодовлеющее.

В. П. Я не помню, кому принадлежит этот афоризм: при тоталитаризме человек делает то, что прикажут, при демократии — то, что придется.

И мне трудно выбирать между застенками Лубянки и застенками экономических законов. Экономическая центрифуга выбрасывает из себя огромное количество людей. Чем это отличается от великих социалистических строек с их аппетитами? Здесь абберрация, сродни мифу о дельфинах, толкающих человека к берегу: никто не видел людей, которых они толкали от берега...

Р. Р. Мне кажется, это удача поколения, что оно выходит на сцену во времена так называемой утраты ориентиров. Нельзя по-настоящему обрести ориентиры, если нет возможности их утратить. Эпоха, когда ориентиры утрачены и возникает возможность подлинного выбора, а не наследования веры, — в эту эпоху только и можно стать на ноги.

А. А. Нет смысла с этим спорить. Но я говорю о самом акте выбора — что будет выбрано?

И. А. Человек не может жить без мечты, направленной в бесконечность, будь то бесконечность построения коммунизма, Бога или своего «я».

Д. Б. Мне кажется, что вопрос о выборе ориентиров должен быть вообще снят. Мы уже видели, к чему приводит устремленность человека в какую-то бесконечность. Речь идет о том, чтобы жить, а не думать, как жить. О том, чтобы непосредственно предаться жизни. Единственный возможный ориентир — не бить человека по голове. Без крайней необходимости, так сказать.

А. А. Мне кажется, что апология животного существования ни к чему не приведет.

Д. Б. Не существования, а жизни! Моя единственная цель — не делать зла.

А. А. Замечательно. Но это уже какая-то установка. Должна быть какая-то грань, которую человек не должен переступать. Мир, в котором мы живем, исполнен всяческих искушений. Человека он все время подталкивает нарушить закон. И важно, чтобы мы осознавали, что нарушить нельзя.

Д. Б. Не лучше ли дать человеку делать, что он хочет? И мы увидим, что 99 процентов людей ничего плохого не хотят.

Р. Р. Я должен сознаться, что чувствую себя насекомым в паутине. Мне кажется, что каждое мое движение отзовется звоном на концах нитей. И это чувство кармической ответственности все же сковывает. Я могу быть уверен, что делаю доброе, и тут же допускаю, что могу проколоться и соблазниться.

Д. Б. Я согласен, что эта ответственность сковывает, но я понимаю это несколько иначе. Как Пьецух сказал: колеса, которые вращаются в нужную сторону, продолжают вращаться, а которые в противоположную — те стираются. Назовите это Провидением, но быть добрым как-то выгодно. Иначе «мне отмщение, и аз воздам».

Почему я и думаю, что когда наше поколение займет ключевые посты, оно не будет перекраивать жизнь: как только до дела, — будет «паутина» звенеть.

До востребования



Я бывший «медвежатник» — человек, который открывает сейф. Естественно, хорошо закрытый. При этом часто используются автоген, взрывчатка, а то и просто дрель.

Я использовал свои пальцы. Я ими «вижу» — не знаю, как и назвать это чувство. Я «слышу» и в то же время как бы «вижу» цифры шифра, на который закрыт сейф. Интересно, правда? Так вот, этой способностью воспользовались люди, которые до сих пор не могут оставить меня в покое...

Как-то в детстве я заболел менингитом. Врачи меня спасли. (Бывают моменты, когда я думаю: «Зачем?..») Но это не прошло бесследно. У меня была частично потеряна чувствительность левой стороны тела. Рука и нога практически не работали. Тогда я был пацан и считал, что мир создан ради меня. И я начал работать рукой и ногой. Сначала с мячиком, потом с гирями, снарядами... Не поверите, не менее чем через год я уже мог бегать, подтягивался 12 раз. Из инвалида 2-й группы (это в пятнадцать-то лет) я снова стал нормальным человеком...

Но через два года я попал в больницу. В драке мне пробили черепную коробку. Отошел, голова зажила, сотрясение прошло. И вот после этого я стал «видеть» и «слышать» пальцами. Поначалу было интересно на спор открывать цифровой замок или «дипломат». Но мои друзья рассказали обо мне кое-кому. И началось!

Не хочу говорить, что лежало в сейфах и сколько было самих сейфов. Но жить по ЧЕЧЕВЕ (человек человеку волк) я не хотел. И подумывал уйти от них еще до службы в армии. Это ужасно, когда в карты играют не только на деньги, но и на человека!

...Знаете, перед дембелем появилось странное чувство — не хотел возвращаться в свой город. И неспроста — о моем приезде «друзья» узнали буквально через час. Не успел я как следует поговорить с родителями, а мне уже позвонили и дали понять, что я им нужен. Когда им стало известно о моем решении, настали черные дни. Ведь я пошел один против всех! Чего только не было: от обещания золотых гор (в буквальном смысле слова) до обыкновенной пальбы по мне. Приходилось существовать чуть ли не полулегально.

Я решил тогда уничтожить свой дар. Еще до армии, сразу после школы, я пошел работать на завод. Устроился учеником сварщика, а потом сдал на разряд. Тогда я заметил, что именно от сварки чувствительность подушечек на кончиках пальцев стала уменьшаться. Когда я уходил в армию, «босс» приказал после возвращения домой на завод не ходить. А я — назло — снова пошел работать. Как и следовало ожидать, мои пальцы стали быстро

терять чувствительность. Было обидно и больно, и в то же время я был счастлив. Но, кроме рук, у меня оставалась еще голова, которая слишком много знала. Вы, наверное, представляете, что обычно делается для того, чтобы человек много не болтал. А я хотел жить и сейчас хочу. Тогда меня спасло чудо. Я выкрутился. Буду ли жив сегодня, завтра, через неделю — одному Богу известно...

Без подписи,
г. Тихвин.

В то утро я был поднят на ноги грубым толчком заместителя командира взвода старшего сержанта Родионова. Нас построили и зачитали приказ, в котором было сказано, что ночью из расположения части сбежал с оружием находившийся на боевом посту часовой — солдат первого года службы. Наша задача — найти его и обезвредить. В случае необходимости разрешается применять оружие. Часового — хрупкого паренька, татарина, мы обнаружили в лесу, недалеко от воинской части. В ответ на предложение бросить оружие и сдаться тишину взорвали автоматные очереди. Дезертир стрелял истерично, неумело и вскоре израсходовал боезапас, тут-то мы его окружили и взяли.

Злые, невыспавшиеся старослужащие набросились на «чучмека» и стали старательно месить его тяжелыми сапогами. Командир взвода — старший лейтенант — стыдливо отвернулся. Избитого, окровавленного дезертира бросили в кузов и увезли в часть. После ребята рассказывали, что этот парень, с трудом говоривший по-русски, был в роте «козлом отпущения». Старослужащие избивали его, заставляли чистить им сапоги, стирать обмундирование, ночью мыть полы в казарме. Жаловаться он боялся, потому что «деды» грозили расправой. Да и сам он видел, что рота отдана на откуп старослужащим. Отцам-командирам было так выгодно. У них оставалось больше свободного времени. У парня начали появляться явные признаки психического расстройства. Его неоднократно отправляли в окружной госпиталь и возвращали с неизменным диагнозом — «симулянт, не хочет служить».

После того, как этого «дезертира» доставили в часть и посадили на гауптвахту, он гвоздем вскрыл себе вены и скончался.

Владислав ВОЛКОВ
г. Минск.

Когда сын влюбился, я не смогла справиться с собой, совершила типичные ошибки. Я даже не могла понять всей серьезности его увлечения. Еще бы: ему 15, а ей 17. И ведь девушки рано взрослеют. Она была старше не только на эти два года: дома были тяжелые условия, отчим пил, угрожал ее изнасиловать. Алеши приходилось защищать их с матерью. К сожалению, все это я узнала гораздо позже. А тогда чув-

ствовала, что теряю сына. Я не спала ночами, плакала, мучила его и себя. А там к нему не придирались и ничего особенного не требовали. Дома не было спиртного. Там — всегда. Я не знаю, там ли он приложился впервые, не буду говорить зря. Но сердцем чувствую: вполне может быть.

В последней надежде я поехала к психологу, на 15-ю Парковую. Покорно отсидела эту печальную очередь, где все ждут молча, каждый со своей бедой. «С сыном все в порядке», — сказали мне в кабинете.

А вскоре на Алешу завели уголовное дело... И — суд. Три года колонии...

Это ужасно, это безобразно, это действительно черт знает что — когда парень у другого, более слабого отнимает мелочь. Ограбил школьника на 80 копеек, другому посадил синяк. Но ведь не с помощью же колоний с этим бороться! Этак можно пол-Москвы мальчишек пересажать. Да, все будет по закону. Жуткое ощущение бессилия перед этой огромной, перемалывающей твою судьбу, как мясорубка, машиной со звучным именем, но какой же он странный, какой же непостижимый, этот Закон! Почему-то к тем, кто споткнулся впервые, он особенно жесток и неуступчив. А мафия процветает.

Я много читала про аресты, допросы, пересыльные тюрьмы. Никогда не думала, что многие эпизоды придется испытать на себе. Унижалась, просила, влезла в долги, чтобы платить адвокату. Повторный, уже городской суд смилостивился над нами — снизил срок до полутора лет. И начались бесконечные тюремные очереди... Одни и те же люди в окошечке, не отвечающие на вопросы, жалкие передачи — не большие пресловутых 5 кг. Мальчик мой худенький, слабый — бьют его там, наверное...

Алешина девушка ушла из дома к другому, взрослому парню 23 лет, стала с ним жить, как с мужем. Он тоже пьет, так что ей не позавидуешь — из огня да в полымя.

Не могу забыть один эпизод. Приехала к тюрьме 10 ноября — забыла, что День милиции, — все ждала воспитателя. К воротам подъезжает «Скорая», выходит парень в белом халате, на кнѣпку давит, часовой ворота открывает. «У вас тут умер один, за трупом приехали». Я как кинусь под колеса этой машины: «Скажите фамилию, ради всего святого!» Другой, за рулем, аж оторопел: «Не положено». «Ну не посадят же вас за это, скажите матери!» «Татарская фамилия, татарская». Ушла, ноги ватные, внутри все дрожит... Смотрю на это огромное здание в решетках, думаю: «Ну неужели ты сейчас не чувствуешь, как я тут маюсь? За каким же ты окном? Что там с тобой делают? О чем думаешь, что вспоминаешь?» И слез нет, один комок в горле. Передачку взяли. Значит, живой. Пока.

Людмила Н.
Москва

Личная жизнь

ОЛЕСЬ ДОНИЙ КАК ЗЕРКАЛО СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

— Доний Александр Сергеевич. В партийно-студенческих кругах известен под именем Олесь. 21 год, выпускник истфака Киевского университета, председатель киевского филиала Украинского студенческого союза. Организатор всеукраинской студенческой голодовки (2 — 16.10.90 г.), отправившей в отставку председателя Совмина Украины. «Лидером студенческим» (далее — ЛС) сам себя не считает, в крайнем случае — «одним из них».

Что ЛС едят и кушают ли они вообще

В умении воздерживаться от пищи Олесь дошел до изящного искусства, до высшего политического гурманства. Не каждому удастся не есть с таким блеском и такой результативностью. Всякий студенческий хеппинг, в том числе и политическую голодовку, надо старательно готовить.

Незадолго до начала голодовки Украинский студенческий союз расклеил по всему Киеву листовки:

«Братья!

Экономический и политический кризис в стране углубляется. Инфляция, дефицит, недостаток элементарных вещей — вот наследие полновластных министерств. Нынешний Верховный Совет Украины не способен решить болезненные вопросы сегодняшнего дня. Политической ситуацией до сих пор управляет ненасытный монстр — коммунистическая партия...

Именно поэтому Украинский студенческий союз планирует начать с 1 октября 1990 года широкомаштабную акцию гражданского неповиновения и выдвигает следующие требования:

1. Принять закон о национализации имущества КПУ и ЛКСМУ.

2. Принять закон о приостановлении полномочий ВС Украины и назначении новых выборов на многопартийной основе весной 1991 года...

Как вы уже знаете, ни то, ни другое требование выполнены не были, что и послужило поводом для очередных студенческих волнений весной этого года.

Является ли ЛС агентом ЦРУ

Эта версия активно разрабатывается коммунистической украинской прессой. Вполне серьезно утверждается, что Олесь со товарищи выполняли инструкции зарубежных шпионских центров или на худой конец

Руха, что для многих суть одно и то же. Утверждается, что за каждый день голодовки студенты получали по 200 долларов и что в целом на организацию этой акции подрывные службы затратили около 20 миллионов долларов. В общем, как водится, наймиты и прихвостни неплохо заработали. А если учесть, что теперь Олесь Доний настойчиво приглашают учиться за океан (конечно же, получать инструкции), все становится яснее ясного.

Как ни странно, единственное заведение, где верят в самостоятельность и независимость УСС, — это КГБ. Ему хорошо известно, что всю акцию от начала до конца придумали и провели сами студенты, что самое большое давление оказал на студентов не парт-аппарат, а члены Верховного Совета, активисты Руха: они навязывали свои лозунги, настраивая, чтобы студенты сняли одно из требований — о роспуске Верховного Совета и перевыборах на многопартийной основе.

Где ЛС находят крышу над головой

Первая попытка сесть у Олесь закончилась полным крахом: из тюрьмы поперли. Было это зимой прошлого года, когда он и еще с десятков его коллег получили в суде по 15 суток за несанкционированный митинг в защиту студента КГУ, возложившего к памятнику Ленина венок из колючей проволоки. Всех посадили, а Олесь в самый последний момент вытолкали: он оказался кандидатом в народные депутаты УССР. А таких даже наша милиция не берет.

Зато через год все получилось. Причем с таким триумфом, что некоторое время на Украине было два героя — Степан Хмара и Олесь Доний. В следственном изоляторе Олесь просидел целых 7 суток. «Дело», которое емушили, было совершенно несостоящим, но, по-видимому, желание партаппарата отыграться за голодовку превозмогло. Донию и еще пятерым бузотерам инкриминировали совершенно мертвую в то время статью «захват государственных и общественных зданий и сооружений с целью незаконного их использования». Имелось в виду то, что в последние, самые критические дни голодовки студенты «оккупировали» центральный корпус университета и одно из зданий Политехнического института. Трое суток они держали осаду. Олесь в это время метался по Киеву между двумя палаточными городками с голодающими и захваченными корпусами, вел переговоры с «верховниками», выступал с трибуны Верховного Совета (к Председателю ВС он обращался не иначе, как «пан Кравчук») и т. д. А через два месяца, когда прокуратура стала присылать ребятам повестки, Олесь взял ответственность на себя. В общем, поступил так, как учили еще в пионерах...

В следственном изоляторе, в одной камере с людьми самых разных профессий: рэкетиrom, вором, грабителем, злостным хулиганом и валютчи-

ком — Олесь узнал много нового. В частности, что «политических» уважают и что он в свободное от допросов время может спокойно готовиться к зачету по «Истории экономических учений». Узнал он и много интересного о себе — на допросах, особенно во время отеческих бесед с Генеральным прокурором республики. Например, прокурор сообщил Олеся, что тот поступил в университет по явному недоразумению: во вступительном сочинении абитуриента Дония следствием была установлена 1 (одна) грамматическая ошибка...

Из монологов ЛС на воле за кружкой пива

— На волне критики компартии и госаппарата демократы добились кресел в парламентах, но при этом забыли сменить пластинку: по-прежнему гнобят коммунистов, не учитывая, что уже по меньшей мере год как разделяют с ними ответственность за происходящее. Как когда-то большевики, демдвижение обещает светлое будущее всеобщего благоденствия, разрисовывает во все цвета радуги прелести рыночных отношений, но собирается достичь этой цели без руля и ветрил. Все делается экспромтом, в силу сиюминутных политических обстоятельств.

А в это время коммунисты перехватили инициативу, перелицевали лозунги демократии. Компартия уже выступает в роли защитницы униженных и оскорбленных, бедных и нищих. И прежде чем это лицемерие социальной уравниловки снова вскроется, от демдвижения останутся группки переругивающихся между собой людей.

Так получается, что многие от меня ждут, чтобы я каждый день выводил людей на площадь. А я этого делать никак не хочу. Студенты для этих (кстати, как левых, так и правых) сил — всего лишь пешки в политической игре. Нас привлекают дешевой популярностью митинговых мальчиков, предлагают откликаться на все события напропалую. Пока держимся. И пока удастся удерживать от этого соблазна ребят. Но боюсь, нашей убежденности и наших уговоров ненадолго хватит. Смутное время объективно выводит на арену всякого рода бомбометателей и фанатиков. Влиять на них бесполезно, поэтому я в случае их победы просто уйду в сторону и займусь тем, что меня в последнее время больше всего греет.

Я выбираю путь постепенных реформ. Шесть лет демократических треволнений явно продемонстрировали, что для серьезных структурных изменений в этой стране не хватает «малого» — социальной базы, людей, кровно заинтересованных в переменах. Актуально возникновение среднего класса, заинтересованного в стабильности правового государства. На мой взгляд, именно студенчество станет частью этого среднего слоя нашего общества. И потому в поддержке, воспитании этого среднего слоя, защите его интересов я вижу миссию студенческого движения.

Я не собираюсь защищать Горба-

чева, но если смотреть с точки зрения охранителя государственных устоев, то ясно, что никакие изменения не могут и не должны опережать способность народа воспринимать, «переваривать» перемены. Резкие порывы для нашей страны противопоказаны. Сейчас идеи постепенных демократических преобразований у Горбачева (кстати, у Ельцина тоже) приходят в противоречие с имперской идеологией. Мне кажется, что именно в имперском мышлении, зашоренном перспективой «развала Союза», заключается угроза всему процессу демократических реформ. Как только этому мышлению будет принесен на заклание еще один агнец — национально-демократические движения в республиках, маховик подавления уже не остановишь.

Как ЛС размножаются

Конечно же, делением. Или почкованием. Только внутри одного Московского студенческого клуба существуют группировки: «беспартийные», союз учащейся молодежи, партия молодежной солидарности и разношерстный коллектив представителей разных партий. В каждой группе обретается по меньшей мере три-четыре сопредседателя. В «епархии» Дония в этом отношении тоже все в порядке.

А что касается затронутого предмета непосредственно, то Олесь пока не собирается жить под девизом «никогда!» и ссылается при этом на тайный устав УСС, в третьем пункте которого записано: «або жинка, або политика».

Когда ЛС уступает тропу войны

Олесь любит работать по-крупному. Если требовать отставки — то премьер-министра, если баллотироваться в качестве кандидата в народные депутаты УССР — то соперничать с очередным председателем Совмина Украины. При этом он осуществляет на практике заветы вождей о союзе пролетариата и интеллигенции: выдвинул его коллектив Киевского радиозавода. Правда, он не оправдал чаяний рабочего класса. Депутатом стал премьер. Возможно, помогла ему очередная статья, опубликованная за день до выборов. В ней в очередной раз разъяснялось, что Доний — деструктивная сила и агент иностранных разведок.

В качестве заключения

Станет ли в обозримом будущем студенческое движение самостоятельной силой? Да и вообще, что его ждет? Один из вариантов ответа мы с Олесем вычитали на доске объявлений в одном из общежитий Московского университета: студентов созывали на забастовку по поводу недельного отсутствия в общаге горячей воды... Так что, по всей видимости, Олесь настроен сделать некоторый перерыв в своей политической карьере. Если, конечно, отечественный вариант Тяньаньмэня не призовет.

Сергей СОКОЛОВ



II. РИФМУЕТСЯ ЛИ ЕЛЬЦИН?

Р. Р. Наше поколение принято считать не только бездействующим, но и молчащим. Я имею в виду культурное творчество. Действительно, несколько поэтических и музыкальных имен — и это, кажется, все.

Н. Ш. Поколение формировалось в несколько пародийной культурной обстановке. И есть опасность, что любые собственные его культурные претензии выльются в пародию. Борьба литературных группировок, попытки выйти на уровень новых обобщений после Сокурова и Тарковского уже сейчас напоминают пародию. То же и в литературе — псевдоавангардизм, псевдопостмодернизм — вот лицо новой культурной генерации, лицо 90-х годов. Это «псевдо» ничего путного создать не в состоянии. После извращенного существования в сфере культуры, когда вся Россия была выключена из единого мирового культурного процесса, вдруг произошло мгновенное включение в него. Каждый пытается понять и оценить культурную ситуацию с точки зрения всемирного масштаба, но происходит путаница, замещение каких-то категорий мнимыми...

И. А. Те потешные вещи, которые сейчас на виду, — это не 90-е годы. Это еще не то, что должно сделать наше поколение. А нам есть на что надеяться. Мы — впервые — живем в условиях полной культурной ситуации, без разделения на официальное искусство и андеграунд. Все, что отодвигалось, изгонялось в эмиграцию, душилось, волной обрушилось на наши головы. Это эстетический взрыв, эстетический оползень. И я думаю, что люди, которые будут после этого творить, они скажут какое-то очень свое, очень оригинальное слово. Правда, это будет делаться с некоторой примесью — может быть, патологии, жутковатой оригинальности.

В. П. Новое направление искусства приходит с появлением социальной группы, ранее слова не бравшей. Ни одной проститутке не удалось адекватно передать свои ощущения от отношений с миром. Удастся — появится художественное произведение, превосходящее любой взгляд со стороны. Тусовка, литературная ситуация ни при чем. Закон призыва: каждый ляжет мазком...

Д. Б. Мы забываем, что искусство делается страстями. Высмеивание и пародирование не есть страсть. Времена соц-арта поэтому кончились. Грубо говоря, если задача — выпендриваться, «остаться в веках», — это не задача. Задача — сделать что-то, чтобы всех трясло, потому что самого трясет. Литература, как говорил Воронский, — это кровь, пот, сперма, слезы...

Н. Ш. Литература страстей будет хороша только при четкой культурологической ориентации автора. Иначе будет господствовать распространенная тенденция, когда провозглашение себя художником уже подразумевает определенный, ни к чему не обязывающий образ жизни. Люди, претендующие на занятие творчеством в 90-е годы, как правило, считают себя освобожденными от каких бы то ни было других занятий. И совершенно убеждены, что своих представлений о культуре им достаточно. Отсутствие стремления к осознанию себя внутри контекста культуры, что возможно только через культурное образование, пагубно. Когда все перемешалось, андеграунд чуть ли не интегрирован в систему официальных ценностей, это сродни смешению полов. Уже сегодня «канонизация» какого-нибудь авангардиста совершается мгновенно.

Д. Б. Для того чтобы напечататься в любом журнале, необходимо заявить свое партийно-эстетическое пристрастие, например, сказать слово «концептуализм» — и принести что-то типа «дыр-бул-шил». А нормальная лирика создается за свой счет, существует глубоко в подполье, не будучи ни левой, ни яркой, ни политической, и «Ельцин — умельцы» в ней не рифмуются. Мне кажется, что если наше поколение создаст что-то стоящее, это будет похоже на «Москва слезам не верит». Ироничное, человеческое.

И. А. Но приходится считаться и с тем, что нужно продаваться как-то...

Д. Б. Нет и нет! Бродский не продавался, а все покупают. Никогда не просите — придут сами.

И. А. Во всяком случае, человек, начинающий что-то писать, должен решить для себя, на что он соглашается. На то, чтобы продаваться, или на то, что через 20—30 лет, и только если он стоит этого, будет замечен, оценен. Если ты творишь для себя — не обижайся, что тебя никто не покупает.

В. П. Важно понять, что литература не отражает проблем, она их создает. Я глубоко уверен, что «достоевские» проблемы появились после Достоевского. И если литература чему-то учит, то это мучиться над тем, над чем человек не мучился, и переживать то, чего он не переживал. Человек в каком-то смысле очень живой, а литература учит только умирать.

НЕЛИНОВАННЫЙ ЛИСТ

Эдгар БАРТЕНЕВ

* * *

В черном смокинге движется ночь.
Луна каменеет в петлице.
Сомкнем молчаливые лица.
Будем зерна сирени толочь.

Негашеной известкою звезд
Пыльца заклубится над спинами...
Когда-то мы были невинными
Птенцами сиреневых гнезд.

Небесная азбука

Я прислушиваюсь к звездам,
к их полночной воркотне.
К ним колючими ресницами
клены клеются во тьме,
В жадно тлеющие горла
льют нектары гласных искр.
Пламя крон уходит в корни
синей судорогой икр.
Мне, язычнику, немymi
никогда не будут звезды.
Ветер с клетком павлиньим
распускает веер грезы.
Я ловлю глаголы ветреной
шелестящей тишины.
Все, устами шевелящие,
непростительно грешны:
Их язык как бред, как одурь,
раскаленное тавро —
По живому метить кроткое,
пучеглазое добро,
Выжигая тени, знаки, блики,
тоны и намеки.
Словно могут уничтожить
их беспомощные токи.
Сфинксу тайну речи звезд
не сумеешь связать в загадку,
Ведь ответ невыражаем
человечьей речью краткой.
В неге ночи выются слоги
серебристою лозой.
У висков заря трепещет
жестких жилок бирюзой...
Я прислушиваюсь к звездам,
к их прощальным тихим гимнам.
Скоро все спорхнут, угаснув,
в бездну всполохов карминных.
Я хочу исчезнуть с ними,
по-лебяжьин причитая, —
Сыплет перья в сад, как листья,
их мерцающая стая.

Искусство умирания

Щеки, щепки,
наперстки, прищепки.
Запыленность в левом глазу.
Шмель из зеркала
происхожденья терпкого
Мимходом лижет глазурь.
В беспорядке, как скрепки,
мои отщепленья.
Молебен растерянности служу.
Мешком на паперти,
в свисте тленья,
От лени кожей преподобен ужу.
Меня сводит с ума Вавилон —
В зареве тысяч горящих колонн
Это мой последний чердак.
Там, опечаленнокрылого,
меня держит лак,
Держит панцирь жука,
зрачок, казенной луной,

Сквозь пыль мерцающий
горлом гобой.
Там и в сумерки зной.
Там и в сумерки зной...
Я не знаю, я тих,
я в беременную влюблен.
Колокола безъязыкие
сыплет стоглавый клен.
Над расчлененным Таммузом
косу расплетает Иштар —
Иероглифом, дымен и стар,
воскресает из тьмы Синеар.

Балкон

Балкон моя келья.
Мне тополь лохматит лицо.
И сумерек вздохи
как складки измятой постели.
Серебряной веткой
стучится кольцо о кольцо,
из кремния тьмы
высекая огонь ожерелий.
Балкон моя тронная зала,
корона — печаль,
Я царь и тоскую
о царственном плене разлуки.
Я плечи царицы
укутаю в луговую миткаль —
И отпущу ее с Богом бродить —
и в скуке.
Балкон моя крепость,
А мысль — неприступная башня.
Смотри, сколько копий жемчужных
дождь осыпает во мглу!
Я крестьянин с быком, увязающим
на фиолетовой пашне, —
И вот кажется мне,
умереть никогда не смогу.
Становлюсь я тогда
ночной безоружною бабочкой —
Манит меня все,
что умеет целительно жечь.
Из кальянов роз,
настурций и мальвочек.
Татуированная вьется питоном речь.

Я был печальнейший солдат...

В. К.

Мерцающая в линиях заката
Сиреневой рапсодии,
Я был печальнейший солдат
Печальнейшей мелодии...

Я, накрываясь, тихонько стыну,
Я жду осеннего запястья.
Трость воплощается в осину —
Я воплощаюсь в плащ ненастья.

Мелькни, пощечиной осыпаясь,
Не затаи букет фиалок.
Пусть похоронно щиплют листья —
Солдата никому не жалко.

Явись к оградке, к изголовью...
Как дым сползает с мундштука!
И в сумерках, качая бровью,
Страхни две искры с каблука.

Потом кричи, потом царапай,
Разжалуй, ниц пригни колени.
Я пса израненная лапа,
Я трещина в рогах оленя!

А в паводок клочки мундира,
Синее льда, зацепишь тростью...
Под этим поминальным «смирно»,
О, поиграй моею костью!

г. Казань

Рассказы
ИюлиIII. ЕСЛИ ПАРТИЯ
СКАЖЕТ «НАДО»...

Р. Р. Мы входим в эпоху преодоления старых и возникновения новых общественных расколов, в эпоху новых партийных монополий и несвободы, в эпоху, когда вечная коллизия Запада и почвы модифицируется по формуле Федотова: народ обмещанивается, интеллигенция оцерковляется...

А. А. Западничество и почвенничество — естественные черты национального сознания России — пока Россия будет оставаться Россией, пока Россия не есть Запад.

Д. Б. А я не буду ни на что сознательно раскалываться. Разделение, по-моему, одно: жизнеспособно — нежизнеспособно. Я люблю Достоевского — славянофил ли я после этого? А Ельцин — славянофил или западник?

Н. Ш. В конце концов, что такое мещанство? Культура городского жителя. И когда мы переболеем культурой, промежуточной по отношению к городу и деревне, когда народ в массе войдет в культуру бюргерства, — эти проблемы отпадут.

Р. Р. Возникнут другие — линии поведения интеллигенции. Отдавать свое перо на службу бюргерству или напоминать о чем-то высшем? Исчезнуть ли интеллигенции как таковой и стать просто головкой общества в западном смысле — или сохранить черты секты и, следовательно, взаимонепонимание с «массой»?

А. А. Не надо впадать в другую крайность. Это орден интеллигенции завел нас в тупик. И традиции его — псевдотрадиции.

Д. Б. Интеллигенция была кастой и будет. Она должна делать свое дело, не стремясь опрощаться, «сливаться с народом», не надо себя ломать.

А. А. Я согласен, скорее всего так и будет, но речь идет о том, чтобы учитывать уроки истории и не допускать, чтобы интеллигенция навязывала свои формулы обществу.

Д. Б. Да неужели вы думаете, что восстание «черни» было ей навязано?

А. А. Нет, были навязаны формулы социалистического переустройства. И... использована народная энергия как энергия разрушения.

Н. Ш. Но тоталитаризм и не развивается иначе, как при попустительстве, даже при активном содействии народа.

Р. Р. А если представить себе, не пытаясь оценить степень вероятности, что нам на шею снова сядет тирания, — как поведет себя каждый?

Н. Ш. Без оценки вероятности все же не обойтись. Для возникновения

тоталитарного царства снова должен быть создан общенациональный миф. Националистический, социально-классовый, религиозный... Сейчас нет не только такого мифа, но и почвы для него.

Р. Р. Но представьте себе приход временщиков, апеллирующих к голому штыку, так можно продержаться несколько лет, всеобщую повязку и поруку, заложничество, простейший страх, разъединение, атомизацию общества...

А. А. Сатанократия вряд ли может быть восстановлена. Возможен авторитарный режим, не допускающий политических поползновений, но на культурные, религиозные и другие неполитические сферы власть уже не сможет поднять руку: у нее не хватит сил. И это приведет режим к скорой смерти.

Д. Б. Я не разделяю оптимизма, потому что если тоталитарная идея скомпрометирована — это ничего не значит. Идея империи была скомпрометирована еще Римом, но после были и Рейх, и Сталин. Мифы могут быть те же — и будут держаться. И наше поведение будет в точности отражать старые модели. Одни будут тихо граждански не повиноваться, другие — пытаться ломать себя и либо сломаются, либо нет, третьи поведут себя а ля Алексей Толстой...

И. А. Традиционные варианты: кухня, переводы... Я, например, не думаю, что я сильнее других, что пойду на баррикады. Но очень хочется, чтобы нашелся человек, способный в этих условиях создать подпольную террористическую организацию.

Н. Ш. Я в такой ситуации, скажу честно, предпочел бы эмигрировать. Я не способен ни создавать подпольные партии, ни записываться в партию у власти. Я буду лишь преследовать цели, совпадающие с моими понятиями о нравственном. И все. Выбор негласного противостояния не гарантирует, что вы от него не уклонитесь.

А. А. Моя линия поведения будет зависеть от природы режима — именно режима! Не должен нормальный человек бороться с государством как таковым. И я никогда не буду бороться за разрушение, разделение, уничтожение государства. Я буду ставить своей целью изменение природы режима — коммунистического, например, который и сейчас находится у власти. То есть буду продолжать делать то, что делаю сейчас, если внешние обстоятельства не помешают мне. И это духовная проблема. Я не считаю, что государство — зло в принципе, оно не относится к категориям зла. Иное дело — режим. Вот принцип.

Записал Александр МАЛЮГИН

Валерий ПРИМОСТ



Именно с третьего полугодия службы солдаты начинают в прямом смысле «общаться» с офицерами. Ибо первый год информация истекает сверху вниз, от офицеров к солдатам, а снизу надлежит односложно рывкать: «Есть! Так точно!» А вот с третьего полугодия, с «котловства», солдаты начинают с офицерами трепаться «за жизнь», курить, пить, ходить в «увалы» и бить друг друга морды. Словом, «общаться». Вообще офицеры очень похожи на солдат. Как и среди солдат, среди офицеров есть бурые, «похуисты», середняки и чмыри. Бурые — этакие «лихие служаки» — без ума от уставных команд громовым голосом, от построений, смотров и шмонов. Из них обычно выходят старшие офицеры и генералы. И тогда мы поражаемся их непроходимой тупости. «Похуисты» — лучшие из офицеров. Те немногие нормальные, душевные офицеры, относящиеся к солдатам как к людям, которых я знал, были из «похуистов». Ну, середняки, они и в Африке середняки. Никакие. А вот чмыри... Подвид офицеров-чмырей смыкается с подвидом офицеров-идейных. О, это худшие из офицеров. Они опаснее для СА, чем все армии НАТО, вместе взятые. Такие фрукты ни черта не умеют, гнилые, стукачи и страшно любят трескучие фразы о «преимущество советского образа жизни». Особенно много их среди политработников. Начнись война, их перестреляют свои же. Хотя какие они солдатам «свои». За всю службу мне повстречался только один душевный политработник — старший лейтенант Б., парторг нашего батальона. А остальные... Меня еще в армии весьма остро интересовало, зачем держать в войсках такую ораву высокооплачиваемых дармоедов, которые ни черта не делают, ни за что не отвечают, на нужды солдат плевать хотели и следят только за тем, не ляпнул ли ты где-нибудь какую-нибудь «антисоветчину», чтобы тут же направить тебя через политотдел прямиком к особистам.

Вообще по большому счету подавляющее большинство офицеров относится к солдатам даже не плохо, а никак. Им плевать, что солдат ел, как он спал, во что одет, отдохнул ли, здоров ли. О каком «индивидуальном подходе» может идти речь в СА? Побойтесь Бога, граждане идеологи! Офицеру (особенно политработнику) ничего не стоило публич-

Окончание. Начало см. в № 6.

но оскорбить, оболгать солдата, ударить, избить его (особенно если тот не может за себя постоять). «Любимый» всеми нами замполит полевого узла связи капитан Н., например, имел «удивительную» привычку, построив роту, сообщать солдатам, что они, дескать, «чмыри», «ублюдки», «скоты» и прочее. Руководящая и направляющая роль партии налицо, не правда ли?

В общем-то таких офицеров можно понять. Их воспитали в гадливом отношении к солдату как к ездовой собаке, которая должна «беспрекословно, не щадя крови и самой жизни», «шуршать». И вообще, как любил говаривать замполит: «Вы не люди, а солдаты!» А у солдата зачастую нет никакой возможности защищать, отстаивать свои права. Если он попытается подать рапорт о злоупотреблениях, скажем, ротного дальше, комбригу или комбату, то в роте он будет объявлен «стукачом» со всеми вытекающими отсюда последствиями, а высшее начальство воспримет его как «нерадивого солдата, нарушающего субординацию и оговаривающего примерного офицера, чтобы прикрыть свои собственные недочеты по службе». И тогда хоть вешайся. «Начальник всегда прав!»

Исходя из этого, офицерам кажется вполне нормальным, что на учениях они живут в добротных палатках с деревянным настилом и спят на кроватях с матрасами и постельными принадлежностями, в то время как солдаты прозябают в двухместных, вырытых в земле «могилах», прикрытых сверху плащ-палатками. И когда идет дождь, офицеры сидят в палатках, свесив ноги с кроватей, и, прихлебывая пиво, наблюдают, как солдаты вычерпывают воду из своих «могил».

Я все готов понять. Я готов понять, что офицеры и их семьи живут в ужасных условиях (я сам видел, как одна семья целую зиму жила в квартире с неработающей отопительной и канализационной системой: и вот жена и двое маленьких детей, натянув на себя всю теплую одежду, целыми днями сидели в кухне у буржуйки), что есть в городке нечего (даже хлеб привозят раз в два дня, притом в ограниченном количестве), что офицерским женам на работу в этой глуши не устроиться. Но я не понимаю, почему все это должно отражаться на солдатах? Почему они должны делать ремонты офицерских квартир, заготавливать начальству дрова, чинить водопровод и сантехнику, словом, «шуршать»? Почему офицеры, отправляясь на учения, свой, выданный для учений, паек оставляют дома, а питаются в поле из солдатского котла, причем весьма вольготно? А солдаты из-за этого недоедают. Я готов понять все тяготы и сложности жизни офицеров и их жен и даже не хочу напоминать, что в общем-то и те, и другие сами себе жизнь выбирали, никто их в армию взашей не гнал. Ладно. Я готов понять все. Но зачем же на солдат-то валить? Им, право слово, и так не сладко. Зачем солдат-то объедать? Они и так не всегда досыта едят.

И вы, вольнонаемные, служащие, продавщицы военторга, потрудитесь свое хамство и пренебрежение оставить друг для друга, а на солдат его не выплескивать: они и так два года в недочеловеках ходят, чтобы вы сытно ели и сладко спали за их мальчишескими спинами.

Как уже говорилось, офицеры, как и солдаты, бывают бурые и чмыри. И, как и солдаты, бурые чмырей гоняют, припахивают и бьют, если что. Ну, конечно, припахивают не туалет мыть. Роту построить, занятия провести, сбегать куда-нибудь и т. д. И разница в званиях сказывается далеко не всегда. Чмырных офицеров и солдаты частенько бьют. Вот был у нас случай: рота в карауле стояла, и в караулку к нам зашел в гости дембель К. с невестой. Начкар (наш взводный) сразу рот раскрыл: «Чего, мол, шлюху эту сюда приволок?» Естественно, тот ему сразу в балабас. Взводный (с синяком во всю щеку) бегом к ротному. А тот ему: «Если права качаешь, так сам за себя постоять умей. А если не умеешь, то и варезку не распахивай!» А поскольку сам был маленько принявши, то еще от себя взводному залепил.

Частенько среди бурых офицеров встречаются «заскоки». В соседней роте был такой «заскок», лейтенант Б., так вот, он был «стрелок». Повсюду таскал с собой свой ПМ и лупил из него везде, где можно и где нельзя. Однажды в окошке продсклада увидел мышь. Что тут началось! Всех со склада повыгонял и полчаса там с мышами перестреливался. И еще любил ворваться в роту, подбежать к стоящему на тумбе дневальному и, приставя к его виску взведенный ПМ, требовать рапорт о том, как проходил наряд.

Еще был у нас заместитель командира бригады по тылу подполковник В. по кличке «Бугай» или «Бычара». Грузный, краснорожий и дубовый до самозабвения. Любимое дело — напиться, обмочиться и валяться в коридорах штаба тыла, развлекая присутствующих. Домой его приходилось волочь писарям, и они компенсировали это тем, что роняли его в каждую лужу.

Или вот комбриг «развлекался»: строил на плацу всю бригаду, командовал офицерам и прапорщикам шаг вперед, приказывал снять правый сапог и носок и лично проверял «помывку ног и подстрижку ногтей». Мироощущение этих людей всегда было для меня тайной за семью печатями. Ведь они тоже что-то чувствуют, видят, пытаются думать...

А уж если офицер на тебя за что-то зуб заимел, то это все. Либо он тебя посадит или замучает, либо ты его хлопнешь. Как повезет.

Заключение

Это моя работа — обвинение тех, кого я считаю преступниками, — тех генералов и маршалов, которые только и умеют, что бить себя в грудь и вещать с высоких трибун о высоких боевых и морально-политических качествах Советской Армии.

Я обвиняю этих людей в смерти, болезни и унижении каждого умершего, больного и униженного человека с буквами «СА» на погонах.

Я обвиняю их во лжи, ибо каждое их слово с трибун и страниц газет, каждое слово несчастным солдатским матерям — это ложь.

Но самая большая беда не в этом. Она в том, что они свято верят, что все, что они говорят и делают, правдиво и единственно правильно, свято верят, что действительно служат Отечеству наилучшим образом, свято верят, что все идет так, как и должно идти. Потому их руки не дрожат, когда они посылают людей на смерть, потому не подгибаются их ноги и не трясутся губы. Командиры всегда на коне. Они всегда правы.

Вооруженные Силы Союза Советских Социалистических Республик — это Молох, с каждым годом требующий все больше и больше жертв, потому что армия — это отражение государства, а государство сейчас задыхается и кашляет кровью.

В ответ на эту работу в числе прочих обвинений в мой адрес может проскочить обвинение в том, что, дескать, он сам был плохим солдатом, а теперь в отместку порочит всю армию (нечто подобное армейские чины говорили о Ю. Полякове после публикации его «Ста дней до приказа»). Так вот, я не намерен никому ничего доказывать. Я могу быть равно трижды отличным солдатом и трижды плохим, но от этого правда об армии не перестает быть правдой. А я клянусь, что все, что здесь написано, — это ПРАВДА, одна только ПРАВДА и ничего, кроме ПРАВДЫ.

Словарь терминов

ПРЕСОНУТЬ — сильно избить.

«ФАНЕРУ К ОСМОТРУ!» — дух должен стоять по стойке «смирно», ожидая удара в грудь. Обычно удары наносятся с таким расчетом, чтобы выровнять пуговицы на груди духа.

ПРОГНУТЬСЯ — выслужиться перед начальством.

ВАЛЬТОВАТЬ, шпанговать — отлынивать от работы.

СВЕРЧОК — солдат-сверхсрочник.

ПОЗА БЕГУЩЕГО ЕГИПТЯНИНА — дух наклоняется буквой «Г» и получает бляхой или сапогом под зад.

СТРЕМНЫЙ — крайне плохой.

От редколлегии «20-й комнаты».

Предприняв «Раскопки...», мы считываем на соучастие читателя. «Юность» один из ближайших номеров полностью посвятит поколению 20-летних и его творчеству и ждет ответов на три вопроса, вынесенных в подзаголовок прочитанного вами материала:

ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ?

РИФМУЕТСЯ ЛИ «ЕЛЬЦИН»?

ЕСЛИ ПАРТИЯ СКАЖЕТ «НАДО»...

Быть может, ваши письма прольют свет на загадку пресловутых безмолвия и бездействия нашего поколения...

ВЫ ХОТИТЕ ЖИТЬ ЛУЧШЕ?

Используйте свои скрытые возможности — это приятно и выгодно! Ваше желание реально научиться управлять своей жизнью не может оказаться безуспешным. Возможно, вы достигнете того, что недоступно многим, и получите репутацию человека, которому удастся все. Необходимую помощь окажет Школа практической психологии!

ЧТОБЫ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ

дополнительную информацию о доступной каждому программе самосовершенствования, присылайте напечатанный конверт со своим адресом: 113556, Москва, М-556, а/я 78. Школа практической психологии.

Руководителям предприятий, финансистам, коммерсантам, всем, кому необходимо повысить отдачу своих сотрудников!

Если вы считаете, что для новой экономики нужны новые люди, понимаете, что бизнес — это прежде всего эффективная коммуникация, а средства, вложенные в подготовку сотрудников, могут дать наибольшую прибыль; если вы хотите эффективно влиять на своих зарубежных партнеров и осознали, что книги Дейла Карнеги написаны в 30 — 40-е годы, — вам полезно обратиться в Школу практической психологии. К вашим услугам опытные специалисты, кандидаты наук, владеющие методами интенсивной психологической подготовки с использованием видеосъемки и компьютеров. Базовый курс включает: тренинг делового общения, работу в конфликтных ситуациях, специальные методы коммуникативного воздействия, саморегуляции в профессиональной деятельности, глубокое психологическое тестирование. Конкретная программа составляется с учетом специфики предприятий и пожеланий заказчика. Мы готовы выехать на ваше предприятие.

Только для представителей организаций — тел.
(095) 172-48-65.

ВПЕРВЫЕ В СССР!

КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ ПО ПОЧЕРКУ надежный метод,

широко применяемый во всем мире при отборе служащих и в разведывательных целях

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УЗНАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ, вы можете заказать психологическую характеристику, которая составляется опытными психологами и включает следующие разделы: физические и материальные потребности, эмоции и чувства, особенности мышления, черты характера, социальное поведение, деловые качества и профессиональные наклонности.

Стоимость характеристики — 25 рублей. Оплата производится почтовым переводом: Москва, банк «Столичный», корр. счет 161706 в ГУ ЦБ РСФСР, МФО 201791 на р/с 400468013 ШПП. Чтобы получить характеристику, присылайте:

1. Образец почерка (произвольный — непереписанный — текст объемом 1—2 листа на нелинованной бумаге), укажите фамилию и имя обследуемого (можно псевдоним), его пол, возраст, какой рукой пишет.
2. Квитанцию об оплате (следите, чтобы оператор на почте в графе «куда» вписывал номер р/с ШПП).
3. Конверт с разборчиво заполненным своим адресом.

Адрес школы: 113556, Москва, М-556, а/я 78.

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Татьяна БОБРЫНИНА —
редактор отдела прозы
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ —
редактор отдела культуры
Натан ЗЛОТНИКОВ —
редактор отдела поэзии
Олег КОКИН — главный художник
Михаил КУРКОВ —
коммерческий директор
Виктор ЛИПАТОВ —
заместитель главного редактора
Константин МИХАЙЛОВ —
редактор отдела публицистики
Эмилия ПРОСКУРНИНА —
редактор отдела рукописей
Анна ПУГАЧ — редактор
отдела международной жизни
Юрий САДОВНИКОВ —
ответственный секретарь
Александр ХОРТ —
редактор отдела сатиры и юмора
Ирина ХУРГИНА —
редактор отдела писем

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:
Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении на запрос. Рукописи редакция не возвращает. Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку. Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в издательство «Правда» по адресу: 125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Технический редактор Ольга Трененок
Оформление рекламы
Вадима и Владислава Игониных

Сдано в набор 29.04.91. Подп. к печ. 02.06.91.
Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 999 000 экз. Заказ № 479.
Цена 1 р. 75 к.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.
Отдел рекламы — 251-14-21.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© Журнал «Юность», 1991 г.

Екатерина ВАСИЛЬЕВА
Творческая группа
«Ковчег», г. Москва.

Катя Васильева унаследовала профессию художника от родителей, а вместе с ней и полный профессионально-семейный кодекс, содержащий десятки правил и наставлений о том, что надлежит писать и как. Но вместо имитации жизненных реалий Кате захотелось просветляющей простоты, завершенной и устойчивой цельности. И чем условнее становились на ее картинах люди, тем больше в них проступало общечеловеческого.

В расчерченном стерильном пространстве клетки лифта стоит пожилая женщина, но вместо тщательно прописанной фигуры — обобщенный закрашенный контур, не без легкого гротеска передающий ее возраст, облик, настроение. Черты лица вовсе смыты, вместо человека — его цветной оттиск, столь же конкретный, столь же и бесплотно-абстрактный, как стандартная единица человеческого существования. Заметим, что черный цвет, помимо эмоциональной нагрузки, еще и очень декоративен: он цементирует плоскость, придает устойчивость.

Те же доброта и ирония слились в облике человека у окна — «Дорога». И силуэт, и чайник с выгнутым носиком кажутся мягкими, словно вылепленными из красочного меса. Художница подчеркивает пластику картины не только условно-живописно, но нередко через прямую ассоциацию картины с гобеленом, вышивкой, настаивая на рукодельности картины.

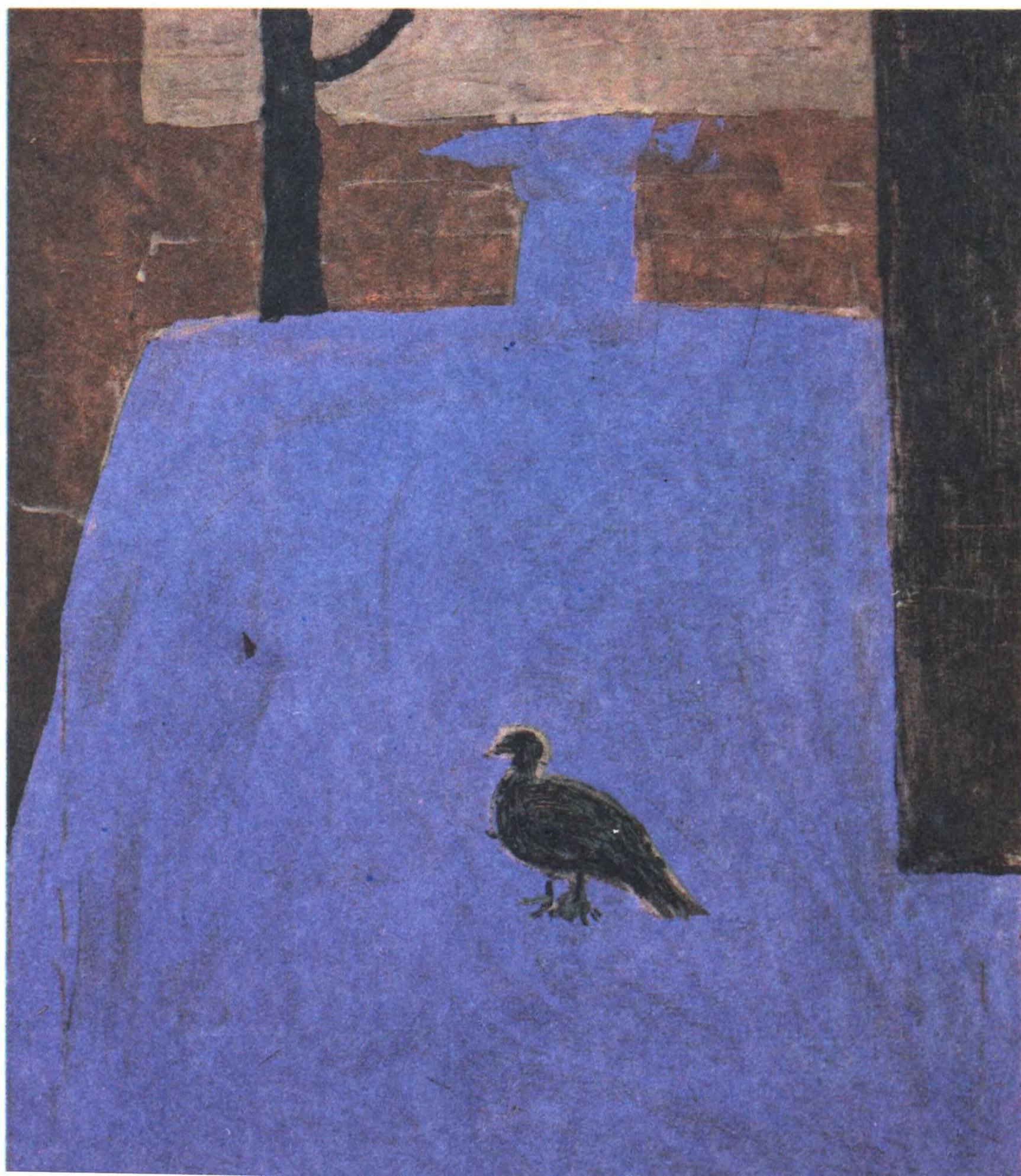
Пожелаем творческой удачи молодой художнице и ее друзьям, запомнив название их творческой группы — «Ковчег».

Ольга ПОЛЯНСКАЯ



«Дорога». Холст. Масло.

«Московский дворик». Холст. Масло.



«Лифт». Холст. Масло.

73

ТОЛЬКО МЫ ДАДИМ ВАМ РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ



ОРИГИНАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ
НОВЕЙШИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ - ПРЕПОДАВАТЕЛИ
МОСКОВСКИХ ВУЗОВ

ОЧНЫЕ И ЗАОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

- целенаправленная подготовка к конкурсным экзаменам в вузы, техникумы и лицеи
- занятия с отстающими школьниками
- для москвичей и жителей Московской области — наши филиалы по всей Москве
- курсы работают в течение всего учебного года

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

- бизнес-курс для коммерсантов, секретарей-референтов
- курсы фундаментальной подготовки
- курсы разговорного языка
- спецкурс для абитуриентов гуманитарных и экономических вузов
- курсы для школьников младших и средних классов



РЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

121069, Москва, ул. Воровского 14, учебный центр

„Реальные знания“ тел. 291 95 87, 318 01 66